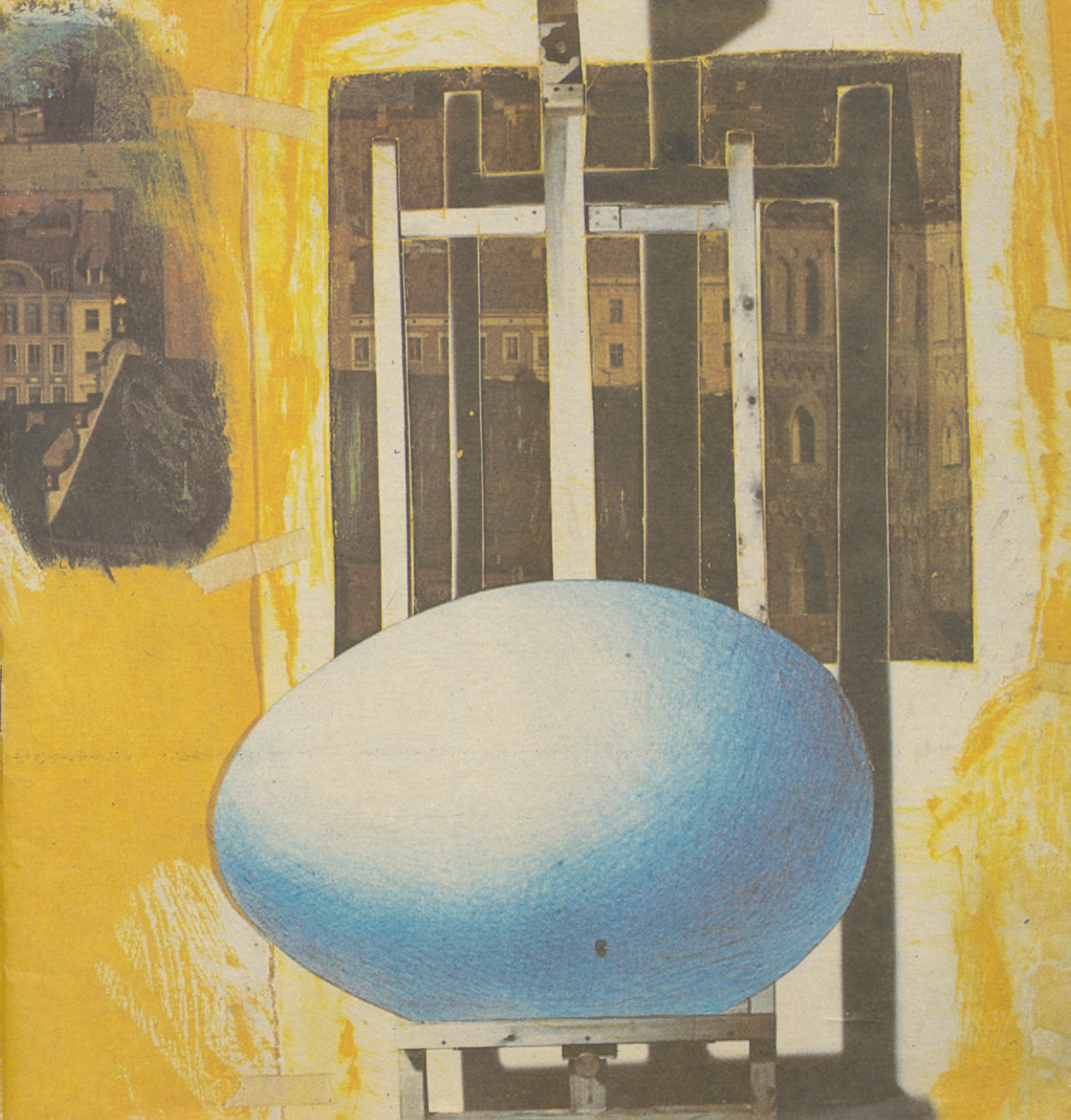


1990. № 4 (40)
АПРЕЛЬ

РОДНИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЫШ
ВИЛНИС БИРИНЫШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЫШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
ЛАЙМА ЖИХАРЕ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)
Виктория Андреева. Стихи (10)
Айварс Клявис. «Я зову — отзовитесь!» (11)
Аркадий Ровнер. Рассказы (19)
Борис Дубин. «Притча
о даре воображения» (24)
Хосе Лесама Лима. «Фокус
со снятием головы» (25)
Олег Золотов. Стихи (30)

КУЛЬТУРА

Павилс Вилипс. «Несколько впечатлений
путешественника в связи
с поездкой в СССР» (33)
Янис Калначс. «Художник,
которого знали все...» (35)
Волдемарс Ирбе. Эссе (38)
«В конце восьмидесятых» (43)
Александра Громова-Давыдова. «Памяти
великого артиста» (46)

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Дружников. «Вознесение Павлика
Морозова» (50)
Революция 1917 года перед судом русской
религиозно-философской мысли (59)
Петр Струве. «Исторический смысл русской
революции и национальные задачи» (60)
Евгений Тоддес. «Энтропии вопреки» (67)

ЛИТЕРАТУРА

Аркадий Ровнер, Виктория Андреева.
«Третья литература» (72)

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС см. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Сдано в набор 9.02.90. Подписано в печать 23.03.90. ЯТ 00119. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отт., 14,0 уч.-изд. л. Тираж 140 000 (на латышском языке 87 000, на русском языке 53 000). Номер заказа 187. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. АБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.



АЙВАРС ТАРВИДС НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

Перевод АНТЫ СКОРОВОЙ

Даже поездное терпение имеет предел, пришлось вспомнить про то, что горел в танке, и утихомирить мужичка словами:

— Хотим достичь довоенного уровня! . . .

Поезд катился вперед, на переездах у шлагбаумов стояли облепленные грязью «газики», железнодорожники кутались в платки, а в деревнях почти все рамы были выкрашены в васильковый цвет. Букет на столике медленно увядал, в пустом стакане тренькала ложечка, Софья отложила в сторону маникюрные щипчики и взяла книгу, дешевую книжонку карманного формата, на ее мягкой обложке была изображена рожа маньяка и кровавые буквы «Midnight Killer». С тех пор, как жена возобновила занятия английским языком, ей пришлось много читать. И так она читала и читала, пока не захворала детективоманией. Гангстеры и сутенеры, мафия и герои, агенты ЦРУ, МОССАД или НКВД помогали ей забыться, коротали время и приятно щекотали нервы в дни, когда дел больше не было, разрешения висели в воздухе, и деньги таяли в пожаре мелких будничных прихотей. Жизнь на чемоданах, не подслащенная оптимизмом разногласия и не украшенная верой, что «русскому придется уступить Рейгану». Изменения в порядке выдачи виз тоже казались чисто теоретическими, отнюдь не обязательно претворять их в жизнь в твоём случае. Шли месяцы, ощущение было как на нейтральной полосе: прихлопнуть могут с обеих сторон. Таблетки от нервов, бесконечные разглаживания, омерзение и гастрономический разврат, Арнольд целыми днями стоял у духовки. Еще он разряжался на теннисном корте, вдобавок усердно осваивал картежные игры, особенно бридж и покер. Ставки были слишком мизерными, чтобы, взяв карту, позабить главную комбинацию, все еще не сыгранную, ожидание нагоняло отчаяние, и в бессонные ночи будущее уже тысячи раз разложено, как пасьянс.

Софья продолжала преследовать убийцу. До Бреста потрошитель будет настигнут, и книжонку можно будет отправить в помойное ведро, не везти же этот мусор в Европу. Софья перевернула страницу и, оторвавшись от детектива, вопросительно посмотрела на Арнольда . . .

. . . вопросительно смотрела на Арнольда. Она сидела в ординаторской и поджидала врача.

Арнольд с удовольствием отмахнулся бы от этой женщины. Не тут-то было. Она продолжала сидеть на стуле. Арнольд включил тарелку репродуктора, который выдал на полдник сладенькую латышскую песенку, и прослушал первый куплет. Письменный стол, как баррикада, под стеклом календарь с графиком дежурств, реклама из американского медицинского журнала и план эвакуации.

— Вы ко мне? — спросил Арнольд.

— Да, доктор!

Арнольд разыскал в кармане халата пачку сигарет. Она оказалась пустой. Выдвинул ящик стола, в его тубиках валялись лишь спичечные коробки, бланки рецептов и бутылочка со штемпельными чернилами. Арнольд подавил проклятие, рвавшееся изо рта, высохшего от непрерыв-

ного курения, казалось, что слизистая пропиталась горечью.

— Сигарету? — спросила женщина и протянула пачку.

— Благодарю, — он взял курево. «Dunhill», о, роскошь, буржуазная роскошь! . . . И Арнольд поставил пепельницу на середину стола. — Прощу! . . . Я слушаю.

— Вы оперировали моего отца . . .

— Когда?

— В понедельник.

— А-а . . . Цитологический анализ подтвердил, что новообразование доброкачественно. Так что товарищ Либман будет жить, будет жить долго и счастливо . . .

— Это правда, или так утверждать вас заставляет врачебный долг?

Глаза Арнольда посмотрели через нежную пелену дыма. Эта еврейка была стройной, в отца пошла. Беда с семейственностью, во имя капитала ложатся в брачную постель двоюродные братья и сестры, получают девчонки с пушкинскими бакенбардами или мальчишки с сосками кормилицы, да еще приоткрытые ротки, сахарные диабеты, патологические ожирения. У таких даже от марганцовки аллергия, попробуй вылечить, помоги.

— Этого пациента мне сосватали, — сказал Арнольд. — Денежное дело. Какая чудесная профессия — умелыми руками вскрываешь человека, как сейф, и вытаскиваешь пачку денег . . . Если бы я резал вашего отца вчера, он скорее всего был бы уже мертв, семья успела бы похоронить в воскресенье.

— Мертв?

— Мертв! — Арнольд раздавил сигарету, как противника, бумага разорвалась, и табачные крошки разлетелись по глиняной плошке. — Пациент среды еще два часа назад существовал.

— Не понимаю.

Арнольд зажег настольную лампу и залюбовался игрой света на бриллиантах посетительницы. Доведется ли ему когда-нибудь дарить женщине бриллианты? Смешно! Его потолок — флакончик французских духов.

— Что тут непонятного? . . . Человек умер, потому что инструменты были нестерильны. Банальный сепсис, родственничкам покойник, мне строгий выговор. Удалил кусок кишки, четыре часа простоял у стола, и конец . . . Как в лазарете на краю Бородинского поля.

— Как же инструменты могли оказаться грязными?

— Хорошо ничего не знать. Стерилизация в клинике централизованная, одному богу известно, что они в своем блоке делают. А отвечать врачу. Да, централизация, чисто русская штука . . .

— А может быть, вы сами? . . .

— В гинекологическом умерла женщина. Тоже вчера оперировали, тоже сепсис. Так что этот труп доказывает мое алиби.

— А дальше?

— Операции отменены. Тотальная дезинфекция.

— Кошмар.

— Кошмар. Не дай бог заболеть. От одной этой мысли у меня мурашки бегут. Вата, паршивая вата, и та смешана с синтетикой. Простерилизовать как следует невозмож-

(Окончание. Нач. в № 8, 1989 год)

но, плавится. Ничего, и с такой режем, кромсаем, ампутируем, кастрируем... А сестры? Страшно подумать. Девчонка примчалась из деревни в Ригу, выучилась, нажила ребенка, ютится в общежитии и по вечерам пичкает малыша димедролом, чтобы спал и не мешал приводить ухажеров.

— Не переживайте, доктор!

— Теперь-то что. С родственниками встретился. Принесли папочке минералку, доктору цветочки, сестричкам конфетки. А я должен говорить, что надо взять себя в руки, не надо волноваться, надо быть готовыми...

— Я тоже принесла минеральную воду и цветы...

— Цветы?

— Да, — она показала на кушетку, где лежали завернутые в бумагу цветы.

— Спасибо, — тут Арнольд открыл шкаф и достал вазу, безвкусную стеклянную вазу с олимпийским мишкой. Кран над раковиной был испорчен, Арнольд почти забыл об этом, отдернул руку, словно ошпаренный, одно лишнее движение — и был бы настоящий петергофский фонтан.

Он позвал санитарку, которая, сидя на корточках, натирала в коридоре пол.

— Сестричка, принесите, пожалуйста, воды!

— Сейчас, сейчас, вы ведь знаете, какая я опрятная, добросовестная и аккуратная! — отозвалась старушка и ускользнула, как маленький, седой мышонок.

— Наша сестра Цируль, — сказал Арнольд, — диплом школы сестер Красного Креста. Работала на Александровских высотах, своими глазами видела расписанные Врубелем стены. Во время войны прятала евреев, ухаживала за обмороженными солдатами «голубой» дивизии Франко. Работала, работала, пока почти не ослепла, перед уколом больным на ягодице йодом крест приходилось мазать. Теперь санитарка...

Сестра Цируль поставила полную вазу. На полированную столешницу не пролилось ни капли. Арнольд поблагодарил и развернул цветы. Герберы были роскошны и дороги.

— Когда отца?...

— Завтра переведем в общую палату. Сможет со старыми вояками побеседовать о мировом империализме и международном сионизме. Если все пойдет нормально, через десять дней домой, к родным и диетической пище. Пока принесите сестрам и санитаркам конфеты, сама знаете, в каком государстве живете.

— К сожалению.

— Молодая и красивая. В бриллиантах. Со стройными ногами. Чего вы ждете?

— Не понимаю.

— Понимаете! Да, тренировка... Латыши и евреи были хребтом чека, несущим голову Феликса. Или будете ждать старость, чтобы поехать в Израиль за пенсией? Была бы у меня историческая родина... Так нет. Только союз нерушимый республик свободных.

— Это ваша проблема.

— Верно. Моя.

— Эх, латыши... — сказала Софья, — своих понесите смело, а за других взяться боитесь.

Она протянула наманикюренную руку за сигаретой...
...протянула наманикюренную руку за сигаретой.

— Покурю. Надеюсь, в тамбуре меня не изнасилюют.

Софья ушла, в выражении лица соседки залег страх, а Арнольд улыбался. Моя школа, подумал он, чтобы прибавить себе весу.

На самом деле в свое время он приукарил за этой женщиной, подгоняемый мальчишеской жадной экзотики.

Были латышки, русские, немки и гонорей. Даже одна негритянка. Да, да, была негритянка, танцевала не то в венесуэльской, не то в колумбийской труппе, выступала в Риге, и Арнольд спутался с солисткой балета на домашней вечеринке у знакомого слугителя муз. Было Рождество, магнитофон ворковал «White Christmas», не хватало мужчин. Гомосексуалисты то и дело с горящими глазами уводили своих симпатий в ванную, а в бешеной Марии не было и намека на целомудрие богородицы. Хотя по-испански

Арнольд знал, пожалуй, лишь одно слово *Caramba*, но все же несколько дней зааживал на спектакли в Оперу и в ресторан гостиницы, не переставая удивляться розовым, неестественно розовым ладоням негритянок, в постели позволял называть себя *amigo*, пока, с облегчением провожая Марию на поезд, не почувствовал, что силы его иссякли, как физические, так и духовные и финансовые. Нет, какая уж там экзотика, танцы живота или самба, румба, ча-ча-ча, рассуждал Арнольд, наблюдая за косулей, длинными, отчаянными прыжками прячущейся от поезда в придорожном сосняке.

Какая там библейская экзотика, если человек больше всего на свете страдает от тотальной всемирной глупости, от этих рож перед глазами, от этих бесчисленных маячащих на улицах городов морд, от глупости, тиражируемой на экранах и проявляющейся в разговорах. Глупость, даже без претензий и варварской агрессивности, убивает. Делает это тихо-тихо. Как радиоактивное излучение вьедается в мозг, серая, без запаха и вкуса, глупость убивает незаметно и со стопроцентной надежностью. Хотелось сказать, что он схватил руку Софьи, потому что знал, как противен мир, а умный человек в нем редкость. Даже нормальные, те, кто умнее толпы и газетных передовиц, в конце концов устают, их загнанный в бессмыслицу и безнадежность разум ищет выход. Когда перегорают предохранители, остается только удивляться, в каких нелепостях или наивности стремится утвердить себя даже самый яркий интеллект. Как паучок-однодневка, у которого не хватает его века насекомого, чтобы осознать разницу в восходе и заходе солнца, этот разум готов ткать сеть распрекрасных теорий, трудиться ради выдуманных или недостижимых целей, делать все равно что, лишь бы придать свинцовую весомость мыльному пузырю собственного существования. И в предельные мгновения беспомощности нормальному человеку хочется стать дураком! Любими средствами. Глотая таблетки или водку, притупляя нервные центры физической нагрузкой или же банально прикидываясь. Как буржуй, пытающийся спастись в толпе — переодевшись в нищенское тряпье. Участвуя в великолепной комедии, в которой выделена роль длиною в биографию, вместо сфлера идеологические проповедники и последнее утешение — твердая уверенность, что власть большинства — это есть и всегда будет диктатура дураков, которая, подобно всем диктатурам прошлого и будущего, пьяная от непостижимой силы, будет становиться все тупее и злее.

Ну вот, очередная паутина доказательств, подумал Арнольд. Очередная паутина, в которой блещит роса надежды. Признайся, что с Софьей ты спутался ради денег, ради блеска бриллиантов. Захотелось камешков, самому заработать которые не хватает сил или таланта. Скорее всего, и того и другого. И прихоти ради, быстрее, чем рак в мозгу, глянь — уже поезд катит на запад. С детским упрямством или порожденным изуродованным неизлечимой хворью мозгом упорством ты пытаешься откупиться от болезни, пытаешься пережить. Тебе всегда хотелось пожить в балзаковских романах, чтобы, стоя на Монмартре, уверовать в то, что этот город, этот фантастически богатый и фантастически развращенный город будет принадлежать тебе, а после твоей смерти останется долг в четыре миллиона золотых монет. Суть жизни акулы — это стремление навстречу добыче, остановиться для нас означает смерть, попасть в сеть — начало агонии.

Цитирую завистников, цитирую, подумал Арнольд. Повторяй тысячи раз, может быть, их слова превратятся в твою веру. Мог ведь себя продать, была возможность. Красная тряпка социализма бесила глаза чуть ли не под носом. Теннис с функционерами, связи в Москве, некоторая оборотистость и деньги, незаметно появляющиеся, как в детстве подарки под новогодней елкой. Рельсы в светлое будущее виднелись вдаль до самого горизонта, и каждый стрелочник в пути казался подкупным. Вместо всего этого пульсирующий комок ткани, чиста старого гинеколога Либмана, удачно прооперированная, она передала на экспертизу и кусочек твоей жизни. Да, Либман, с частным

кабинетом, где он приветливо и галантно встречал пациентов, корректно предлагая: «Мадам, снимите ваши панталончики». Однажды жена застала плутишку танцующим с пациенткой фокстрот вокруг кресла. «Он голый, и она голая», — жаловалась покойница, она любила посидеть с подружками в кафе «Vesriga», это место, вспомнившая молодость и довоенный город, они называли «У Отто Шварца в заднице». А теперь старый Либман смиренно сидел в вальтеровском кресле и выслушивал скандалы молодой женошники. Котик, отбеленный перекисью, жаждущий когтями вцепиться в жидовское золото. Либман молчал, покупал ей джемпера с блестящими аппликациями, зализывал шрамы и собирался к старшему брату. К тому самому сильному Исааку, который в июле сорок первого года убедил семью драпать в псковском направлении, убедил, и они брели по пыльным большакам родной Латвии вместе с отупевшими солдатами и советскими активистами. Большинство родных упрямо остались в Риге, чтобы затем отправиться в гетто и Румбулу. Когда все стали братьями и сестрами Сталина, обоих Либманов в дальней русской деревне приставили к полевым работам, толочанина Исаака бесила глупость председателя, и он, безумный, позволил себе высказаться, что, знал бы, не двинулся бы из Риги. Получил десять лет. Сначала билет Караганда — Рига Исааку прокомпостировал Никита Сергеевич. А визу в Израиль выдал Леонид Ильич. Израиль оказался страной, где хорошо растут цитрусовые и припеваючи живут пенсионеры. Так что Исаак звал младшего братишку к себе жить по-человечески и лечить рак. Тот согласился, потому что котик хотел повидать мир. Контейнеры в те времена старались возить по центру Риги ночью, как гробы во время чумы. Либман платил и платил на таможене. Имущество — нераспакованную югославскую мебель, немецкую посуду, зимнюю одежду и другие пожитки — получатели денег упаковывали тщательно, как саперы. Антиквариат, то есть довоенное барахло, принадлежал советскому народу, потому оставался в Риге и в безопасности. А у мола Хайфы на берегу Средиземного моря эмигранты вынули из контейнера обломки полированных шкафов и осколки фарфора. Знающие люди болтали, что у властей в Риге есть особый вибратор, включают ток, и обеденный или кофейный сервиз, даже в фабричной упаковке, рассыпается на несклеиваемую мозаику. А для мебели достаточно топора, мужик ведь всегда тянулся к топору. Так Либман уезжал умирать по-человечески, котик сверкал чуть ли не тридцатью двумя новыми золотыми зубами в ротике и поносил коммунистов за то, что приходится оставлять в шкафу девке, т. е. Софье, каракулевое манто, точь-в-точь такое, в какое была закутана убитая горем Виктория Брежнева, когда в последний раз целовала лежащего в гробу муженька. Папа и мачеха Софьи уехали после сбитого южнокорейского самолета «Jumbo Jet», письма в Ригу приходили довольно редко и неразборчивым почерком доктора извещали, что Соломон Либман открыл частный кабинет, скучает по дочери, а его супруга и впрямь туловата и вульгарна. В Латвии она язык так и не освоила, говорила: «Зачем мне этот собачий язык», в Тель-Авиве упиралась, со слезами на глазах пробивалась сквозь иврит, но ее голова казалась столь же тугой, как камни античных развалин земли обетованной. В конце концов эта Нина Борисовна обвинила старика мужа в импотенции, взяла развод и пересекла океан, поселилась в Нью-Йорке, нагуляла ребенка и, уговорив советских дипломатов, в один прекрасный день объявилась в Риге, чтобы претендовать на квартиру Либманов. Небольшую порцию справедливости купить удалось, и вертхивостке пришлось вернуться к матери в комнату коммунальной квартиры, на место, где началась ее карьера, ее путешествие сквозь постели, кошельки и государства. Теперь, проклиная жидомасонов, Нина торговала привезенными тряпками и аппаратурой, таким образом собрав деньги на кооператив — трехкомнатную с холлом. Ее будущий муж служил летчиком в гражданской авиации, разбрасывал минеральные удобрения на земгальские поля и был готов усыновить маленького Илюшку. Бывшая мачеха

яростно ненавидела Софью, как копию покойной матери и единственную, любимую доченьку отца. В короткий период знакомства она из-под ресниц смотрела на Арнольда как на неизбежного соучастника дележки кучи вещей, выпячивая бюст десятого размера, деловито побуждала заключить достойное Робина Гуда соглашение в постели, но под конец, чувствуя направленную против себя издевку, смотрела исподлобья такими злыми глазами кошки, что Арнольд невольно радовался, что не живет во времена беззаконий культа личности, иначе его, как врага народа и вредителя, посадили бы в черный «воронок», скорее всего вместе с отравителем Либманом и его девчонкой, японской радисткой.

Выехать вместе с семьей отца Софья отказалась по некоторым, пронизанным железной логикой, соображениям.

Фатальное, предклимактерическое увлечение отца обрекало дочь на непрерывные дипломатические отношения с мачехой на уровне праздничных обедов, на которых среди лицемерной болтовни пришлось бы думать о сделанных родственницей еще в Риге абортах и о том, что об этом не знал только собственный одурманенный папочка. Мало удовольствия доставляла и перспектива зарабатывать деньги для этой дамочки, потому что в нормальном мире Нинку, пожалуй, не взяли бы даже уборщицей в общественный туалет. Кроме того, Софья не хотела остерегаться бомб террористов, ходить на обучение резервистов, хотя бы и в армии ее соплеменников, и совершенно обоснованно говорила, что духовные атмосферы Израйля и России наиболее существенно различаются формой звезды на знаменах. Та же демагогия, взяточничество, единое мнение народа и существование в окружении смертных врагов. Принцип коммунизма или антикоммунизма тут был увядшим фиговым листком, скромно прикрывающим главные движущие силы.

Еще Арнольд усмехался над тем, что стал жертвой бытового антисемитизма. Некоторые порядочные семьи больше не приглашали его в гости или же прозрачно намекали, чтобы коллега лучше приходил один, без жены. Спутался с жидами — таков был не подлежащий обжалованию приговор латышской ограниченности, серый и с трудом перевариваемый, как блюда из перловой крупы в латышской кухне. Последней баррикадой десятилетиями эксплуатируемого, в мировых войнах битого, в постели интернационализма размноженного народишки были эта тупость, иллюзия избранный и бахвальство, мутация которых со временем создала общий комплекс неполноценности, и не дай бог, если бы природа решила добавить к числу соотечественников еще несколько нулей, то в Европе появилась бы порядочная, чрезвычайно сознательная нация надсмотрщиков. Но судьба решила иначе, остались лишь мазохистские жалобы на национальную трагедию, низкую, как в зоопарке, рождаемость и духовные богатства, чья живительная влага грозит просочиться в отравленный чужаками взморский песок. Спутался с жидами — тут шило презрения недвусмысленно вылезало из мешочка вежливости. Чего вы, доктор, читаете эти русские книжки — нам достаточно застольных и народных песен. О, Арнольд, помоги поговорить с американцем, непонятная зависть, словно английский язык — ценность, доступная только гениальным мозгам. Попадались, конечно, и люди с более зорким взглядом и деловым умом. Молодец, старина, претворяй в жизнь, претворяй анекдот «Еврей не роскошь, а средство передвижения» — это звучало довольно правдоподобно, довольно правдоподобно. Арнольд вспомнил, что, слушая подобные рассуждения, хитро усмехался уголками губ. В конце концов, пусть каждый думает, что хочет. Словами вовек не доказать, что ты не плутоватый лавочник, жаждущий попасть за кордон, чтобы найти простакон, кому всучить тухлую рыбу. На сей раз моменты силы на экономическом рычаге находятся в равновесии. Софья продает бриллианты и берет с собой в путь его золотые руки, капитал, который не отнимут на таможене, не нащупают интроскопом или на личном досмотре, когда

положено спустить штаны. И в одном отношении школа реального социализма определенно ценнее благородных дипломов Йеля и Сорбонны. На той стороне, в России, опыт стоит не какие-то доллары, за него платят нервными клетками, кредитуют вычеркнутыми из жизни годами. Что-то похожее произошло с пленниками, заключенными, не словившимися в сибирских лагерях, эти люди привезли домой опустошенные цингой рты и хватку покрепче стальной пасти капкана на медведей. Но честная служба ведь свойственна латышской натуре. Безропотно они крестили идеи кровью. Рвали своей грудью колючую проволоку. Присягали и Сталину, и Гитлеру. Сознательно трудясь, они вечно умудрялись засунуть пальцы в шестерни машины истории; и их согнутые спины часто попадали меж молотом и наковальней в моменты, когда человечество с пеной у рта ковало счастливое будущее. Латышская кровь бессмысленно лилась в джунглях Индокитая и в горах Афганистана. Усердие легло в нефтяные поля Аравийской пустыни, новостройки Швейцарии и Венесуэлы, а также сгорело в трагедии «Challenger'a». А оставшиеся дома каждую пятилетку прокалывали очередную дырку в ремнях, просили и кланчили право быть хозяевами на своей земле. Надеялись получить его в подарок с московским обратным адресом; заслужить усердием, трудом или же купить, как во «времена землемеров». Так и платили, и платили социализму, система развивалась и развивалась, требовала добавок, пока не пришлось поставить на стол последнюю ценность — генетический код нации. Им пришлось покрывать братскую помощь и оплачивать счета. За лопату донецкого угля, за пригоршню уральских гвоздей, за горсть среднеазиатского хлопка, за бидончик сибирского керосина. Да еще мирное небо над родной стороной и расцвет ухоженного заботливой рукой сада дружбы. Народ, как порядочная служанка в старости, мог надеяться на крышу над головой — в тепле и в благоденствии.

Арнольд отрезал ломтик колбасы. Тонкий, как бумага. Долго жевал, отрезал еще. Знаток ее называют «жидовской колбасой», верно, евреи дерьмо есть не станут. Он был знаком со многими евреями, живущими теперь в самых больших городах США и Канады, в Западной Европе тоже. Они помогут, потому что еврей понимает, что ценность несет ценность. С латышами из «ДР» иначе. Они, повязав на шею национальную приевите, пускали сопли и верили, что дух народа, как огромный мощный магнит, вытолкнет из отчизны все танки, все ракеты, всех закованных в железо солдат. Были и такие, кто обещал прийти на помощь родине. Навязывались с добрым словом и долларами. Арнольд не спорил. Пусть почувствуют свою вину за то, что голыми и нищими разбрелись по свету и не померли с голоду, пусть переживают, что они стали зажиточными, а народ в Латвии терпит лишения, пусть выписывают чеки, пусть лечат больного зверя, который их страну как пуговицу пришил к своему комиссарскому мундиру. Пусть... Наверно, были и другие латыши, но они не ездили в Ригу с тюками подарков, не жаловались шепотом, остерегаясь чужих ушей, что в их доме на улице Антонияс или Базнипас загажен подъезд и выбиты окна. Эти люди сидели в странах обитания, делали свои дела или готовились к смерти, и Арнольд их не знал. Теперь вероятность встречи умножалась с каждым проеханным километром. Вошла Софья и сообщила, что поезд приближается к Бресту. Арнольд поглядел в окно. Действительно, деревеньки слились с пригородными кварталами. С типичными домишками, кривыми сарайчиками, гаражами и курами во дворах. В купе началось предстартовое оживление. Николай Иванович требовал от проводницы билет, чтобы присоединить его к командировочному отчету. Заботливая мать солдата еще раз пересмотрела провизию и вещи. Арнольд снял с полки красную спортивную сумку «NIKE». Тонкий нейлоновый мешок, в котором ни один таможенник не станет искать двойное дно. И чемодан Софьи, клетчатый, как шотландская юбка, тоже исключал возможность подобных подозрений.

Поезд тормозил на вокзале. Пассажиры, подгоняемые

инстинктом толпы, жались к дверям, словно спасаясь с потерпевшего аварию корабля. Арнольд с женой оставались сидеть. Некуда было спешить. Пересадка на венский поезд будет вечером, темным, мрачным ноябрьским вечером.

Арнольд помог Софье выйти из вагона.

— Сдадим багаж, и в кабак... нет, в английский клуб!

— Тебе надо в парикмахерскую сбрить бороду.

— Ну, нет! На Запад приеду заросшим. Скажу, я политический, пожертвуйте, земляки, десять лет отгрохал на мордовских болотах.

— А может быть, в психсалоне?

— Верно. Диссидент. Курс инсулина. Блем, блем, блем, *made in Russia*.

Арнольд подхватил сумку и чемодан. На перроне была обычная вокзальная суматоха. С поцелуями, узлами, оружием младенцами и торговкой пончиками. Неожиданно Арнольд остановился.

— Послушай, Софья! Это же...

Действительно, сэр Арчибальд махал им свернутой в трубку газетой. Тут Арнольд поставил поклажу на ближайшую скамейку:

— Пусть Арчибальд помогает. Зачем мне грыжа? — На самом деле этого мужика с круглым плавным животиком, вываливающимся из кожаной кофтенки, звали, как нескольких выдающихся революционеров, партийных и советских работников, — Янис Берзиньш. Настоящий работяга, столяр, его профессию подтверждали и два то ли отфрезерованных, то ли отпиленных пальца. Вдобавок сэр Арчибальд был фанатичным рыболовом и каждое лето отправлялся по следам каторжан, чтобы забросить блесну в пороги пока еще не загрязненных химией и фекалиями сибирских рек. Но для некоторых блесен было нужно серебро, к несчастью, эти штуки часто обрываются, и блесна остается в жадной глотке рыбы, в какой-нибудь коряге или расщелине камней. Когда из Арчибальда иссякли запасы пятилатовиков, он отправился в скупку драгоценных металлов и вступил в переговоры с деятелями «черного рынка». Акция окончилась плачевно, спекулянт основную зарплату получал в компетентных органах, и Арчибальд, насидевшись в милиции, вложил предусмотренные на серебро деньги в обеспечение благожелательного отношения обэхэсника.

Арчибальд приближался, переваливаясь, как породистый селезень.

— Во! Глянь! — издали кричал Арчибальд. — У империи тоже есть граница, несколько километров, и их власть кончается! Фау!...

— Арнольд, — Софья сдерживала мужа, хотя надо бы смеяться. Арнольд вскочил на скамейку, протянул руку, как стратег, указывающий направление главного удара.

— Ох, буржуй, ах, фашистик! — смеялся Арчибальд, и его ладонь была суровой, как тиски.

— Большевик, старый большевик! — не оставался в долгу Арчибальд, — скоро будем в море топить. Со всеми классиками!

Они обнялись посередине перрона, мимо шагала подгоняемая лейтенантиком колонна опустивших бритые головы призывников. Дождя не было, поляки перекликались через рельсы, как в лесу. Арнольд смотрел на пухлое лицо, в скрытые белыми ресницами глазки и шамкающие губы и вдруг понял, что не прикидывается, не притворяется и не дурачится. Он, Арнольд, на самом деле радуется, хотя сэр Арчибальд позавчера и предавался чревоугодию за общим столом пиршества и водку пил как всегда — ровно сто граммов в стакан, лапу к солнцу, и шнапс в глотке. Да, Арнольд на самом деле радовался. Радовался, как ни разу за последние много лет. А причина этого детского восторга проста и пугающа — сэр Арчибальд, этот добрый обжора, славный малый, дуралей и болтун, был уже надежно похоронен в саркофаге памяти, они расстались, скорее всего, на веки вечные, в лучшем случае до тех пор, пока Янис Берзиньш не купит туристическую путевку, или поданный США с согласия ОВИР почтит своим прибытием бывшую родину.

— Послушай, Арчибальд, ты удить приехал, что ли? Арчибальд толстыми губами чмокнул Софью в щеку: — Тебя, старая вошь, захотел последний раз повидать! — Спасибо! — ответил Арнольд, и его щеки медленно заалели от смущения. В тот момент он испытывал бесконечное облегчение от того, что знал Арчибальда только со времени сумасшедшего ремонта квартиры. Годом раньше мастер столярных дел стал счастливым отцом, но не успел даже на радостях выпить, как узнал, что мальчишка под куполом глотает кислород, и у новорожденного обнаружилось сердце с тремя желудочками, как у лягушонка. Ребятёнок, конечно, безнадежен, в Риге даже самый жадный до денег кардиохирург не брался за нож, квалифицированный специалист нашелся в Москве, домой Арчибальд отвез белый гробик, немногим больше коробки от туфлей. Это несчастье еще тлело под годовыми кольцами, и во хмелю Арчибальд становился опасным, когда, выпив со всхлипыванием ровно сто граммов, непрерывно говорил Арнольду в ухо: «Старик, ведь ты бы спас его, правда?» Арнольд это клятвенно обещал и всегда облегченно вздыхал наутро с похмелья, не дай бог, если когда-нибудь придется соизмерять с диагнозом данные в состоянии опьянения обещания.

— Надо имущество засунуть в камеру, — вспомнил Арнольд.

— Ты чего, доктор, шутишь? У меня тачка перед вокзалом.

— Сандра дома осталась? — поинтересовалась Софья. — В машине, в машине!... Едем в отель. В номере сюрприз ждет, — сказал Арчибальд, взял обе сумки и стал прокладывать дорогу сквозь толчею. Арнольд, взяв Софью за руку, следовал за ним, как под прикрытием ледокола.

Жена Арчибальда Сандра была на полголовы длиннее мужа, поэтому, казалось, взгляд Арчибальда, когда он смотрел ей в глаза, всегда излучал преклонение. А кабинку «жигулей» заполняли смех и пакеты с покупками. Когда машина вывернула на проезжую часть, Арнольд спохватился:

— Какая гостиница?

— «Intourist». Ты ведь признаешь только все изысканное. Только за доллары.

— Подожди. Осмотрим крепость-герой. Для меня это последняя возможность.

— Как хочешь...

— Не дуйся, мы с Софьей обожаем сюрпризы.

На автостоянке дальних и дорогих гостей поджидало несколько «икарусов», а советских детей на место боевой славы отцов в дни осенних каникул привез отечественный астматический автобусик. Они выбрались из кабины и на холодном ветру зашагали в направлении крепости — за парковыми пересадками уже виднелись красные, иссеченные пулями и осколками бастионы. После экскурсии возвращались к автобусам иностранцы, головы опущены, голоса приглушены. Говорили по-немецки. Наверное, наши, гедезровские, догадался Арнольд. «Интурист» умело праздновал историческую победу и гонял группы друзей из братской социалистической страны по военным музеям, курганам, местам прошлых экзекуций и казней с такой же неумолимой решительностью, с какой кое-кто из гротескных скромной немчуры конвоировал обреченные на уничтожение колонны военнопленных или гражданских штатских. Взгляду открылся мемориальный ансамбль, эти застывшие в камне могучие несломленные фигуры воинов, схватившихся с коричневой чумой. Тут Арнольд спохватился, что забыл нечто существенное, лично для него значительное и важное:

— Янка! Ты радио слушал?

— Циклон из Скандинавии... Обещают мокрый снег...

— Рыболов, обыватель, — прервал Арнольд. — Выборы! Кто выиграл?

— Буш. С огромным перевесом.

— Слава богу! В Москве теперь траур. А хотелось им, хотелось покомандовать этим торговцем греческими орехами.

— У парня жена еврейка.

— И у меня жена еврейка. Но Софья понимает, что эти сопляки, всякие социки и либералы со страху отвалят русским полмира. Верно, Софья?

— Верно, — согласилась Софья, ту же заматывая шарф. — Рейган вас, Арчи, разорил до продуктовых карточек.

— Картошка весной будет по три рубля кило, — скорбно сказала Сандра, как-никак любовь в семействе Берзиньшей шла через избалованный желудок.

— Преходящие трудности, — утешал Арнольд, — через несколько лет побегу в русское посольство, буду проситься назад в бесконечно богатую, утопающую в разврате и деликатесах великую державу. Захочу кормить свиней апельсинами...

— В музей пойдем? — спросил сэр Арчибальд.

— Нет! Надоели ржавые револьверы в витринах и записки «Если что, прошу считать коммунистом»...

Сначала они бесцельно побродили по героической крепости. Изучали надписи и каменные гримасы, заглядывали в пустые проемы амбразур, глазели на пушки. Школьники ели мороженое, закутанный артельный фотограф приглашал сняться в крепости на память, а стаи каркающих галок перелетали с одних развалин на другие.

Арнольд наблюдал, как воды пруда становятся похожими на серое небо у них над головой, ощущал ветер, треплющий ветви берез, принесший холод и редкие снежинки. Они кружились в воздухе и долго не желали падать на черную землю, чтобы, растаяв, исчезнуть в липкой грязи. Здесь, здесь было страшное место, где рождалась дружба, и офицеры почтительно салютовали у совсем свежего пограничного барьера, а солдаты двух армий обменивались сигаретами. Именно здесь, рядом со стенами построенной еще царем-батюшкой цитадели, оба отпетых бандита первый раз вцепились друг другу в глотку. Они сами себе казались слишком могущественными, чтобы скромно удовлетвориться половиной арбуза, каждый хотел держать перед глазами и в кулаке весь глобус, без остатка. И солдатики, кровью расписываясь в наивности, умирали здесь, на берегах Западного Буга, где два оголенных полчища считали, что дерутся за родину. А мир расплачивался той кровью, разоренными городами и изнасилованными женщинами, платил, чтобы один тиран дрожал от страха, а другой отравился, чтобы протезы стали народам нужнее поварешек, и маршал, закаленный кавалерист, великий командир на белом коне, принимал Парад Победы. Осталось одно из зол, триумфаторы, освободители и спасители могли теперь во всю глотку и по всем газетам трезвонить про ужасные газовые камеры, как знать, может быть из-за зависти, самим такое придумать умишка не хватило. В конце концов победителям наплевать, тех, нервно, кто, попав в плен, писал записочки для будущих музеев, их вместо «Циклона Б» можно было просто приговорить к сибирским морозам, надежным и надменным, как сама матушка-природа.

— Арнольд, мне холодно! — сказала Софья.

— Да, да... Надо погреться.

Все повернули к стоянке. А Арнольд в одиночестве спустился по скользкому берегу к пруду. Вытянул флягу, вылил в горло остатки коньяка. Еще раз посмотрел на свастику в когтях орла и разыскал нож. Быстро проткнул дырки в алюминиевом корпусе и забросил фляжку в пруд. Затем сломал лезвие ножа, засунул его меж камней, зафургал нож в воду и поспешил к машине.

Двери гостиничного ресторана швейцар охранял самоотверженно, словно крепость-герой. Спецобслуживание, иностранные гости и делегации. Арнольд заговорил по-английски — несколько ругательств плюс строчки из монолога Гамлета. А швейцар с пьяным упрямством подвыпившего человека бормотал, что здесь приличный ресторан, и по инструкции женщин в брюках пускать не положено. За десятку инструкции были нарушены, и они попали в большой зал с люстрами, сели и стали изучать бесчисленные пятна от соуса на серовой скатерти. Официантка была размалевана, как матрешки на полках сувенирного

киоска в отеле, где деревянные куколки и фарфоровые горшки выстроились в ряд с чугунными бюстами вожда пролетарской революции и продавались только за валюту. Меню обшарпанное, видно, зачитано со времен первых пятилеток. А выбор традиционный. Салат столичный, котлеты по-киевски, цыпленок табака, напиток фирменный... В ожидании супа вместо реву изучали двух кошек, спрятавшихся за ударными инструментами на оркестровой эстраде и уплетавших кусочки мяса. Животных угощал мужчина за соседним столиком. Он был один, с пустым водочным графинчиком.

— Надо поесть, как следует поесть! — сказал Арнольд, прежде чем опустить ложку в дымящееся блюдо. — Если не будет денег, придется либо помирать с голоду, либо переходить на фотосинтез.

— А если и впрямь не будет? — спросила Сандра.

— Можно побираться, воровать на базарах, посылать жену на панель...

— Перестань... — сказал Арчибальд, — если все же...

— Продам изобретение! — рассмеялся Арнольд. — Я разработал метод, в полостной хирургии...

— Разве на свете одни только дураки?

— Нет. Но такого метода нет. Я тогда сопляк был, думал, открою что-нибудь свое. Незначительное, но свое. Увековечу имя. Это так почетно — читать в энциклопедиях: поза Ромберга, кресты Вассермана, метод Воробьева — Збарского... Социалистическое вегетарианство для народа. Помните детство, окорока и буженина, полные магазины...

— Ты над нами смеешься, — обиделась Сандра.

— Может быть. Ну, субчик-голубчик, кашка-парашка... Кромсал трупы, тренировался, прикидывал. Потом взялся за живого человека...

— Эй, эй, — тарелка у Арчибальда была опустошена досуха, теперь он выуживал оливку, — в Риге?

— В провинции оказалось, что командировки идут на пользу. Где уж в Риге... Там у каждой методики пять авторов.

Съели второе и принялись за кофе. Вкус был ужасный. Софья отодвинула в сторону полную чашку.

— Свинство!

— Еще подхватим в последний день вирусный гепатит, — Арнольд искал глазами официантку, — надо принять сто граммов...

— В номере, — подмигнул Арчибальд.

Стенки кабины лифта были покрыты коричневой пластмассой, и все пять этажей Арнольду казалось, что его заточили в грохочущий, несущийся вверх «люкс». С телевизором и гардеробом. Арчибальд достал с холода бутылку экспортной водки и два пергаментных пакета и поспешил развернуть, чтобы в полный голос возликовать:

— Ну, как?!

Малосольная лососина и поллитровая банка икры.

— Да, Арчибальд с голоду не умрет, — заметила Софья. — Тебе, Арнольд, надо было не в бридж играть, а учиться удить рыбу.

— Будет отдавать нефтью, — сказал Арнольд.

— От винограда оскомины! — радовался браконьер. — В заказнике ловил. Самому пришлось от инспектора удирать. Нет, я не хуже московских господ. Я тоже хочу...

— Таковы уж вы, латыши, — Арнольд с удовольствием затянулся первой послеобеденной сигаретой, — сами разоряете и ноете, что задница голая.

— Сандра, где у нас белый хлеб? У меня слюни текут...

— Польшу смотрели? — расспрашивала Софья.

— Черта с два! — Сэр Арчибальд чистил лук с профессиональной ловкостью. — Нарочно уделали ящик. Показывает только первую московскую программу...

Тарелка бутербродов с лососиной и тарелка бутербродов с икрой. Стаканы из комплекта с графином для воды, стопка бумажных салфеток. Арчибальд разлил водку.

— Мне только глоточек! — предупредил Арнольд.

— Старик!

— Ян, не хочу, чтобы какой-нибудь страж порядка меня вместо Вены направил в брестскую вытрезвильню.

— Нда...

Молча выпили и принялись за деликатесы.

— Ну как? — Арчибальд напрашивался на похвалы.

— Изумительно! — восхищалась Софья.

— Гениально! — вторил ей в семейном дуэте Арнольд, потянувшись за третьим бутербродом. — Будет и нечто прекрасное, что вспомнить...

— Таковыми там тебя кормить не будут, — задавалась Сандра.

— Ничего, милые, — хвастался Арнольд, — приглашу Арчибальда удить рыбу. На берега Бигривер!

Арнольд блаженно развалился в кресле, прихлебывал растворимый кофе, слушал и телекомментарий о зимовке скота, и суждения Арчибальда по вопросам инвентаря для рыбной ловли. Чтобы заполучить набор французских блесен, Арчибальд несомненно смирился бы с участием Фауста или иностранного резидента. Пока же он с аптекарской точностью наливал себе сто и говорил, что Арнольд допускает ошибку, сейчас уезжать нельзя, теперь перемены, надежды на будущее, пять лет назад это можно было понять, теперь народ пробудился ото сна.

— Доброе утро! — процедил Арнольд. — Приедешь в Ригу, а там пала советская власть. Латвия независима, до честных выборов порядок гарантируют «голубые каски» ООН.

— Ты конченый человек, старик!

— Раньше Латвия экспортировала бекон и импортировала революцию...

— Вот увидишь, все изменится! — не унимался Арчибальд, инфицировавшийся за последний год политической ветрянкой.

— Давай лучше поговорим о радужной форели, о хариусах, Янис... Или о шлюхах, размалеванных, развратных шлюхах...

— Нет, ты мне скажи!

— Что?

— Ты веришь...

— Нет! — отрезал Арнольд.

— Почему?

— Положи членский билет на стол. Положи! Вот видишь, это ты не сделаешь. Будешь говорить, как много в партии хороших людей, болтать, что не все взяточники, авантюристы или рядовые тупицы...

— Правильно. Изнутри надо кое-что менять.

— Нравится мне твоя организация. Чтобы пробиться наверх, надо пролезть через сто сит. Думаешь, туда, к рулю, попадают и честные люди тоже? Может быть, попадается какой-нибудь бывший честный. Давно продавшийся, сломленный или изнасилованный... — Арнольд стряхнул пепел с брюк. — Послушай, сталинизм совершил преступление против человечества?

— Nu moins! Миллионы погублены! Я сам родился в Красноярской области, в хижине...

— И виновных надо бы разыскать и судить?

— А чем они лучше тех, кто расстреливал жидов или надсмотрщиков в Саласпилсе? Ничего, если Горби удержится, всех...

— Преступления против человечества не имеют срока давности. Это провозгласили союзники, обязались искать виновных, где бы те ни прятались. Во дворе нюрнбергской тюрьмы повесили одиннадцать главарей...

— Верно! Геринг успел отравиться.

— И — самое главное! В Нюрнберге преступными признали все репрессивные органы SS, SA, SD, гестапо... И фашистскую партию! Главного вдохновителя и руководителя...

— Но то была фашистская партия!

— Национал-социалистическая рабочая партия Германии. А твоя компания семьдесят лет ошибается, льет кровь, мутит народ — и всегда права, потому что ведь партия сохраняет здоровое ядро. Ничего себе ядро! Когда миллионы загублены. Когда государство обанкротилась, как мелкая лавка. Вполне возможно, что и у фашистов

было такое милое, здоровое ядрышко. И вечные обещания! Теперь у вас будет демократия. Абсурд. Диалектику перезубрили? Одна партия, сама руководит и сама себя оправдывает.

— Перестань, Арнольд! — вскочив на ноги, Арчибальд жестикулировал, как на митинге. — Кто начал перемены? Крикуны на улицах? Нет, партия, Горбачев!

— Я газеты читаю. Только одно не пойму. Если утопающий бьется в омуте и, чувствуя, что слабеет и вода уже захлестывает, готов звать на помощь, просить и обещать всяческие блага, то что, этот утопающий спасает свою шкуру или начинает перемены? Как ты думаешь?

— Если удастся изменить экономику...

— Не смей меня. Когда положение улучшается? Когда отступают от твоего проклятого социализма. Это показывает восточноевропейский опыт, отступали, отступали, но совсем избавиться не смогли. В результате кризис, цены подскочили, миллиардные долги, в государственном котелке политическое брожение, а вместо груза на крышке танки.

— Нам мир поможет! — Сандра пришла на подмогу мужу, она знала, что говорила, потому что регулярно получала посылки из Австралии.

— Помогут, помогут! Только из-за какой-то Латвии войну никто не начнет. Так же, как не выкупят Аляску...

— На это рассчитывать нечего, — сказал Арчибальд, — надо полагаться на себя. Как в песне поется — *tēvu zemei grūti laiki, dēliem jānāk palīgā*.*

— Ну прямо политинформация, теперь все латыши как комментаторы за круглым столом, — и Арнольд отпил не прилично маленький глоточек, — Латвия — это трутовик на стволе России. Без жизненных соков вмиг погибнет. Кто-то перекроет кран — останетесь без газа и электричества. Будете сидеть у «буржук». И не надейся, что старший брат устроит в Риге Гонконг и допустит, чтобы трутовик рос и процветал, в то время как по всей стране на праздничный стол ставят свиной liver. Независимость! На что жить будете? Народные песни будете на золото продавать? Масла и бекона во всем мире давно завалялись. О, варианты для бумажной корзины... Глянь, за окном Польша! Живет один народ, церковь цементирует сознание, большинство ненавидит и Россию, и дарованный Россией социализм. Ненавидит, а вот своего генерала сбросить не может, и это поляки, которые столетиями бунтовали, одни и с Бонапартом до Москвы доходили, Тухачевского в Висле умывали, как звери дрались в горячей Варшаве, пока наши полководцы с противоположного берега глазели в бинокли. У них даже армия, даже милиция польские... А генерал разгуливает в темных очках, принимает парады и делает долги...

— Поляки ленивы, — упрямился Арчибальд.

— Ленивы, ленивы... Это моральная категория. Годится для сказок про Емелю на теплой печи. Вся беда в том, что социализм, оказывается, выгоден, и притом выгоден многим.

— Кому выгоден? Мне? Хожу по домам и халтуру. Как вор...

— Подожди, Арчибальд! Ты за эту независимость... Допустим. В Латвии половина населения латыши. Приблизительно. Считаю дальше! Сколько таких, кто из России или от смешанных половых актов, у кого только в паспорте запись — «латыш»? Полно. Сколько я их в больницах повидал, имя, как у латышского молодца, а произнести его не умеет... Продолжаем исследование! Все наши лодыри и дегенераты, для кого главное — ничего не делать и раздобыть банку, чтобы напиться и орать: «Мы, латыши, мы...» Их трудолюбивые, героические руки принесут новый век?.. Остаются еще мелкие надсмотрщики. Начальники, партийные аппаратчики, стукачи, у кого с системой одно кровообращение. Они ничего другого не хотят и не умеют... Вспомним про жуликов, воришек, спекулянтов, чей бизнес и благополучие процветают только

при социализме. Еще есть патриоты, у кого руки в крови. *За Родину, за Сталина!* — они не допустят правды о том времени, когда въезжали в квартиру с постеленной кроватью, а хозяин получал «кварт» или «вышку». Не допустят, и их внуки не допустят. Внизу разве сообщают поругают генералиссимуса, и ша!... А еще придурки, невымирающая порода, тем всегда хорошо... Верно, циники и скептики они, стоя в стороне или обдумывая, как выбраться из этой страны, может быть, и похвалят камикадзе или романтиков, поддержат нежным словом... Заканчивая перепись населения, спрашиваю, сколько остается? Этих активных, деятельных? Горстка.

— Большевиков тоже была горстка, а вон что заварили.

— Гори, гори ярко, моя искорка! — Арнольд вздохнул и потянулся за бутербродом. Икра приятно раздавливалась зубами, рот был полон живого белка.

— Могу подтвердить, — рассказывал Арнольд, — в больницах сейчас творятся настоящие чудеса. Стоит умереть русскому человеку, как сразу кто-то бдительный доносит, что подлецы националисты загребли... Так что, Арчибальд, сиди тихо, изготавливай клиентам мебель, пропускай водочку и не лезь в политику. Как знать, доживете еще до броневикулов у памятника Свободе.

— Перестань. Еще накличешь.

— Да, я теперь могу болтать, как мессия, проповедник судного дня. Подумай только, у вас полный комплект. Проституция, наркомания, алкоголизм. Неконтролируемый государственный аппарат и коррупция. Организованная преступность, с наемными киллерами. Политические экстремисты. Шовинисты и националисты, у которых мозги затуманены и руки чешутся. Какого еще цветочка недостает букету?

— Какого?

— Терроризма. В пятом году сумели изготовить бомбу, сумели и сейчас. Ба-бах, и у «Мильды» звезды долой, или «Вова» носом в клумбу...

— Выпьем, старина!

— Через час идти надо.

— Эх... Идти, идти... Ты, старик, равнодушен, как мясник.

— Равнодушен? Ошибаешься. Ненавижу!.. Что с нами произошло за это столетие? Что осталось? — с каким удовольствием Арнольд налил бы в стакан, но рука все же вместо бутылки взяла сигарету, — Не могу больше изображать верность правителям, требующим от меня аж любви. И вечной благодарности. Но играть спектакль с флажками и песенками... Противно. Кажется, мне понятно, почему в гражданские или религиозные войны без суда и следствия противников вешали на первом попавшемся суку. Какой бы из меня вышел чудесный военный преступник...

— Нет. Ты бы опять заумно болтал.

— Вешал бы. И профессионально устанавливал бы *exitus letalis*.

— Не вешал бы. Ты бы не пачкался кровью...

Арнольд рассмеялся. Громко. Старый плут Арчибальд, что это он... От вида крови недолго тошнит, со временем она превращается в красную жидкость. Прямое переливание, полная замена крови. И так далее. Говорят, как о краске для пола... А в палату светит майское солнце, девушка только что проснулась от наркоза. Семнадцать лет, фигурка и глаза, как у манекенщицы. Мать еще молода, лезет целовать, благодарит. Ты же, мясник, мастер кровавых колбас, молчишь. А девочка плачет, какие прекрасные глаза, слезы льют ручьем, ей кажется, самое страшное — не проснуться после наркоза. Теперь операция позади, солнечный день, тошнота пройдет, жизнь только начинается... Чтобы прерваться через несколько месяцев. И равнодушный мясник должен радоваться со всеми и думать, какими словами сказать матери, что лягут осенние цветы на могилку Ингриды.

— Не пачкался бы... — сказал Арнольд, — ну, заговорились. Как после третьей банки. Не бойся, беспорядков и революций не будет, никому не придется в страхе жечь по ночам архивы.

* у отчизны трудное время, сыновья должны прийти на подмогу (лат.)

В номер вернулись Сандра и Софья. Они купили в баре шампанское и финские конфеты.

— Арнольд, открой! — сказала Софья, когда чистые и сверкающие стаканы стояли посередине стола.

— Дай мне! — кричал Арчибальд, который, несмотря на увечье руки, натренировал здоровые пальцы, как пианист. Пробка вылетела в потолок, шампанское запенилось в чашках. Они чокнулись и пригубили.

— Всегда хотелось разбить бутылку шампуня. О корабль, носящий мое имя, — Арчибальд поставил пустой стакан.

— Тебе нужно подсутиться в партии, стать генсеком, хотя бы членом, — ответил Арнольд. — Побрежусь! А то станешь похожим на левого террориста...

— Шампанское. Сухое. Где вы достали шампанское? — Арчибальд только начал по-настоящему хмелеть.

— За доллары, — пояснила жена.

— У нас целая куча долларов. Мечтали пропить или пожертвовать на дебильных детей. — И Арнольд пошел в ванную комнату.

Слой белой пены шипел на щеках, и английская бритва гладила кожу. Неожиданно рука остановилась на полпути. Какое остроумное решение! Усадить Софью в поезд, на дорогу выдать несколько поцелуев и малозначащих фраз, мол, прости, душенька, не сердись, ей-богу, не могу без родины, с тобой иначе, не поминай лихом... Помахать ручкой и броситься в сторону валютного бара. Джин, горький, как можжевельная ягода, виски, которое мы, деревенщина, пить не умеем, библейская гора Арабат на этикетках и атмосферы углекислого газа в шампанском... Можно, можно было направить в писсуар покупательную способность зеленоватых портретов Джорджа Вашингтона, опохмелиться спозаранку, доест остатки лососа и в дважды побитом «жигуленке» Арчибальда покатыть домой... Домой, когда дома нет? Ничего, найду! Начну честно трудиться и найду... Там, на той стороне, я никому не нужен! На родине иначе. Родина без меня не может, кто другой, если не мы сами. И я, вырванный из ее плодотворного компоста, с подрубленными корнями, с засохшими бутонами. Совсем пропащий...

Бритва, царапая, соскользнула к шее. Арнольд глядел в свои глаза, видел, что от бессонницы они покраснели, под глазами темные круги. Держись, доктор, докторишко! Начинается межконтинентальный перелет, под крыльями самолета не подушки, а облака Атлантики... Страх был естествен, также и желание забиться в тихий угол, потому что ни одно государство мира, ни одно не готовило в ожидании его бутерброды с икрой. А у таланта, одаренности, трудоспособности, как у любого товара, есть стоимость, за которую их можно продать. Арнольд вытер полотенцем лицо, застиранным полотенцем с расплывчатым штампом. Еще лет десять, и он тоже бы превратился в подобную тряпку, на которой навечно пропечатан серп и молот. Такие люди больше не могут изменить даже свою, первую и последнюю, жизнь, они верят и должны верить очередному кремлевскому мечтателю. Должны верить, другой возможности нет, даже природа милосердно искажает сознание обреченных на смерть раковых больных, наверно, ужасно жить с ясным и не подлежащим сомнению диагнозом. Арнольд присел на край ванны. Одеколон щипал кожу. Как надоели эти речи, пустая солома политики, самообман, мания величия и наивность. Хотелось трудиться, дышать стерильным воздухом и трудиться. Арнольд дымил влажной сигаретой и подумал, что однажды устроит шикарный прием какому-нибудь певцу или рифмоплету из Риги, совершающему триумфальное турне по Северной Америке, умничающему и ожидающему подарки. Все может быть. Будет кормить, поить и ублажать, лишь бы услышать родной язык, слушать свежие сплетни из Литвии. Смешно! Отнюдь нет. И Арнольд увидел себя жадно листающим в гостинной рижские газеты, читающим глазами, полными сентиментальности и слез, статьи о народных депутатах, миролюбии и осенней выставке грибов. До такого грехопадения еще бесконечно долгая дорога — через пошлости и консультации, экзамены и тесты, банальные

аппендиксы, самоутверждение и труд, тяжелый, скорее всего нечеловечески тяжелый труд на протяжении многих лет.

Когда наступило время ехать на вокзал, сэр Арчибальд успел уже справиться с водкой и, слегка шепелявя, подольститься к жене. Сандра, будучи музыкальным воспитателем в детском саду, приструнила его, как озорного мальчишку. Арнольд пытался в последний раз помирить их, говорил, что сегодня особый, к сожалению, очень грустный день, а озорник обязательно исправится. Сказанное было сушей правдой. Вернувшись домой, Арчибальд впряжется в работу, будет по двенадцать часов в день дышать древесной пылью, а Сандра будет развучивать с детишками народные песни, вязать красивые свитера и опять бегать по женским консультациям в надежде занять наконец своего, бесконечно любимого и здорового крикуна.

— Мы сами доедем, — попыталась уговорить Софья.

— Нет, нет... — Сандра надула губы, — у меня есть права, асфальт не скользкий, отвезу...

Присели и помолчали. Чтобы искупить вину, Арчибальд даже не заикнулся о том, чтобы выпить на посошок, взял вещи и двинулся к дверям. А машину Сандра вела мягко и осторожно, словно «жигуль» был из хрусталя. Вечер накрыл город темной крышкой, в Бресте тоже сэкономили электричество, пришлось включать фары. Слабые фонари по краям улиц, редкие освещенные окна, отражения света в лужах и на стволах деревьев. Застроенный прямыми, одинаковыми кварталами, город выглядел хмурым и подавленным, могло показаться, что сейчас война, грозящая голодом и неприятельскими бомбардировщиками в ночном небе. Ноги Арнольда упирались в переднее сидение, он слышал монолог Арчибальда о проведенном в Сибири детстве, пропускал слова мимо себя, словно они были произнесены на чужом языке, и старался не думать о глазах таможенников. Это было последнее унижение на десерт, когда зрачки профессионала скачут по твоему лицу, а руки роются в белье.

Под навесом у главного входа на вокзал Арнольд остановился.

— Закурим? — он протянул Арчибальду сигарету.

Арчибальд сосал рядом курево и совсем неловко держал поклажу — чемодан в пальцах, набитая спортивная сумка под короткой, мускулистой рукой. Арнольд выхватил клетчатый чемодан и поставил его на мостовую. А ветер и не собирався утихать, Софья подняла повыше воротник кожаного пальто, Сандра спасалась в стеганой куртке, прятала в карманах натруженные пальцы. Мимо спешили пассажиры, две туристические группы, несколько еврейских семей и много-много поляков.

Горящий уголек пожирал табак, оставляя в легких душевный дым и богатый набор канцерогенов. Арнольд еще подумал, сколько же они так будут стоять, что первым молвит словечко. Ничего, молчание и взгляды, направленные на вокзальные часы. Арчибальд прятал сигарету в изувеченной ладони, он выглядел растерянным и похожим на приезжего, стесняющегося спросить в чужом городе дорогу к общественному туалету. Софья еще в номере приняла таблетку от нервов, казалось, что она с трудом сдерживается, чтобы с громким смехом не сообщить компании: все это блеф, Арнольд любит дурачиться, сейчас быстрее в гостиницу, выспимся, на зорьке понесемся сквозь Литву, купим жирного гуся, которого по латышскому обычаю съедят в Мартынов день в Риге. А Сандра сверлила мужа взглядом, враждебным, как бормашина, что подделать, колы национальный менталитет требовал, чтобы муж ни капли в рот не брал, что-то творил в искусстве, по крайней мере умел красиво петь и танцевать. Ничего подобного, Арчибальд умел реставрировать мебель.

— Пора! — сказала Софья.

— Моя маленькая форточка в Европу! — отозвался Арнольд, и его окурочок полетел в ближайшую лужу.

— Куда вы спешите? — Арчибальд выглядел таким несчастным, словно ему самому надо было отправляться в изгнание.

— К таможенному гинекологу, — старался шутить Ар-

нольд, — мне тоже в задницу воткнул длинный вертел, бриллианты будут искать.

— Зачем...

— Всеу свое время.

— Старик, — Арчибалд был готов разреваться, — мы тебя всегда...

— Мы пойдем, Сандручка! — Софье пришлось встать на цыпочки, чтобы поцеловать провожавшую, а Сандра спустилась со своих высот.

— Пишите, — сказала Сандра, — мы всегда поможем.

— Эх, и зачем тебе заграница, — говорил Арчибалд голосом обиженного, капризного мальчишки, — я бы знал, что купить...

— Пришлю, пришлю тебе эти блесны и лески...

— Какие в Германии стамески... Золинген!

— Будут тебе пилочки, сверла, ножички, — сказал Арнольд. — Вспоминай меня, если времена не переменятся, пиши.

— Адрес помнишь?

— Я все помню.

— Пора, — уже второй раз сказала Софья.

— Ну, будьте... — хотел проститься Арнольд.

— Нет, хотим видеть! — Сандра стала категоричной.

— Нет! — Арнольд старался говорить бережно. — Граница, святое и таинственное место... Мы последний раз отдаем себя во власть органов.

Долго целовались, прощались и разговаривали. Арнольд с удовольствием представил бы, как прощаются люди, прощая в бессмертии Магеллана или близких на Готланд. А Арчибалд сморкался, светлые ресницы у мужика увлажнились, и он не выль о спасении умершего ребенка. Значит, при сознании. Слезы капали на пухлые щеки Арчибалда, и Арнольду показалось, что он совсем не плохой и вовсе не бесчувственный человек.

— Ладно, Янис, через пять лет мы встретимся. У вас, в России. У меня гостиничный номер в Риге, за тобой лосось.

— Договорились, старик!

Арнольд взялся за поклажу. В широких застекленных дверях он оглянулся. Сандра свои окрашенные хной волосы спрятала в капюшон, а Арчибалд стоял с непокрытой головой.

— Может быть, я прокаженный, или через месяц у меня нос отвалится? — допытывался Арнольд, когда они пробрались сквозь толпу в сторону сектора международных перевозок.

Облаченные в серую, прилегающую форму таможенники потрошили поляков. Пожитки двух эмигрантов они проверили формально. Рядом капризничали дети, скандалили люди, на сколько-нибудь личное отношение не хватало времени. На улице носильщики поджидали багаж, как гиены добычу. Международные поезда ходят точно по расписанию, и несколько еврейских семей заплатили сотни, чтобы носильщики доставили сквозь подземные переходы на нужный путь горы прошедших сквозь таможенную чехоманов и тюков, а остатки заработанного, украденного или полученного в наследство скарба в последний момент поместили в багажный вагон. Арнольд шагал по влажному перрону. Впереди несли на место в багажном вагоне заключенного в стандартную клетку колли. Животное чувствовало что-то неладное, пес выль в ночи, и жалобные звуки свивались вдали со свистками маневровых паровозов. Хозяйка бежала рядом с клеткой и плакала, а Софья непрерывно поторапливала мужа.

Опять купе, вещички на багажной полке, и мокрая верхняя одежда на металлических вешалках. Поезд еще стоял, хотя по расписанию он уже шесть минут должен был катиться в направлении Вены. По коридору, стуча сапогами, шагали пограничники в зеленых фуражках. Офицер что-то спросил у рядового, солдатик ответил, лениво вытянувшись по стойке «смирно».

— Латышь? — обратился Арнольд к рядовому.

— Ага, — шепотом ответил парень, глядя вслед начальству.

— Стрелок, — сказал Арнольд жене и почувствовал себя совсем скверно.

Он сидел на лавочке и считал про себя. Пять, четыре, три, два, один, зего... Пять, четыре, три, два, один, зего... Неожиданно литая, кованая и сваренная стальная масса вагона вздрогнула. Все, старт. Начало. Поехали, товарищ Гагарин!.. Секунды умирают на циферблате часов. Пять, десять, тридцать... Красная стрелка описывала круг, а Арнольд чувствовал, что сердце работает, как на олимпийском стадионе. Он вскочил на ноги, слышал, как стучит в висках пульс и думал о виденных десятки раз кадрах — зимнее утро во Флориде, люди ликуют, «Challenger» преодолевает земное притяжение, внизу остаются мили и километры, жизни отпущено шестьдесят семь мгновений, исчезающих белыми клубами высоко-высоко в небе.

Арнольд поспешил в коридор, припал к окну. Рядом крутились два негра. Арнольд их не замечал. В конце концов, какое значение имеют два негра, может быть, парни — непревзойденные джазмены или спринтеры... Поезд медленно скользил по рельсам. Арнольд все еще стоял у окна и шупал неизвестно куда засунутую в угол губ сигарету. Сквозь белесую пелену дождя, мелькающий свет и темные призрачные тени Арнольд пытался разглядеть пахоту пограничной полосы, замкнутым кругом опоясывающую шестую часть суши всей планеты, этот тщательно взрыхленный, послушными солдатскими руками делянный песок, который десятилетиями стерегут пулеметы, локаторы, дрессированные крокодиальные псы и, сменяя друг друга, поколения пограничников, делающих свою отчизну все ужаснее, все более отсталой.

Как упорно ни вглядывался Арнольд в даль, все же колючую проволоку и сторожевые вышки, как в книжках Солженицына, он не увидел. Глаза отупели от ранней ноябрьской ночи и яркого света прожекторов. Арнольду хотелось плакать. Он глазел в окно, прислушивался к английскому языку негритянских попутчиков и очередной раз убеждался, что половина жизни погибла. Может быть, треть, а может быть, вся. Колеса поезда настойчиво гремели, как ритмическая группа в рок-ансамбле, а он не мог понять одного. Как, во имя чего пропали годы, отданные тому проклятому, исчезающему на востоке государству? Вихрь уже не остановить, и родина ускользает из-под ног, как ломаемая потоком времени льдина — скользкая, равнодушная и холодная. Каким грустным, каким серым был первый отрезок жизни, теперь накопленное гегелевское количество прыжком, достойным самого Боба Бимона, превращается в новое обиталище. Но остается непонимание. Так дешево? Так просто? Еще несколько до смешного коротких мгновений, не дай бог, от гари задержится, и последнее утешение останется в голосах врачей и в шприцах.

Арнольд заметил, что фильтр сигареты замусолен слюной. Как у пьянчужки, как у нервноболезного. Он оглянулся назад. Софья расчесывала влажные волосы, гребешок скользил сквозь темные пряди, и Арнольд знал, что его долг — помочь этой женщине. Все остальное годится для элгий или анекдотов, но он должен помочь, должен воздать за это мгновение в международном спальном вагоне, когда огни Бреста гаснут на московской стороне, а он, оттолкнувшись от маленького клочка земли на берегу Балтийского моря, отчаянно прыгает и пытается обмануть судьбу.

Арнольд схватил обслонявленную сигарету. Надо бросить курение, надо бросать! В мире табак потерял свою привлекательность, струйка дыма из носа свидетельствует о недостатке силы воли... Он поспешно спрятал сигарету в полупустую пачку.

Удастся ли, неужели удастся? Ответ крылся в гуле колес, в этих жутких и монотонных звуках, настоящей азбуке Морзе, шифрующей правду и скрывающей будущее. И все прошлое для него в тот момент слилось с никотином, который, неся смерть, так нежно, так соблазнительно всасывается в легкие, чтобы начать свой сладострастный путь к клеткам мозга.

ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВА

• • •
 стрекоучий мотив судьбы
 часы из лавки антиквара
 то хриплой сухостью скрипит
 то всхлипнет то вдруг замолчит
 вновь монотонно зазвучит
 собьется с ритма — все сначала

а на другом отлоге гор — ребенка плач
 и женский гомон
 и петуха полудний говор
 рассыпанные по холмам

два желто-бежевых крыла
 замолкли в трепетном покое
 и тихие уколы хвои
 лениво брошенной к ногам

так между небом и землей
 таинственный творится сговор
 движенье вверх и вниз схождение
 встречают линию скольженья
 и замирают в летнем зное
 в изнемогающем покое

• • •
 Сквозь сумрачный покой
 серебряный и строгий
 дыханье осени выводит
 дней первозданный холодок
 реки медлительный поток
 в ее неподвижности свинцовой
 деревьев желтые клочки
 мелькают грустным поднебесьем
 и полноводностью аллей
 плывут дома к истоку дней
 и воздух птицею скользит
 со свистом вдоль наклонных линий.
 Безмолвно изогнув нам спины
 дождь возник.

• • •
 я в чаще дремучего рая
 пойман в зеленый сачок
 о кто ты тебя я не знаю
 исчезни змеинный зрачок
 я жду когда кончится обморок
 и в полночь ненастного дня
 розовым бережным облаком
 выдохнет кто-то меня

из Рильке

Господин! настало время
 лето длилось очень долго
 пусть гуляет в поле ветер
 пусть падет на солнце тень
 чтоб в садах дозрели фрукты
 подари два дня им южных
 да свершится воплощенье
 горькой сладости последней
 в терпко-пряное вино

но
 у кого теперь нет дома
 дом тому уж не построить
 кто один
 тому не скоро обрести покой и сон
 будет он ходить к знакомым
 по ночам читать запоем
 письма длинные писать
 и по парку беспокойно
 вслед за листьями
 мелькать.

• • •
 Россия жива. Колокольные звоны
 еще не замолкли на древней земле
 и так же старухи ее богомольны
 и девушки так же наивны и строги
 и мальчики думают о петле.

• • •
 я любила грустный смех
 на траве зеленой снег
 перешепоты дождя
 и сумерничанье дня

словно бы в предвесье бед
 ревновала к боли всех
 а теперь кричу: «Довольно!»
 поняла что значит больно

• • •
 в далекий путь прощайте господа
 мы отплываем в эту ночь тревоги
 и облака тяжелые как дроги
 и медленная влажно ждет вода
 во мне струна натянута до дрожи
 паренье переходит в легкий звон
 и звук повис задумчивою ложью
 и ветер и свинцовая вода
 уже пора прощайте господа

две панихиды две в одной
 ты, Рим, прощаешься со мной
 нимб скорбный желто-голубой
 над головой
 два голоса в душе поют
 две родины сюда зовут
 две памяти во мне живут
 и легкой поступью одна
 с седыми буклями жена
 другая шепчет мне во сне
 неверно бродит в полутьме
 в том полусумраке души
 нерасколдованной глуши
 две жизни сплетены в одной
 и откликаюсь я порой
 на голоса которых нет
 мне нужен дальний их привет
 и будто лета позади
 и мне их снова перейти
 и вновь увидеть пред собой
 две жизни сплетены в одной

• • •
 ах веточка моя психея
 мой хрупкий лучик
 в пасмурном окне
 мой добрый ангел
 маленький мой лель
 ты робкое беспомощное чудо
 явь полубоморока
 светлая сирень
 играет чутко хрипло и недужно
 вызывая ритм-капель
 как будто солнце греет льдинку
 стучит-звенит мотив
 нанизывая рифмы под сурдинку
 ты девочка психея муза чудо
 веди меня вперед не оступись



АЙВАРС КЛЯВИС Я ЗОВУ— ОТЗОВИТЕСЬ!

Рудите опять вскочила. Я схватил ее за руку.

— Не надо! Ничего не добьешься. Только влипнешь в историю.

— А тебе что? Отпусти! — возмутилась она, выдергивая руку.

— Успокойся! — сказал я, хотя самому было не до спокойствия. — Зачем в огонь лезть?

Приятель Таливалдиса плотным кольцом окружил пожилую пару. Попытки швейцара ликвидировать конфликт ничем не дали. Вокруг, как пестрые бабочки, суетились разнаряженные девушки.

— Отдайте номерок!

— Да отвязись ты со своим номерком!

Драка вот-вот готова была вспыхнуть. Кто-то крикнул, чтоб позвонили в милицию. Кто-то из стоявших на лестнице ответил, что уже вызвали. Никто не пытался разнять дерущихся, не попытался встать на сторону тех, кто был явно слабее. Люди сверху наблюдали за потасовкой, некоторые с явным удовольствием, кое-кто подавал глупые советы.

Я держал Рудите за руку. Вначале она еще пробовала вырываться, потом успокоилась.

— Отпусти ее, пусть бежит, — рассчитавшись с барменшей, шепнул Агрис. — Отпусти и мотаем, а то будет поздно.

Я не видел причины для бегства. Разве что ради Рудите. Но Агрис хотел от нее отделаться. Стоит нам исчезнуть, девчонка обязательно вяжется. Ее надо было брать с собой.

Пока я все это обдумывал, собираясь возразить Агрису, в дверях появились два милиционера. Поздно. Один из них преградил путь парочке, которая хотела улизнуть.

Черт, до чего глупо! Вечно мне не везет! Теперь злись не злись. Пока сообразил, пока решил — уже и бежать никуда не надо. Поезд ушел.

— Ну, что я говорил? — сердито прошипел Агрис.

— Та-а-лис! — опять крикнула Рудите.

— Замолчишь ты или нет? — тут и меня разобрала злость.

Гардеробщицы что-то кричали милиционеру. Один из них был с рацией. Все, кто был в баре, повскакали со своих мест, чтобы лучше видеть происходящее. В этот момент Таливалдис не то чтобы ударил, не то чтобы толкнул, но как-то рывком освободился от цепких рук толстяка. Милиционер, стоявший в дверях, бросился вперед. Кое-кто, воспользовавшись моментом, выскользнул за дверь.

— Теперь пошли, — приказал я.

Агрис юркнул за куртками. Я стал подталкивать Рудите к дверям. Сначала она упиралась. Но орать, к счастью, перестала и не рвалась больше не вырочку к Таливалдису. С появлением милиции она, похоже, поняла всю серьезность ситуации. Но окончательно смирилась со случившимся, только когда вернулся Агрис.

Видя, что я не собираюсь бросать Рудите, он схватил ее за другую руку.

— Отпустите! Мне больно!

Сквозь толпу мы благополучно пробрались к дверям. Но, к несчастью, опять опоздали. Как только вышли на улицу, в подворотню въехала милицейская машина.

— Эй, граждане, стойте! — прозвучал за спиной приказ. Я оглянулся. Из машины вылез мужчина в темном костюме. Агрис рванул через улицу. Стартовал он мощно, с места развил космическую скорость. Для меня это было открытием. Я и не знал, что он прирожденный спринтер.

— Стоять! Стоять! — раздалось за спиной.

Крики и на меня действовали как выстрел стартового пистолета. Я бросился бежать, волоча за собой Рудите. Прямо по тротуару. Припустил изо всех сил. За спиной, пытаясь, как паровоз, моталась Рудите. Непонятно, как это она еще не упала и не вывихнула ногу.

Вначале я слышал, как за нами гнались. Потом за спиной послышался звон разбитого стекла. Когда я оглянулся, сзади никого не было. Я отпустил руку девчонки. Тяжело дыша, Рудите прислонилась к дереву.

— Идиот! — произнесла она сквозь кашель.

— Ничего, ничего, пройдет, — сказал я, накидывая девушке на плечи куртку.

Откашлявшись, Рудите так и осталась стоять возле дерева. Стояла и раскачивалась. Ну и пьяна же она была! Просто странно, как это мы убежали. Чертовское, можно сказать, везение! Несчастная глупая девчонка. Захотелось погладить ее по голове, но Рудите принялась меня ругать. Ты трус, сказала она. И Агрис тоже трус. Я же, сказала она, трусов на дух не переношу. И вообще — что мне надо, что я тут торчу! Смотреть противно. Чтоб и не вздумал к ней приставать, чтоб сейчас же убирался!

— Ты что за мной таскаешься! Отвяжись от меня! — кричала она.

— Не разоряйся! Мне не привыкать иметь дело с пьяными дамами, — сказал я как можно спокойнее.

— Ну и что? Подумаешь...

— Ладно. Не хочу, чтобы ты со своим невинным личиком таскалась пьяная по городу. Мало разве тебе? Поэтому я от тебя не отстану, пока не транспортирую домой, поняла?

Но Рудите снова заканючила, что ей надо обратно к Таливалдису, который из-за нашей трусости попал в передрагу. Что с ним теперь будет? Что делать? И прочее в том же духе.

Мне это дело надоело. Я сказал:

— Не волнуйся, ничего с твоим Таливалдисом не случится.

На Рудите мои слова произвели обратное впечатление — она набросилась на меня как больная:

— Что ты сказал? Что с ним случится?

— Посадят в одиночку, котлетку на обед не дадут, и будет он там торчать, пока не придет мамочка и сыночка не вызволит, — отрезал я.

Вероятно, этого не следовало говорить. Мне еще раз пришлось выслушать, какой я трус и какой Таливалдис замечательный. А тех, кто бросает друга в беде и еще над ним издевается, она ненавидит в квадрате, так что мне лучше убираться подобру-поздорову. Она вся дрожала от злости, а в глазах стояли слезы.

Ничего не скажешь — друг, сам уехал в милицейской

машине в неизвестном направлении, а мне подсунил эту истеричную барышню.

— Никуда не уйду, пока не доставлю тебя домой, — повторил я. — Талисвалдис влип в передрагу, с нами не посоветовавшись. Пусть сам и выбирается. И не один он был, а со своими дружками и с этими куклами размазанными. Мы там были сбоку припека.

Не знаю, поняла ли Рудите сказанное, но в конце концов мне удалось оторвать ее от этого идиотского дерева. На улице я остановил такси.

— Где ты живешь? — спросил я, засовывая девушку в машину.

Похоже, любая смена обстановки выводила ее из равновесия, потому что она тут же принялась бессвязно бормотать:

— Я... я ужасно пьяна. Как тебя звать? Арманд? Ах, верно, Арманд. Поль Арманд.

— Где ты живешь?

— Арманд, ты не сердись? Скажи, что не сердись, Поль Арманд!

— Я не сержусь, я хочу знать, где ты живешь.

— Нет, скажи: «Рудите, я не сержусь».

— Где ты живешь, черт тебя побери!

— Долго вы еще будете торговаться? — не выдержал шофер.

— Нет. Поезжайте!

— Куда?

— Все равно. Прямо.

Мы тронулись.

— Понимаешь, со мной такое иногда бывает, — бормотала Рудите, — вдруг ни с того ни с сего становлюсь ужасно противной. Это от меня не зависит как-то. Помимо меня. Само собой происходит. Особенно когда я пьяная. Сегодня ведь я пьяная? Нагрузилась как следует, да?

— Да, сегодня ты нагрузилась основательно. А где ты живешь, если не секрет?

— В Пардаугаве.

И, сердито глянув на меня, добавила:

— Ах, Талис прав. Скучный ты тип. С тобой и не поговорить как с человеком. А я еще извиняться собиралась.

— В Пардаугаву, — сказал я шоферу.

— Адресок?

— На какой улице ты живешь?

— Мелнсила.

— Мелнсила, — повторил я.

Рудите тихо засмеялась и, уткнувшись в мое плечо, засопела. Посвистывая шинами, такси мчалось по освещенным улицам. Фонари прятались в мокрой листве деревьев, за ними мелькали призрачно-бледные фасады домов.

— Не спи! — осторожно толкнул я соседку в бок, когда мы свернули с улицы Калнциема.

Моргая глазами, она посмотрела в окошко. Потом больно схватила меня за руку.

— А! Вспомнила! Видишь вон тот дом? Третий этаж. Первое справа — бабушкино окно.

Шофер резко затормозил.

— Осторожнее нельзя? — набросилась на него Рудите. — Чуть лоб не расшибла. Почему вы остановились? Приехали.

— Как это приехали? Я давно здесь не живу.

— Что-о? — удивленно протянул шофер.

— Это когда-а было. Это мы раньше здесь жили. Видишь, вон в том доме. — Она показала на какую-то пятиэтажку. — Все вместе. Без ссор и ругани. Даже не верится!

— Да, — сказал я осипшим голосом, а Рудите, вцепившись в мою руку, смотрела наверх.

— Видишь, вон то окно слева, светится, — это спальня отца и матери. Два темных посередине — проходная комната. В ней жила я. Но я пропадала у бабушки — в маленькой комнатке. Мне так там нравилось. Целыми днями там торчала.

— Прекратите валять дурака, а то высажу, — сказал

шофер. — Е-мое! Любезничать вздумали! Мне вкалывать надо!

— Где ты живешь? — спросил я в сто первый раз, не надеясь на вразумительный ответ.

— В Иманте.

Она назвала адрес и, когда мы тронулись, забилась в угол.

— Ну, смотрите, если еще раз... — сказал таксист.

— Лучше смотрите, куда едете! За поездку мы платим, — отбрил я его.

Рудите подвинулась ко мне ближе и принялась шептать:

— Как тогда хорошо было — ты и не представляешь. Малюсенькая комнатка, и мы вдвоем с бабушкой с утра до вечера. Она учила меня рисовать. Потом писать, читать. Тепло, уютно. Понимаешь, Арманд?

— Понимаю.

— Зато сейчас... Говорить даже не хочется. Почему все хорошее уже было? Прошло и не вернется — почему?

— Не знаю.

Такси остановилось. Я ждал, что она снова выкинет какой-нибудь номер, но все обошлось. Рудите вздохнула и вышла.

На счетчике было шесть рублей с копейками. Я дал водителю восемь, все, что осталось у меня после покупки подарка. Он даже не считал нужным притвориться, что ищет сдачу, и что мелочи у него нет. Я бы, конечно, и не стал брать, но предложить-то можно было. Ради приличия хотя бы. Так нет же! Сжав зубы, он хлопнул дверцей и уехал. Отвратный тип.

А мы с Рудите полчаса, не меньше, бродили еще среди новых многоэтажных домов. Она ни за что не хотела идти домой. Сначала ей вздумалось покачаться на качелях, затем посидеть, и непременно вместе, в песочнице, потом она потащила меня смотреть, как растет какой-то растреклятый каштанчик.

Было уже за полночь. Так можно было, конечно, болтаться до утра. Рудите то и дело повторяла, что смерть как не хочет идти домой. Такая тоска разбирает, стоит только об этом подумать. Мне она со своими капризами тоже до смерти надоела. Страшно хотелось спать. Наконец чуть не силой затащил ее в подъезд и на свой страх и риск позвонил в квартиру.

— Эх, ты! — сказала Рудите. — Эх, ты!

— Чао, милашка! — крикнул я, сбегая по ступенькам. И мы расстались.

Потом уже, шагая посреди улицы в сторону центра, я подумал, что надо было, вероятно, остаться, раз она этого хотела. Но теперь-то что. Угрызения совести меня не мучили. Скорее я был рад, что от нее избавился.

Машины мчались мимо, не останавливаясь. Все мои попытки остановить машину оказались напрасными. Я уже стал терять надежду, как вдруг...

— Подбросьте до центра, — попросил я, открывая дверцу «Жигулей».

— Садись, — сказал человек за рулем и, когда я устроился на заднем сиденье, добавил: — Полчervenца. Ночной тариф. Не устраивает — топай ножками.

Денег у меня не осталось ни копейки. Только идиот признался бы в этом и вылез из машины. Сказал тоже — топай ножками!

«К чертям», — подумал я и согласно кивнул головой.

Когда машина подкатила к дому, я признался, что денег с собой у меня нет, но я могу сбегать, принести.

— Знаем мы ваше сбегать! Никуда не пойдешь! Сопляк этакий! — Парень за рулем клокотал от возмущения.

— Нет так нет, — миролюбиво сказал я и вылез из машины.

— Ну, погоди, шут гороховый!

Владелец автомашины — он оказался небольшого роста, но достаточно плотный, лет двадцати пяти, — выскочил вслед за мной и пошел на меня смешной прыгающей походкой.

— А ну, плати!

— Честное слово, нет ни копейки.
— Так зачем лез в машину? Чего лез, спрашиваю? Он подпрыгивал, как на пружинах. Я сунул руку в карман. Парень замер.
«Трусит», — понял я.
— Да ладно, кончай. Я ж ехал, вез... Бензин, амортизация... Рассчитаемся, как люди, и разойдемся чин чинарем. Дай хотя бы трояк. — В голосе автолюбителя появились заискивающие нотки.
— Пардон! Денег у меня нет. За душой ни копейки. С этими словами я повернулся и пошел.
— Ах ты, сопляк! Стой! — взревел за спиной владелец машины.

Я оглянулся. И в этот момент он молниеносно подпрыгнул, и его кулак пришелся как раз мне в лицо. Прежде чем я сообразил, что к чему, он сел в машину и был таков. Я только увидел его расплывшееся в улыбке лицо, когда он обернулся.

Из разбитой губы сочилась теплая, соленая кровь. Я зажал рану ладонью.

Ощупью, стараясь ничего не задеть, пробрался по темному коридору через кухню в свою комнату, открыл дверь, вошел, разделся и лег.

Так закончился день, ничуть не длиннее других, но в двадцать четыре часа которого вместилось множество событий. Потом оказалось, что события эти чертовски повлияли на мою дальнейшую жизнь. Но, видимо, на свете все именно так и происходит. Все взаимосвязано. Позавчерашний день со вчерашним. Вчерашний с сегодняшним. Сегодняшний с завтрашним. Время сплетает события.

Что-то обязательно кончается, что-то все время начинается, а на самом деле все непрерывно продолжается, возникает, формируется, совершенствуется. Но когда я, обессиленный, усталый, повалился на кровать, я еще этого не знал. Вернее, об этом не думал. Я хотел только одного — спать.

11

На следующий день в школу не пошел. Разбитая губа распухла и зверски болела. Вид у меня был тот еще, самое настоящее пугало, и конечно, появляться в таком виде в школе никакого желания не было. Я вообще больше не хотел идти в школу, что и для меня самого оказалось неожиданностью. Ничуть не преувеличиваю — впервые за все эти годы. Уроки, конечно, пропускал, не без этого, но редко, так как в принципе не признавал прогулы.

Но в то утро, не испытывая никаких угрызений совести, остался дома и, лежа на диване, читал Белля. «Глазами клоуна». Одну из тех книг, которые стоит прочесть. Читал ее раз десять. Когда мне бывает грустно, я всегда ее читаю. Знаю ее чуть не наизусть. И каждый раз узнаю что-то новое, понимаю многое из того, что раньше казалось непонятным.

Книга эта не столько о том, что происходило с главными героями, сколько о том, что творилось в их душе. Красивые люди или некрасивые — не это было главное, главное было — счастливы они или нет, благородны или жестоки. Автор, немец этот, ничего не разжевывал, не мусолил, но мало-мальски соображающему человеку и так было ясно, что он хотел сказать.

Про то, например, как он в первую ночь идет к Марии, а потом Мария, связавшись с негодяем Цюпфнером, бросила его, потому что он клоун. Просто клоун и больше никто.

В то утро в квартире долго стояла тишина.

Наконец мне захотелось есть. Пришлось одеться и плестись в магазин. Когда вернулся, наткнулся в коридоре на мать. Бледная, еще больше взъерошенная. Она, похожему, даже похудела.

— Видишь, денежки я все ж таки раздобыла, — сказала она, хихикнув.

— Вижу. Что опять продала?

— А вот и не скажу! Тебе ничего не скажу, потому что ты стучах.

— Ну и не говори! Продолжай в том же духе. — Я махнул рукой.

Ясно, что-то опять продала. Или со своей коздой обчистила себе подобную.

— И буду! — ответила мать, повернулась и, разговаривая сама с собой и хихикая — точь-в-точь слабоумная, — пошла по коридору.

— Желаю успеха! — крикнул я вдогонку.

Бодрое ее состояние свидетельствовало только об одном — деньгами она разжилась приличными и пьянка так быстро не кончится.

Я поел, вымыл грязную посуду, которая копилась с прошлой недели. Мокрой тряпкой протер пол. Открыл окно, проветрил кухню, куда, как и в мою каморку, почти не заглядывало солнце. И снова пошел читать Белля.

Где-то в час неожиданно появилась Гунита. Гипс ей сняли, но укутанная в зеленый платок рука все еще висела на повязке.

— Ты где пропадала? — спросил я.

— Ах, и не говори, — ответила сестра, садясь на мой единственный стул. — Жизнь пестра, как луг зеленый. А ты уже из школы?

— Сегодня не ходил.

— Отчего ж так?

— Да так.

— Братик сачковать начал! — Смеясь, она погрозила пальцем. — Смотри мне!

— Смотрю, смотрю! Результат, видишь, на лице, — сказал я и тотчас пожалел об этом.

К счастью, Гунита то ли не поняла, то ли прикинулась, что не понимает.

— Да оставь ты ее в покое! Что от старого человека хотеть? Пусть делает, что вздумается, черт с ней! Ее не переделаешь. Сам видишь, допилась до ручки.

Почему-то в пьянстве сестра обвиняла только мать. Себя Гунита пьяницей не считала. Если я иногда заговаривал о том, что не вижу между ними разницы, она смертельно обижалась. Она, мол, не пьет, никакая она не пьянчужка, и все тут! Напрасно я пытался доказывать обратное.

— И часто?

— Что часто?

— В школу не ходишь?

— Бывает.

— И правильно делаешь. Если честно — толку от средней школы нет. По себе знаю. Время попусту теряешь.

Сестра действительно закончила среднюю школу, так что наверняка не с чужих слов говорила. Училась она в общем-то неплохо. Когда я был то ли в седьмом, то ли в восьмом классе, Гунита еще сносно говорила по-английски. Можно сказать, у нее талант к языкам. Был. Все это, конечно, было когда-то.

— Голова у тебя светлая. Надо было после восьмого в техникум тебе идти.

— Чего уж теперь. Надо было, надо было! Мало ли чего надо было.

Чтобы перевести разговор на другое, я спросил, как рука.

— А-а, не говори, — сказала Гунита. — Больничного не дают. Не врачи, а идиоты. Разве я с такой рукой могу работать? Не могу! Вот и прогуливаю. Им бы руки переломать, знали бы тогда, как говорить: вы практически здоровы, надо меньше пить.

Гунита сердито погрозила известным ей одной докторам. Мне стало смешно. Погрозила-то она рукой, замотанной в зеленый платок, и тут же опять принялась качать ее как ребенка. Обхохочешься!

Ради приличия я спросил о Янке. (В последнее время она жила у этого типа.)

Гунита снова протянула:

— А-а, не говори!

Об отношениях сестры с этим Янкой и ему подобными действительно лучше не говорить. Мне, по крайней

мере, все это казалось чем-то ненормальным, самой настоящей патологией.

Нет, я, конечно, не сосунок, все прекрасно понимаю. Даже между ними существовали симпатии, привязанности, а может быть, и еще более благородные чувства. В конце концов существуют же на свете половые отношения, секс и тому подобное. Они были люди взрослые. И гораздо моложе, чем можно было дать на вид. Все это я понимал, но только умом — отстраненно, логически. Стоило хоть чуточку поддаться эмоциям, как я буквально зверел.

Когда я примерял к ним все то прекрасное, благородное, что существует в жизни, сразу же это становилось примитивным, вульгарным, омерзительным. К тому же они все время подтверждали это своим стремлением к гнусным наслаждениям. Будто соревновались, кто из них грязнее. Слово бы нарочно хотели уничтожить все прекрасное в отношениях между людьми. Пытаясь доказать, что жизнь — помойная яма. И только. А может быть, они ни о чем и не думали, ничего не хотели? Просто они по натуре были такими и мир воспринимали скудным, испытанным своим умом. И если очень захотеть, даже это можно было понять, но как только я соотносил все это с сестрой, меня всего выворачивало. Я переставал что-нибудь понимать. Просто терял способность думать. У меня слишком хорошее воображение, богатая фантазия и, к сожалению, кое-какой опыт. Стоило представить, как они целуются слюнявыми губами, я начинал сам себя ненавидеть. Губы впиваются в чужое тело. Они целуются самозабвенно, жадно, страстно, тихо бормоча и изрыгая ругательства. Руки елозят по одежде, срывают пуговицы, рвут молнии. Из-под одежды проглядывает синее от холода тело. И, голые, они валяются на серых грязных простынях или лобызаются прямо на полу за высохшей пальмой, в то время как в соседней комнате остальные под пьяные крики опорожняют бутылки. Они спешат обделаться свои делишки как можно быстрее, чтобы остальные не выпили за это время слишком много. Потные лица, прерывающееся дыхание, глухие ругательства. И объект вожделения — моя сестра. Старшая сестра. А может быть, никакой она не объект. Может быть, она субъект. Может быть, это она завоевывает и получает удовольствие. Это казалось еще ужасней.

Чистейшая патология.

Похоже, в очередной раз виной всему мои комплексы.

— А-а, не говори! — небрежно произнесла Гунита, когда я спросил, как дела у Янки.

— А что с ним?

— На сутки загремел.

Хотел сказать, что давно пора. Хотел сказать, чтоб она гнала в шею этого пьянчугу, но понял — не стоит. Если когда-нибудь она и решится на это, обойдется без моих советов. В конце концов я же не считаю с ее советами. Так что ж требовать, чтобы она считалась с моими.

Безразлично бросил:

— Не тужи, обойдется, — в общем, что-то в этом духе.

С моей стороны это был полный идиотизм. Ничего более идиотского придумать было нельзя.

— А я и не тужу. Мне что! — Гунита вздохнула, встала и неожиданно добавила: — Смотри, не очень-то сачкуй! Школу надо закончить. — И чему-то улыбнувшись, вышла.

Эта улыбка напомнила мне прежние дни, когда старшая сестра помогала младшему брату одолевая английский. Эта улыбка напомнила о прошлом. А она встала и ушла. И я снова погрузился в книгу.

Потом еще раз пересчитал деньги.

Да я и без того знал — кроме полтинника в кармане брюк, в англо-латышском словаре хранится еще семьдесят пять рублей. Разве это деньги?

К вечеру в голове моей стало проясняться. Все встало на свои места.

Отложив книгу, я вытащил из шкафа папки, в которых хранил материалы о «первой формуле». Семь картонных папок. На каждой с детской тщательностью нарисованы большие цифры — год. Восемьдесят четвертый, восемьдесят третий, восемьдесят второй... Из ящиков вытащил потрепанные журналы, фотографии, газетные вырезки и три плаката.

«Так...», — сказал я сам себе, оценивая взглядом кучу бумаг.

В них заключалось все мое богатство. Без преувеличения. Семь лет копил. Экономил копейки, чтобы купить. Выменивал на всякую ерунду. А уж как радовался, когда мне дарили что-нибудь стоящее. Миллионы раз, счастливый, держал я в руках каждую бумажку, восхищаясь ею. Не сосчитать, сколько раз перечитал каждую газетную вырезку, систематизировал их. Это было не просто увлечение. С ними были связаны мои надежды и мои мечты. Прекрасные надежды, еще более прекрасные мечты, в которых я находил прибежище.

Я принялся листать журналы. Мне навстречу с ревом неслись автомашины, мне улыбались одетые в нарядные комбинезоны гонщики, механики вскидывали руку со средним и указательным пальцем в виде буквы V. Viktorial Победа!

Да, безусловно, это было самое ценное из всего, что мне принадлежало. Вероятно, ощущение победы и привлекало меня больше всего. Хотя я знал, что это самобман — все эти разноцветные картинки, эти чужие победы, в то время как о собственной я только мечтаю, — но была в этом какая-то таинственная притягательность. Как только я прикасался к своим папкам, я оказывался там — с ними.

Раскрыв картонную папку, я стал перебирать заметки о соревнованиях, списки участников, таблицы с результатами, схемы автотрасс. Больше всего было картинок — ярких, красочных, блестящих. Это были остановленные мгновения соревнований, фотографии лидеров, победителей и неудачников, зрителей и спортивных машин, машин.

В папках было все или почти все о «первой формуле». Капитальный труд, имевший капитальную ценность. Еще позавчера мне и в голову не пришло бы в этом сомневаться. Но в тот момент, когда, вытаскивая последний журнал, я присел на корточки возле шкафчика, собираясь проверить, не забыл ли чего-нибудь в ящике, я уже думал иначе. Почему, собственно, понять я не мог. Слово кто-то огромной резинкой стер в моей душе все, что я думал об этом прежде.

Убедившись, что шкафчик пуст, я перевязал бечевкой всю эту дурацкую кучу макулатуры.

И в эту минуту все с удивительной четкостью встало на свои места. Окончательно и бесповоротно. Намертво.

В пятницу, двадцать первого сентября, будильник зазвонил, как обычно, в половине восьмого утра.

Стоило мне открыть глаза, как я тут же подумал об Индре.

Ясно увидел ее стоящей на балконе, а в ушах зазвучали слова о том, что нет смысла играть в прятки.

«Мы повзрослели», — сказала Индра.

«Повзрослели... повзрослели... повзрослели...», — назойливо вертелось в голове, словно я слышал эти слова секунду назад, а не позавчера вечером.

Она считала нас взрослыми? Неужто на самом деле мы выросли?

Я знал, что, как и словечко «повзрослели», меня еще долго будет преследовать вопрос: разве факт нашего взросления не мог проявиться как-нибудь иначе? В грудь снова вонзился конец порвавшейся во мне в тот вечер струны. Оказывается, это не любовь, а ничего не значащая игра. Игра, в которую играли, желая только добра. И это делало ее еще бессмысленнее.

Протянул руку, включил радио.

Искоса взглянул в зеркало. Опухоль не прошла. Болело, правда, меньше.

«Чертов водила, — ругнулся я, ощупывая синяк. — Ясно ж было, что вынесу деньги. Так нет же, бьет сразу по лицу».

Злость на меня накатила зверская. Со мной иногда такое случается — накатит вдруг зверская злость. Кроме

шутки, попадись сейчас мне под руку похожий на владельца «Жигулей» тип, я бы пришиб его. К счастью, зверская злость, как и вообще всякие отрицательные эмоции, у меня точно так же мгновенно проходила, ибо по натуре я оптимист.

Я встал перед зеркалом и задал себе вопрос:

— Что ты теперь собираешься делать, Арманд Юркус?

Но ответа не дождался, так как Арманду Юркусу он был неизвестен.

Подожел к окну, глянул вниз — в пустую шахту. На самом дне, как обычно, валялись осколки, мусор и будто в насмешку неизвестно как оказавшиеся там ярко-желтые листья.

Помню, когда я был маленький, никак не мог понять, откуда внизу, в шахте, берутся желтые листья. И тут же опять накатили мысли об Индре. Никуда не мог от них деться. Вспомнил, как, не разнимая рук, мы сидели на выпускном вечере в восьмом классе. Как я, простак, рассказывал ей о себе. Со всеми подробностями. Рассказывал ей единственной. Мы целовались. Вспоминать об этом было горше всего. Мы целовались, но дальше поцелуев дело не шло. Я подумал, что, может быть, точно так же Индра целуется сейчас с этим хлюстом Илгваром, и мне стало совсем невмоготу. Впрочем, я ни о чем особенно не жалел. Если б дело зашло дальше, мне наверняка было бы еще хуже. Хотя, если честно, хуже было некуда.

Я стоял у окна. В голове царил сумбур. Мысли перескакивали с одного на другое, пока я смотрел на ярко-желтые листья, лежащие внизу, среди мусора и осколков.

С удивлением заметил, что прошло сорок минут. Было десять минут девятого. Я понял, что и сегодня в школу не пойду. Если честно, понял в ту самую секунду, когда зазвонил будильник.

13

Я сказал, что хочу повидать Яниса и Элвиса.

— Яниса или Элвиса?

— И Яниса, и Элвиса.

— А кто вы такой? — спросила сердитая женщина, как выяснилось позже — новая воспитательница четвертого «б».

Янис — мой сводный брат, Элвис — сын Гуниты. Они родились той весной, когда я должен был пойти в Залениекскую восьмилетку. Элвис — в начале июля, Янис — в середине августа.

Славные малыши. Чутьочку непредсказуемые и чутьочку нервные. Доктора впридачу утверждали, что оба чутьочку дебилы, но дети ведь не виноваты, что родили их Гунита и моя мамахен. Женщины, которые пили без перерыва и зачали по пьянке. Да еще за восемь лет обоим пришлось столько испытать, что и взрослый бы сдвинулся. Чего хотеть? Чтобы они выросли одаренными, спокойными, душевно уравновешенными?

И хоть Янис считался моим более близким родственником — брат как-никак, с Элвисом у меня сложились лучшие отношения. Он был спокойней, уравновешенней и безусловно сообразительней. А если учесть, что Гунита была моей родной сестрой, получалось, что я дядя Элвиса.

Я пояснил все это сердитой даме, которая хотела знать, кем я довожусь мальчикам. И добавил, что пришел не в первый раз и прежняя учительница не возражала.

Она растаяла. Как? Вы и раньше приходили?

Я готов был поклясться. Нет, клясться не надо. Можно и без клятв обойтись. Извиняющимся тоном она пояснила, что только первого сентября приняла четвертый «б», поэтому многих еще не знает. Учительница словно бы обрадовалась, что самой ей ничего решать не придется.

— Хорошо, что вы и раньше приходили в гости. Это очень хорошо.

Правда, тут же она спросила, что это у меня в пакете. Шел дождь. Коричневая бумага, в которую я завернул папки и журналы, намочла.

Я уже начал нервничать, но все-таки вежливо сказал, что это материалы об автоспорте. Журналы, снимки, вырезки из газет, всякие случаи о гонках, и все это я собирал

семь лет. В подробности вдаваться не стал. Сказал, что меня в некотором роде можно считать коллекционером, но коллекция мне больше не нужна, поэтому я привез ее Янису и Элвису.

— Чего только люди не собирают, — пожалала она плечами.

Я кивнул. Не собирался я растолковывать этой мымре, что это для меня гораздо больше, чем просто картинки. Это моя прошлая жизнь. Последние семь лет. Семь самостоятельно прожитых лет.

— Да, чего только не собирают, — снова кивнул я. — У каждого свое хобби. Чем оригинальнее, тем лучше.

Похоже, слово «хобби» ее просто-таки сразило.

— В принципе я не возражаю. Только... Только не многовато ли? — классная еще раз подозрительно посмотрела на мой пакет, завернутый в коричневую намокшую бумагу. — Могли бы половину им оставить.

— Половину нельзя. Или все, или ничего. Это коллекция.

— Много ли они поймут?

— Не исключено, что Яниса и Элвиса заинтересует лишь часть материала. Остальное пусть выбросят или отдадут товарищам, а то, что они оставят себе, станет для каждого из них началом своей собственной коллекции... — торопливо говорил я.

— Коллекции? — переспросила учительница.

— Условно можно назвать и так.

Видно было, что она не может ни на что решиться. С превеликим трудом взвешивала все «за» и «против». Мне надоело ждать. Хотел было сказать, чтобы она взяла пакет и делала с ним все, что вздумается.

Наконец она решилась:

— Ну хорошо. Что с вами делать, — и, велев подождать, куда-то ушла.

Мальшня дико обрадовалась моему появлению. От восторга они завопили как ненормальные. Янис повис на моей руке, а Элвис подпрыгнул и повис на шее. Мы вышли на улицу. Присели под навесом возле спортплощадки.

— Как делишки? — спросил я.

— Классно! — ответил Янис.

— Нормально, — сказал Элвис.

Сказал без всякого энтузиазма, и я понял, что дела обстоят не так уж и нормально.

— Что случилось? Почему так безнадежно? Где ваш оптимизм?

Раньше мальчики утверждали, что в интернате им нравится больше, чем дома.

— Новая училка страшно строгая, — пояснил Элвис.

— Ничего не поделаешь. Придется привыкать. У каждой учительницы свои требования, — изрек я со страшно серьезной миной. — Но она ведь вас не обижает?

— Ха, не обижает! Еще как обижает. Все ей не так, — отрезал Янис.

Он сидел рядом со мной и беспрерывно плевался сквозь зубы.

— Кончай плевать! — сказал я. — Лучше посмотри, что я вам принес.

Когда я развернул пакет, от восхищения оба перестали дышать. Притихли и смотрели, как замороженные.

— Нам? — после долгого молчания недоверчиво спросил Элвис.

— Вам. Кому же еще.

— А как же ты? — Элвис все не мог поверить.

— А я попробую обойтись и так.

— Значит, все это нам можно оставить себе?

— Ну конечно, можно.

— На вечные времена?

— На вечные времена, — сказал я, подумав, что они еще слишком малы, чтобы понять — ничто на свете не вечно, не говоря уж об этих разноцветных бумажках.

Мальши, ойкая от восторга, принялись рассматривать содержимое. Как я и предполагал, Яниса в первую очередь заинтересовали цветные картинки. Чем ярче была картинка, тем громче он выражал свой восторг.

— Ну дают! — Пораженный, он даже присвистнул,

рассматривая фоторепортаж об аварии на трассе Монако в семьдесят девятом.

Я попробовал объяснить ему особенности трассы в Монако, потом, сообразив, что рассказываю слишком сложно, принялся рассказывать о соревнованиях «первой формулы» вообще, но он не слушал. Таблицы из газет, вырезки его не интересовали. Картинки, которые ему особенно понравились, он откладывал себе на колени, остальное засовывал обратно в пакет. Таким он и был, мой сводный братишка.

Элвис поступал совсем по-другому. Как только в руки ему попадался печатный текст, он утыкался в него носом и принимался шевелить губами. Он даже пытался разобрать подписи под фотографиями из немецких и чешских журналов.

— Так ты до утра просидишь.

Он только отмахнулся. Поэтому, когда Янис рассмотрел последнюю картинку, Элвис едва добрался до середины.

— Кто это? — спросил племянник, указывая на фотографию.

— Ален Прост. Классный мужик, — сказал я и улыбнулся.

— А чего ты улыбаешься? — спросил малыш.

— Да так, — ответил я.

Неожиданно я подумал, действительно ли люблю их, а если люблю, то почему? Неужто только потому, что они мои родственники? Или потому, что у них больше никого нет? А может быть, потому, что не мог их не любить — ведь мы слишком тесно связаны? Кто-то же должен нести за них ответственность, раз у них больше никого нет. И вероятно, это чувство ответственности, как и их привязанность ко мне, и объединяло нас больше всего.

Я бросил им свой спасательный круг — эти семь папок, которые помогали мне держаться на поверхности, когда вокруг штормило и я, сталкиваясь с миром взрослых, с реальной действительностью, которую не в силах был подчинить или изменить, чувствовал себя жалким и ничтожным, бессильным до отвращения. Но прибежище ведь нужно и слабым и маленьким, чтобы где-то можно было копить силы.

«Да так».

Не мог же я, просто не имел права сказать им, что эти семь папок — всего-навсего иллюзия. Точно такая же, как трещины на источенной временем желтой стене, из которой фантазия моя сотворила целый мир. Более реальный, чем сама жизнь. Но стоило в один прекрасный день перекрасить стену или, стоя на балконе, наивно переспросить: «На какого Алена?», чтобы яснее ясного понять жестокую истину — все было только игрой. Придуманным тобою самим миром. Но стоит это осознать, как иллюзия исчезает.

Сравнивая созданное собственным воображением с миром, который тебя окружает, постепенно взрослеешь, пока вдруг не поймешь, что уже вырос.

Настал момент, когда я узнал это на собственном опыте.

Я снова улыбнулся про себя.

Нельзя было больше прятаться, да и убежища подходящего не было. И я отдал все свои папки мальчишкам, надеясь, что они принесут им хоть какую-нибудь пользу. А может, малыши найдут для себя что-нибудь другое? Точно так же, как я когда-то нашел «первую формулу», в которой еще несколько дней назад, нимало не печалась, мчался к финишу. А колеса за это время успели изнашиваться. За несколько кругов до финиша машину стало нещадно кидать, и перед самым финишем, на повороте она вылетела с трассы. Я потерпел аварию. Аварию, о которой в газетах не напишут. Мотор с воем заглох. Мимо промчались товарищи по команде, соперники. Каждый навстречу своему Большому призу. Я выбыл из соревнований. И об этом газеты не напишут. Для меня это было трагедией. К сожалению, я принадлежу к поколению, которое принято считать благополучным, считается, что с нами не происходит трагедий. К сожалению, я принадлежу к поколению, которое воспитывали все, кому не

лень, осуждали и поучали тоже все, кому не лень. И если я не хотел оставаться вечным неудачником, дальше надо было барахтаться самому, полагаться только на собственные силы.

— Кстати, завтра в Нирбурге многое решится, — сказал я, чтобы не молчать.

— Что решится? — спросил Элвис.

— Кому в этом году достанется Большой приз. Главный приз соревнований.

— Почему? — спросил Янис и опять сплюнул.

— Кончай плеваться! Потому что завтра в Нирбурге начнется предпоследний этап соревнований. У Проста есть шанс выиграть, но я не очень-то в это верю.

— Кому не веришь? — вопрос задал Элвис, который пытался прочесть подпись под фотографией.

— Не верю в то, что Прост выигрывает. Наверняка опять выигрывает Лауда.

— Прост? Этот тот классный старик?

— Да.

— Почему не веришь, что он выигрывает? — еще раз спросил Янис.

— Потому что не верю, и все, — ответил я.

Больше они вопросов не задавали.

Над нашими головами, по крыше навеса, барабанил дождь. Я равнодушно смотрел, как тяжелые капли падали в лужу между беговой дорожкой и навесом. Так мы просидели, вероятно, около получаса.

Наконец Элвис тихо сказал:

— Спасибо тебе!

Я смотрел, как он положил сверху папку с надписью «1984 год».

— Здорово, что ты нам что-то принес. А то у нас ничего нет, — добавил Янис.

— Это как нет? — спросил я, перевязывая пакет бечевкой. Так удобней нести.

— Да, у других ребят все то же самое. Что у одного, то и у всех. А только нашего у нас нет. Элвис нашел один раз гильзу от патрона, так на уроке математики учительница отняла.

— А ты принес как раз такое. Как гильза, что-то очень нужное, — добавил Элвис.

— Хорошо, что вам нравится, — сказал я, стараясь, чтобы слова мои звучали как можно искреннее, но получилось по-дурацки. Получилось, будто я сам себя хвалю.

— Конечно, нравится, — в один голос отозвались малыши.

Я сказал, чтоб они не жадничали, чтоб поделились с товарищами из класса.

И тут же малыши принялись рассказывать о своих друзьях. Есть такие, у кого ничего нет, у некоторых есть. Но лучше всего тем, у кого есть родители. Вот у них чего только нет. Я понял, какие сложные отношения сложились между теми, у кого есть родители, и теми, у кого их нет. И тут я подумал: у Яниса и Элвиса есть родители, матери по крайней мере. И в то же время нет никого. Брошенные на произвол судьбы, никому не нужные.

— Да не переживайте вы так, — торопливо сказал я, пытаясь сгладить то, что сгладить было невозможно. — Ведь не виноваты же ребята в том, что у них есть родители, — сказал и осекся, услышав, какую чушь нес.

Но малыши отреагировали вполне тактично — сделали вид, что не слышали.

Поговорили еще об учебе, об отметках, об учителях. О новой строгой классной.

Янис сказал, что ему больше в интернате не нравится. Элвис сказал, что учиться очень скучно. Другое дело книги. Книги читать интересней. Жалко, что в школе не разрешают читать, когда хочется.

— Он все читает и читает. Дико умным хочет стать. А я вот не читаю, — сказал Янис и снова сплюнул.

— Ты кончишь плеваться?!

Так мы сидели под навесом и болтали.

Я старался говорить как можно бодрее, улыбаться, даже смеяться. Пробовал рассмешить малышей. Давалось мне это с трудом — настроение было хуже некуда. Между

прочим, у меня всегда портилось настроение, когда я приходил их навещать. Шутить несколько не хотелось. Я не мог забыть тот день, когда из милиции пришли за малышами. Сестры не было дома. У мамы был очередной запой. Инспекторши были настроены воинственно — похоже, предполагали, что встретят их совсем по-другому. Может быть, ждали, что малышей не дадут увозить, что разразится скандал, что родители начнут ругать их, устроят истерику. Точно не могу сказать, но чего-то ждали наверняка. Но произошло все не так. И инспекторши растерялись. Могли поспорить, что растерялись, хотя старались и виду не показывать.

Пьяная мама бормотала: «Вот они. Берите и везите, если надо. Не надейтесь, что я сама их повезу. Времени у меня нет, и везти мне их никуда не надо. Это ваша обязанность. И давайте пошевеливайтесь, да побыстрее. Вот так!»

Малыши заплакали. Одна инспекторша принялась их успокаивать.

Вторая сказала:

«Хорошо, мы сейчас уедем. Детей вы видите в последний раз. Юридически. Вы понимаете?»

«А чего тут не понять? Давно пора! — заорала мама. — Давно, говорю, пора это сделать. Так и вам лучше, и нам».

«Вы мать, и вам не жалко?» — спросила та, что пыталась успокоить малышей.

«Не ваше дело — жалко, не жалко. Оставьте меня в покое! Нечего совать нос не в свои дела! Я сказала — давно пора было это сделать. Убирайтесь отсюда, чтоб я вас не видела!» — верещала мама.

Я видел — она притворяется. Делает вид, что пьяна в стельку. Зачем она притворялась смертельно пьяной, не знаю.

«Ну, мы пошли», — сказала инспекторша, выводя детей в коридор.

Малыши стали одеваться. И все оглядывались. Глаза заплаканы, смотрят жалобно, умоляюще. Казалось — хотят что-то сказать. Мне и самому хотелось кое-что сказать, но я стоял в дверях кухни и не мог произнести ни слова. Так, молча, мы и расстались. Когда их увели, я заперся в своей комнате и дал себе волю. Со стороны можно было подумать, что я сошел с ума. Швырял ногами стул, колотил по дивану, и тут вспомнил, что я с ними даже по-настоящему не попрощался. Но не это было главное. Главное, что их увели, как двух маленьких щенят.

Я бросился на кровать, закрыл голову подушкой и заплакал, дрожа всем телом, так как в комнате было холодно и я замерз.

Тогда я не знал, что ровно через два года подарю ребятам журналы, что мы будем сидеть под навесом, будет лить дождь, и я снова буду вспоминать о том, как инспекторши пришли за двумя малышами, когда мать и Гуниту лишили родительских прав.

Такие вот дела.

Мы сидели под навесом, и дождь лил не переставая. Тяжелые капли со звоном падали в лужу. Да, прошло два года, но ничего не забылось, время ничего не стерло из памяти, и я подарил им свои журналы.

Чтобы случайно не выдать себя, я старался говорить бодро и весело.

Мальчики, похоже, это почувствовали. Потрясающе!

На спор, они прекрасно понимали, о чем я думаю, как ни старался я это скрыть. Честное слово, иногда малыши понимают ваше состояние лучше, чем понимаешь его ты сам. И если взрослые думают, что дети ничего не понимают, ничего не чувствуют, они здорово ошибаются. Дети просто притворяются. Приспосабливаются. Они классные дипломаты. Лучшие в мире. Не желая обижать взрослых, они делают вид, что ничего не понимают. А что еще делать маленьким, как не притворяться? И получается у них это здорово. Честное слово! Это я заметил по Янису и Элвису.

И в тот раз, о котором я вам рассказываю, тоже.

Мальчики заговорили о Тедисе из шестого класса. О том, какой этот Тедис противный тип, все время только

и делает, что маленьких обижает. А вот сделать с ними ничего не может. А не может ничего сделать потому, что они все время вместе. Недавно они подговорили мальчишек из класса и все вместе надавали Тедису как следует, потому что на самом деле он жуткий трус и плакса. Теперь от них бегают.

Я был уверен, что малыши рассказывали эту историю специально для меня. Невооруженным глазом было видно, что им вовсе и не хочется говорить про этого Тедиса. Но они все-таки говорили. Чтобы доказать, как здорово они тут живут, чтобы я не волновался за них и не нервничал.

Если честно, не очень-то я верил в то, о чем рассказали мне мальчики. Возможно, они все это нафантазировали. Не верил я ни в то, что они ему «надавали», ни в то, что Тедис теперь от них бегают. Не из таковских он был. Я таких типов знаю. Во всяком случае, не так просто с ними справиться. Уж очень похоже на сказочку со счастливым концом.

Больше ни о чем поговорить мы не успели. Мальчикам пора было возвращаться в школу. Пора было уходить.

— Когда ты снова придешь? — спросил Янис.

— Не знаю. — Не любил я этого вопроса, когда мне его задавали, всегда почему-то чувствовал себя виноватым. Точно сказать не мог, врать не хотелось. Я знал, что они будут меня ждать.

— Ты приходи, — сказал Янис, положив ручонку мне на плечо. Совсем как взрослый.

— Ясно, что приду. Постараюсь... Постараюсь прийти как можно скорее.

— Арманд, как ты думаешь, мама когда-нибудь придет ко мне? — преградив мне путь, спросил Элвис. Вопрос прозвучал неуверенно и тихо. — А?

Я знал, что Гунита наверняка не придет, но врать мне не хотелось. Я беспомощно молчал.

Ведь на следующий день, узнав, что Элвиса увезли, Гунита сказала: «Слава богу! Одним дебилом меньше».

Медленно отступая назад, мальчик смотрел на меня круглыми, как пуговицы, синими глазами. Я просто не имел права его обманывать. Я легонько щелкнул его по лбу.

— Скажи, Арманд, я увижу ее когда-нибудь?

— А почему нет — обязательно увидишь, — ответил я, вымучив на лице жалкую улыбку.

— Ты ей скажи, пожалуйста, что я очень ее жду. Очень-очень.

— Обязательно скажу, — пообещал я, хотя знал, что толку не будет — Гунита все равно не придет. Иногда мне казалось, что она давным-давно забыла об Элвисе.

— А ты? — продолжал малыш.

— Что я? — переспросил я.

— Ты обязательно приходи!

— Приду обязательно.

— И снова принесешь что-нибудь интересное? — спросил Янис.

— Постараюсь.

— Приди обязательно! — произнес Элвис с необычной для такого малыша серьезностью. — Мы будем тебя ждать.

Я еще раз кивнул головой, и мы расстались. Я стоял и смотрел, как они шли под дождем, зажав под мышкой пакет в коричневой бумаге. Маленькие бедолаги! Они брели, не разбирая луж.

А я продолжал стоять под дождем, и не в моих силах было связать порвавшиеся когда-то или с умыслом порванные концы нитей.

«Пальчики у тебя ловкие. Кто ж еще свяжет, как не ты. Связывай, мальчик, связывай. Ты не свяжешь, никто не сумеет», — шептала бабушка, которая на самом деле не была моей бабушкой.

И я упрямо связывал оборванные нити. Не считаясь с тем, умею или нет, могу или не могу. Я знал, да, все яснее я понимал, что вместо меня соединить порванные концы некому, вот и пробовал делать это сам. Но уже в который раз ничего путного из моих попыток не полу-

чалось. Я стал сомневаться, удастся ли мне это когда-нибудь вообще.

Я стоял под дождем, и самое печальное — отчетливо сознавал свою беспомощность. Сердце просто переворачивалось от жалости, когда я смотрел вслед малышам, которые медленно отдалялись. Возле школы они оглянулись и оба улыбнулись.

Дождь припустил сильнее, и я, втянув голову в плечи, стал подавать им знаки, чтобы они быстрее вошли. Но они не понимали. Стоя под дождем, малыши, все так же улыбаясь, махали мне рукой.

«Они же насквозь промокнули», — подумал я.

14

Из интерната напрямик отправился в Иманту. В лабиринте новостроек довольно быстро отыскал дом, в котором жила Рудите. Номер квартиры врезался в память отчетливо — тридцать семь. Цифры из красной пластмассы. Внизу, у входа, висел список жильцов. Из него я узнал, что фамилия Рудите — Атала. По крайней мере так значилось в строке напротив цифры тридцать семь — М. Атала. Вероятно, мамаша. Вооружившись новыми знаниями, поднялся на пятый этаж, но звонил напрасно. Никого не оказалось дома.

Если бы меня спросили, почему я к ней поехал, ответить я бы не смог ни тогда, ни сейчас. Может, просто потому, что делать было нечего. А может, на меня нашло что-то. Поди знай!

Нет, серьезно. Я и сам не понимал, почему мне во что бы то ни стало понадобилась Рудите. К сожалению, ее не оказалось дома. Так и не дозвонившись, я спустился вниз. Сел на скамеечку возле качелей, тех самых, на которых той ночью она уговаривала меня покачаться.

«Похоже, становлюсь дебилом», — решил я, вспомнив, как изнывал от желания поскорее от нее отделаться, и в то же время понимая, что прошло всего два дня. Всего каких-то жалких два дня, а я уже дежурю возле ее дверей, нетерпеливо жду ее появления. Большого идиотизма и предать нельзя.

Однако, поразмыслив, я не нашел в этом ничего странного. Ведь я был смертельно ранен и испытывал адскую боль от вонзившейся в меня в день рождения Индры лопнувшей струны.

Индра, признавшись, что всего лишь осуществила мамин замысел, выложила на стол все свои карты, и я в этой игре проиграл. Поражение оказалось вдвойне тяжким еще и потому, что все это было игрой.

Не магнитофонная же я лента, на которой можно записать все, что заблагорассудится, чтобы потом с такой же легкостью стереть написанное. И себя обманывать я не умел. Как ни старался о ней не думать, ничего не получалось. Думал о ней все время, особенно когда оставался один. А один я был все время. Больше всего на свете мне хотелось поговорить с живым человеком. Но что меня принесло именно к Рудите?

«Что, что...», — гадал я, сидя на ограде песочницы.

Да что гадать? Ясно, что. Просто идти мне больше некуда. Можно было, конечно, торчать дома и в виде эксперимента попытаться наладить контакт с матерью, которая, опровергая законы гравитации, плавала на своем диване в антими́ре. Можно было дожидаться Гуниты с вызволенным ею из каталажки Янкой. Но всем этим я был сыт по горло.

Мокрый песок в песочнице выглядел грязно-желтым. Качели ритмично поскрипывали на ветру. На траве, забытая кем-то, валялась пластмассовая лопатка. Я поднял ее и положил на бетонный бордюр песочницы. Снова сел и принялся считать прохожих. Пятидесятым оказался старик с молочными бутылками в сетке. Дважды порывался вскочить и уйти, но в последнюю минуту откладывал свое намерение. Каждый раз решал, что уйду, как только досчитаю до ста. Раз, два, три... сорок пять, сорок шесть... девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять, сто.

Рудите не появлялась. Проторчал там почти два часа. Так и не дождавшись ее, уехал в центр.

Возле вокзала встретил Таливалдиса. Он был не один, с какими-то тремя типами.

Так вот всегда. Кого ждешь, того не дождешься, а тот, о ком и не помышляешь, сам идет навстречу.

Таливалдис при виде меня соорудил такую физиономию, будто я ему невеста какой друг и только меня в их компании не хватало. Я поинтересовался, чем кончилось тогда в «Ростоке». Сдохнуть можно, ответил он. Дело хотят пришить. Но лично ему на все это наплевать. Пока живет не тужит. А там время покажет. Плохо вот, что не завязать никак. Третью неделю гудит. И конца не видно. А что еще остается, все чушь собачья. В этом он убедился. Давно.

— Лучше глянь, как у меня грабли трясутся, — он выткнул вперед руки. — Видишь? Мырма эта, чтоб ей пусто было, хотела упечь меня в наркологический диспансер. Орала как ненормальная, сдвинется, мол, если я еще раз пьяным домой заявлюсь.

— Какая мырма? — не понял я.

— Какая, какая... мамаша моя.

— А-а, понятно! — наконец до меня дошло.

— Представляешь! Заперла меня в комнате. Чтоб ник-к-уда. Как последнюю скотину. Что я ей, частная собственность, что ли? Спер полста рублей и смылся. Забегается искать! К старости совсем сбрендил.

— Кто?

— Да мырма эта старая, кто еще. Ты что, совсем сбрендил? Сдохнуть с тобой можно!

Таливалдис был пьян. На подбородке топорщилось несколько редких волосинок. Обшлага брюк измазаны грязью.

— Это вчера было, — продолжал он. — Второй день таскаюсь. Домой и носа сунуть не могу.

— Пойдем мы куда или не пойдем? Кончайте трепаться, — нетерпеливо вмешался в разговор один из свиты Таливалдиса.

— А вы куда? — спросил я.

— А никуда. Просто так — гуляем, — пояснил Таливалдис.

— Ты не знаешь, где найти Рудите? — не выдержал я.

— Рудите, Рудите, Рудите... — повторял он, пытаясь вспомнить, потом вдруг воскликнул: — А-а, Рудите! Говоришь — Рудите? Что? Потерял? — И неожиданно заулыбался: — Послушай, Арманд, это идея! Мы пойдем искать Рудите.

— Ты знаешь, где искать?

— Не знаю, но можно пойти попробовать. А то от скуки сбрендить можно. Колоссальная идея! Как, братва?

Братву, похоже, идея Таливалдиса не очень воодушевила, но было видно, что в общем-то им все равно, куда идти и что делать. Собственных идей у них не наблюдалось.

— Можно, — пробасили двое из них.

Третий, тот, что торопил нас, неопределенно пожал плечами.

— Потопали, да поскорей. А то закоченеть можно, — сказал он.

— Ну, пошли, — скомандовал Таливалдис.

Мне не оставалось ничего другого, как следовать за ними.

Начало смеркаться.

— А они что, знают Рудите? — тихо спросил я у Таливалдиса.

— Сомневаюсь, но это не имеет значения. Жизнь — это движение. Цель — ничто. Процесс — все.

Дождь перестал. Маслянисто блестели черные лужи. Вспыхнули витрины. Мерцали огни рекламы, фонари. Разбрызгивая воду, мчались мимо автомашины. Резкий ветер трепал верхушки деревьев.

(Продолжение следует)

Перевод ЖАННЫ ЭЗИТ

БАШАШКИНО ВРЕМЯ, ИЛИ ЗАПИСКИ ФОНТАНА

приключится скоро в мире
преогромная беда —
я решил в своем сортире
запереться навсегда

Е. Г.

Что можно купить на гривенник? Ничего. А раньше? Раньше на гривенник можно было купить килограмм картошки. Булочку с изюмом или стакан кофе без булочки. Порцию морковного салата. Пирожок с мясом. Два пирожка с капустой. Два стакана газировки с сиропом. Яйцо и две копейки сдачи.

Теперь стакан кофе стоит тридцать копеек. Булочка — шестьдесят. Вонючая сосиска — полтинник. Килограмм картошки — целый рубль. Яйца идут дюжинами. Пирожки и вовсе пропали.

Что же после этого можно сделать с гривенником?

Тот, кто думает, что я голоден, ошибается. Я могу не есть неделю. Я могу не есть месяц. Я могу вообще не есть. Фалес прав — главное вода. В воде все — витамины, хлор, бром, даже алкоголь. Особенно, если это проточная вода.

Уже месяц, как я сижу в гостинице. Берлога моя на пятнадцатом этаже на углу 54-й. Внизу пасутся чайники, выскакивают из магазинов, влетают в офисы. Но мне они все до фонаря или до лампочки, что, если вам угодно, одно и то же.

Я устроил в своей берлоге бахчисарайский фонтан: открыл воду — умывальник у меня в комнате — вода стекает теперь в боковые отверстия. Под «немолчный ропот струй» пишу я эти записки.

Мои записки не для чайников. По правде говоря, они мне самому иногда кажутся странными. Впрочем, во мне все необыкновенное: и походка, и фас, и профиль, и судьба, и ходы мыслей тоже.

Хожу я быстро: туда и обратно, туда и обратно, обратно и туда. Шнурки моих туфель при это взмываются змеями. То ли я их забываю завязывать, то ли они развязываются.

Еще люблю я смотреть на себя в зеркало. Когда я разговариваю, я нет-нет и погляжу в зеркало. Очень любопытно, каким меня видят со стороны.

Судьба моя пугает меня. Скоро что-то произойдет. Как если вы заснули в библиотечной курилке и вдруг открыли глаза, вскочили — где вы? Ничего особенного, вы на острове Майорка — вдыхайте глубже католикомавританский аромат! Гибралтар, Навада, средиземноморские пленеры!

Страстями бог меня тоже на обошёл: страхом, испугом, неврозом, ужасом, паникой, лихорадкой, трясучкой, истерикой, а также желчью и презрением к Башашкину. Я требую, чтобы имя это при мне не произносилось!

Наконец, ходы моих мыслей. Впрочем, вы это уже видели.

Не знаю, как у других, а у меня в голове всегда туман. Мыслей нет — видения. И даже не видения — слова. И даже не слова, а запятые. Дайте бумагу — и все их вам запишу.

Запятые бывают разные: кривые, прямые, тонкие, звонкие, пахучие, скрипучие. Впрочем, об этом вы сами знаете.

У меня много бумажек: сочинения, размышления, рассуждения на злобу дня и против оной, ну и, конечно, о вечности. Слабости я люблю еще свои описывать. Только

теряются листочки. То есть, наоборот, всюду валяются — на стуле, под стулом, на кровати, под кроватью, на полу и, конечно, в умывальнике. Возьмешь с пола листок, а на нем:

я хочу ничего не хотеть
я хочу никуда не лететь
я хочу не совсем умереть.*

Или:

в огороде и в избе
всюду мне не по себе
до чего же мир дурен
я ж, напротив, умудрен.

Или:

старичок старичок
не пиши ты в дневничок
а рисуй в листочке
маленькие точки.

Выглянув сегодня утром на площадку, я увидел Башашкина, запиравшего мою дверь. Стоя ко мне спиной, он притворился, что меня не видит. Я же не сводил с него глаз, хотя и пришлось для этого вывернуть голову, и, едва он повернулся — не совсем ко мне, к лестнице, главным образом, но и ко мне — я поздоровался. Он вздрогнул, подобрал голову в плечи и сиганул вниз по лестнице. Забежав к себе в комнату, я записал несколько крутившихся в голове мыслей и пустился за ним вдогонку.

Я стрелой вылетел из подъезда, но Башашкина и след простыл. Повернул за угол — тоже никого. Обежав дом, я вернулся к подъезду, чтобы здесь дожидаться Башашкина. Я расхаживал взад-вперед перед подъездом. Я вышагивал туда и обратно, туда и обратно, обратно и туда. Вокруг меня проносились чайники, в основном чернила. Шоколадные, оливковые, ореховые, грязно-серые и розово-фиолетовые. То ли я их толкал, то ли они меня толкали. Разница только в том, что все они спешили по делам, а я никуда. Я вышагивал упоенно. Я все делаю упоенно и с ясной целью. Мне нужно было увидеть Башашкина. Я должен был сообщить ему нечто важное. Я собирался сказать ему, что я о нем думаю.

Хорошо, я скажу вам, что я о нем думаю.

Башашкин: мразь, подонок, свинья, дегенерат, грязный ублюдок, быдло, бизнесмен, сволочь, пройдоха, скотина, жулик, стукач, алкаш, гомик, некрофил, онанист, скотоложец, гад, шобла, иуда, шкурник, дистрофик, лизун, словоблуд, спортсмен, робот, дебил, шиз, неандерталец, кастрат, педераст, козел, бездарь, кобель, тля, трясогузка, сука, мазохист, дешевка, вошь, идиот, кретин, шантажист, недотыкомка, карьерист, слюнтая, крыса, пижон, мерзавец, тварь, туша, шваль, шантрапа, шатун, жлоб, босяк, глист, шлюха, пошляк, потаскун, сутяга, карманник, пес, шаромыжник, бродяга, жиган, халуга, затейник, жук, прощелыга, слизняк, барыга, сифилитик, хам, а заодно и яфет, ханжа, дерьмо собачье.

* Стихотворение Ильи Бокштейна

Вот что я думаю о Башашкине.

Сегодня месяц, как я никуда не хожу. Раньше пробовал, но куда ни сунься — всюду Башашкин. Всюду он толкается, сморкается, матюкается, размахивает руками, сплевывает, заявляет, призывает, требует, прогуливается. Только забудусь, а он уже за спиной сопит, напирает, на штанину наступает. Юркну в булочную кофейку глотнуть, а он тут, локти расставив, соседа поучает: «Лапоть ты, дярёвня, уши развесил, а ты не будь душой — откусывайся!» Забегу на огонек к знакомому чайнику — и здесь Башашкин водку плавленным сырком заедает, об экзистенции мнениями выдает, речь, как камешками, матом пересыпает.

Тогда я решил: хватит, баста. Я заперся в своей норе и перестал отзываться на стуки, поскрёбывания, вздохи. Звонки затрещивали десять раз на день.

Домашний арест? Пусть так. Трусость? Пусть. Бегство? Да. Но зато Башашкиным здесь не пахнет. Всюду он, а здесь нету Башашкина.

Я сидел в берлоге, поглядывал сверху на игрушечных чайников, а возле меня фонтан шевелил губами, смеялся, лепил, разрушал, опять лепил...

Устав от его рассказов, я вышел на лестничную площадку и носом к носу столкнулся с новым соседом.

— Как жизнь? — спросил Башашкин глухо и отключенно, как будто мы старые приятели.

— Как жизнь? — спросил Башашкин глухо и отключенно, будто что-то обо мне зная.

— Так себе, — отвечал я, — ни шатко ни валко.

— А точнее? — настаивал он, подозрительно заглядывая в открытую дверь.

— Точнее? Все кипит, и все сырое, — отступив, я загородил собой свою комнату.

— Что-то ты сдал, — отметил он с удовольствием. Помолчав, добавил: — Говорят, ты вешаться собрался.

— Кто говорит?

— Все говорят.

— Кто все?

— Все.

— Ну раз говорят — им виднее, — отступив на шаг, я ухватился за дверную ручку. Вытянув шею, Башашкин разглядывал поверх моей головы.

— А что это у тебя там булькает?

— Фонтан, — говорю.

— Фонтан? — после этого он долго молчал. — Так что, всё чин чином? — очнулся он наконец.

— Клин клином. Блин блином. Сплин сплином, а нафталин нафталином, — я захлопнул дверь.

— А стреляться ты не пробовал? — шепнул он мне в шелку.

Трудные стоят времена: отпад, обморок.

Нет больше цветов — один серый туман, и я в тумане, и тень моя раскачивается.

Нет мыслей, фраз, нет даже слов.

И ничего не случается и не может случиться.

Конечно. Вокруг одни чайники.

У меня в туалете лампочка мигает и мигает. Откроешь дверь — мигает. Закроешь — мигает. Сегодня я все утро дверью стучал. Хлопал дверью три часа подряд — больше не выдержал, — а лампа все мигала.

Я знаю, чья это работа. И кто мне туалет испортил, тоже знаю. Бачок у меня прохудился. Однако терпеть пока можно. А вызывать водопроводчика я еще не готов. Впустить громилу в собственный туалет! А мне где прикажете прятаться?

Каждый раз, когда мне надо в туалет, я Башашкина недобрым словом поминаю. И когда это он успевает мне пакостить? Рыжее пугало. Клоун. Осел вислоухий. Кентавр. Носорог. Сволочь толстозадая.

Вчера у меня пропали все деньги. Раньше со мной никогда такого не случалось. Бывало — поскребешь-по-

шаришь, под кровать залезешь — всегда что-нибудь да выщепишь.

На этот раз я во всех рваных брюках и пиджаках рыскал, перевернул дом и нашел гривенник. На нем был жгавый профиль Башашкина.

Я позвонил Башашкину. Он повесил трубку. Тогда я вышел на площадку и загрохотал ботинком в его дверь. Впрочем, я, кажется, был босой, да и дверь была настееж, но это не влияет. Я не стал дожидаться, когда он появится, и вернулся домой. Походив час-другой, я сел писать ему письмо.

Конечно, анонимное и, конечно, левой рукой. Писал всю ночь. Буквы получались большие и круглые. Прежде всего, я написал ему все, что я о нем думаю во всех смыслах. Со всех точек зрения. И с точки зрения вечности. Ибо вечность не для всех равна — есть вечность блаженная, а есть и плачевная. Он-то без сомнения знает, что его задницу в известном месте безородка дожидается. Что ж, пока он еще может пакостить мне кой-где, но свое я ему не отдам — я волен выкинуть его со своей территории. Здесь ему со мной не совладать — слабоват Башашкин. Стоп, валяй назад! Лезь в свое болото, шобла! Полный отвал.

Лампочка мигала всю ночь. Я стоял перед уборной, открывая и закрывая дверь, и чуть с ума не сошел. Вспышка — тире — тьма, вспышка — тире — вспышка. Азбука Морзе. Я отстукивал депешу-молнию, я рассказывал о своей нежизни, я выстреливал прошлым в будущее. Дискретные очереди по полосатому шлагбауму вечности: вспышка — тире — вспышка, вспышка — вспышка — тире. И тьма, и опять вспышка.

К утру стало проясняться. Я услышал ритм и в нем замысел. Ключ был в двойном аш — ашаш — башашкин. Не было никаких сомнений — Башашкин сломал мой бачок и закодировался в туалетной лампочке. Он увел все мои деньги и отпечатал свой автограф на гривеннике.

Ночь, между тем, никак не кончалась. Я вдруг обнаружил, что я совсем один. На меня смотрели потолок и стены. От меня ушли все мысли, все слова, даже запятые. Я забыл все на свете. Я забыл имя отца. Я забыл свое собственное имя. Все это не имело значения. Башашкин тоже ничего не значил. Я уже не хотел есть. Я не хотел двигаться и смотреть.

Отчаяние подошло к самому горлу. Что же мне делать? Никто не ответил. И зачем я вообще? Нет ответа.

Я умер. Меня не было. Стен и потолка тоже не было. Одно отчаяние. Отчаяние в виде воронки. Воронка становилась все глубже, сердцевина саднила, края медленно осыпались. Толчок, другой — все засыпало, и ничего не стало.

Знаете ли вы, милостивые государи, что такое бахчисарайский фонтан? Нет, вы не знаете, что это такое. Вы думаете, это — грусть, меланхолия или что-нибудь в этом роде. Нет, милостивые чайники, нет, нет и нет. Вы опять дали маху, угодили пальцем в астрал. Фонтан — это... Впрочем, я вам объяснять не собираюсь. Вам все давно уже объяснили. Вы все знаете. О чем же разговаривать?

Я лучше расскажу вам о моем ковчеге.

В нем умещаются стул, кровать и рукомоийник, полный до краев звонами. В нем две поющие двери — в коридор и в уборную. В нем живут маленькие усатые человечки. По вечерам они гуляют в камзолах, с нафабранными усами по стенам, сторонясь меня и друг друга. Весь день у меня горит лампа над умывальником, и от нее режет в глазах, когда я слушаю поющие капли. Моя берлога плавает по океану. Временами бывает штиль, так что хочется повеситься, в другое время ее подбрасывает и ударяет о твердое.

Иногда я думаю: вот кончится потоп, я выйду на гору, напысь и разденусь. Ибо фонтан, милостивые судари, одевается самим собою, и ему не нужны ни фраки, ни панталоны, он ищет форму и обретает собственный голос,

раковина моя полна до краев, и каждая капля поет другое. Опять же, бывают фонтаны черные, бывают голубые, одни журчат, другие шипят, третьи стонут, каждому они поют свое. Что пропел вам растерзанный фонтан на Бродвее, раздававший прохожим тряпье с самого себя, улелывающий от хохочущих, хлопающих себя по бедрам аборигенов? Что сказали вам капли в моей раковине, звон которых заставляет меня корчиться и смеяться?

Последнее время я стараюсь говорить так, чтобы случайно не проговориться. Я все больше шучу и никому не навязываюсь. Много вы обо мне до сих пор знаете? Уверены вы, что я не вожу вас за нос? То-то и оно.

Всё очень просто: кругом одни чайники. Хоть луной, хоть прожектором свети — никого больше. Одни чайники жулят, а другие им потрафляют. Объединенные усилия проходивцев. Одни мухлюют, но не просто, а в «высшем смысле», намекая не на что-нибудь, а на связь с космическими инстанциями, возводя мелкое жульничество в «перл творения», в квинтэссенцию безобразия. Что же касается других, то им только того и надо, ибо они-то и есть главные ценители глубочайшего и сакральнейшего маразма.

Важно только двух-трех закрутить, тех, что без дела поблизости шляются. Приласкать, припугнуть, польстить, мы-де с вами элита, соль земли, ошарашить, опять польстить — и готовы, бери их, голубчиков, голыми руками. Ты для них свой брат — чайник, но в то же время и нечто иное — в этом весь фокус, вся диалектика.

Потоп старой рухляди! Алюминиевые орды среди заглохших фонтанов! С кем говорить? Куда идти? Нет современников.

Нет современников, но зато есть глобальные задачи. Я все делаю глобально. Я не трачу времени на пустяки. Все или ничто. А раз ничто, то пусть ничего и не будет. Нет унизительней, чем вылезать из дерьма. Нет хуже оправданий: я, дескать, не то имел в виду, вы меня не поняли. Перед кем оправдываться — перед чайниками? Да им что ни говори — все с гуся вода. Я наизусть знаю, что у них там прокручивается, пока они переглядываются да перешептываются: «Ага, фонтаны, записки, каламбуры, поня-я-тно». Ни хрена вам, милостивые чайники, не понятно. Может, один только человек и есть, кому что-нибудь понятно, да и тот, наверное, взаперти сидит, бахчисарайские фонтаны пускает. А может, и одного нету — что мне от того. Я занят. Я на посту. Я стерегу свой дом от Башашкина.

Иногда я удивляюсь, зачем я все это пишу? Для славы? Для вечности? Для потомков? Нет. Просто — чтобы поговорить с умным человеком. Спокойно поговорить. Обстоятельно и подробно. Знать, что никто не встрянет с глупым вопросом. Никто не облает просто так, от нечего делать. Никто не облает мерзостью и ядом.

Нет яда злее, чем собеседник. Достаточно двух слов и улыбки, чтоб потом три дня мучаться от отравы. Кругом одни Клавдии да Сальери: «Последний дар моей Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою». Нет уж, меня увольте! Я в эти игры не играю.

Что остается мне, милостивые заглохшие фонтаны? Монолог. Молчание или монолог. Или диалог с зеркалом. Перед большим зеркалом в разных лицах можно часа четыре поговорить. Можно читать ему Худякова, можно даже Лимонова — оно все выдержит. Ну, а потом что же? Если принципиально молчат, то можно и до недели дотянуть. Ну а после, сами догадываетесь, либо на улицу выбежишь, к прохожему привяжешься, на ходу выдумаешь: дорогу спросить, сигарету стрельнуть или спички, и попутно слово за слово свою жизнь и перескажешь, либо за дверную ручку схватишься, поддержишь-поддержишь и отпустишь. Так-то, милостивые умывальники.

Я решил, наконец, объясниться с Башашкиным начистоту. Я пробыл на посту до вечера, поджидая его. Я

шагал перед подъездом взад и вперед, взад и вперед, а вокруг сновали, свистели, кряхтели, хрюкали и чесались чайники. Шоколадные, желтые, оливковые, ореховые, грязно-бурые и серо-малиновые, одним словом, чернила. Одни пробовали у меня что-то занять, другие, напротив, грабануть — у тех и других ничего не получалось.

Шнурки моих туфель взметались взад и вперед змеинными головками. Мысли мои взлетали и падали. Временами мне казалось, что сейчас я сам взлечу. Потом я действительно взлетел. Аборигены ругались при этом на местном наречии, морщась и показывая зубы. Сначала мне казалось, что они жалеют себя, но потом понял — улыбаются: чем больше зубов, тем больше восторга.

Я решил добавить горючего и стал совать им направо и налево мои пожитки — пиджак, рубаху, жеванные носки, брюки. Сбежалось десятка полтора чайников, конечно, чернила. Гражданочка одна из безлобых с синей небритой челюстью сердилась: безобразие, дескать, такую дрянь раздают. Остальным нравилось. Брали во всяком случае охотно. Пиджак мой сразу исчез, но и штанами не побрезговали. А я им все совал и совал: носовой платок, читательский из Ленинки, ключи, всю ерунду из карманов повыгреб, напоследок швырнул им башашкинский гривенник — видели?

Только раздача кончилась, иждивенцев моих в секунду как слизало, а вокруг свистели, квакали, крякали, приседали, подскакивали, проносились новые чайники.

Тогда я решил взять их приступом. Я решил попереть на рожон. И попер. Я рыжий, а у рыжих, вы знаете, вся рысьсть внизу сконцентрирована. Труссы и майку я закрутил, как тюрбан, на голову — на случай, если в обморок падать буду. В зубы розочку сунул — смахнул в цветочном ларьке, — закусил стебелек зубами и, не глядя ни на кого, попер.

В зубах у меня адела и благоухала роза. Тюрбан покачивался на моей голове. Тевтонской свиньей, тараном шел я на чайников.

Эффект получился неожиданный — я стал невидимкой. Я лез в самую гущу, но в ней мгновенно образовывалась дыра, и я был центром пустого круга. Чайники казались озабоченней, чем прежде, — разговаривавшие разговаривали, зевавшие зевали, спешившие спешили, чихавшие чихали. Чиновники вдумчиво разглядывали в витринах манекены, при этом они сами были манекенами, а манекены чиновниками. Проститутки изучали киноафиши, при этом они уже были кинозвездами, а на плакатах оказывались проститутки. Китайцы становились по очереди корейцами и японцами, а те, в свою очередь, китайцами.

И тут я увидел Башашкина. Он стоял на углу у газетного киоска и следил за мной, делая вид, что рассматривает порнографические журналы.

— Ты что, до ручки дошел? — поинтересовался он, едва скрывая удовольствие.

В ответ я понюхал розу, пахнущую полынью.

— На фига фонтану лейка, — пожал я плечами. — Зебра, аш-аш, туалетная лампочка, — шепнул я ему доверительно.

В ответ он досадливо сморщился:

— Не влияет.

— Гривенник, профиль, азбука Морзе, — добавил я, решив сразить его наповал.

— Не вижу, — говорит, — связь.

— А ты не можешь связать, — сказал я ему откровенно. — Ты взбесившаяся кастрюля с дерьмом! Ты дебил, робот, откусыватель! Я подохну с голоду, но не буду служить твоей дырявой утробе. Я горсти брызгов не дам, чтобы твой тупой носик получил смысл. Ты кастрат, амбал, держиморда!

И я стал срывать со стенда пачки журналов с голыми задами и пятками и совать их оторопевшему Башашкину. От неожиданности он утратил речь и расторопность. Сгребая ворохи газет, я осыпал ими Башашкина. Я заваливал его президентами, министрами, гангстерами, насильниками, диссидентами, правами гомиков, плодами демократии

и тоталитаризма. Под ворохами газет и журналов Башашкин съезжился, сморщился, как сапог, в гармошку. И вдруг, потерявшись, затрусил в заваленный отбросами переулочек, роняя на бегу доспехи.

— Шобла, пуговица, собака на сене! — кричал я ему вдогонку.

От крика я совсем обессилел. Я вспомнил, что не ел со вчерашнего утра, и прислонился к газетному киоску. Я закрыл глаза.

Не было больше улицы, запруженной разноцветными чайниками. Не было мыслей, слов, имен. Не было ничего, и Башашкина тоже не было. Одно отчаяние. Отчаяние в виде воронки. Воронка становилась все глубже, края осыпались.

С тупым воем тормозили черные машины с мигающими огнями на крышах. Визжали, плевали, приседали, подсакивали, хлопали себя по бедрам и скалили зубы аборигены невыразимых раскрасок.

Я бежал в спасительный отель — в свою берлогу.

В комнате плавала дремота. Умывальник вошел в кровать, расплзлись по полу ножки стула. Стены наклонились и запали. Лампочка машинально вспыхнула и погасла. Солнечные квадраты дрожали на потолке. Забытый остров тишины, ковчег из дерева гофер, длина 6 локтей, высота 5 локтей, ширина 4 локтя, и дверь сбоку его. Я запер дверь на задвижку и замок. Я заходил по комнате. Я подобрал ворох листов и стал перебирать их. Фонтан, возвращаясь из обморока, зажурчал, запел.

В коридорную дверь стучали металлическим стуком. Я услышал голос Башашкина, отдающего приказы. Грохот в стены, сирена. Башашкин первый врывается в мой ковчег. Ура спасителю! Слава национальному герою! Ура Башашкину — первому среди равных! Меня торжественно выносят на носилках. Меня несут под музыку над головами чайников. Меня везут на коронацию во Дворец Фонтанов.

Башашкин тут же слинял. Есть долго не давали. Потом принесли яичницу с ветчиной и чашку жидкого чая. Поел, и стало скучно.

Башашкин два или три раза появлялся ночью и все норовил садануть меня, но я успевал отскочить.

А потом наступила зима, и выпал снег.

Снег теперь большая редкость — не то что раньше. Я набрал его в чайник и принес домой, но в чайнике оказалась грязная водица, и я ее выплеснул. Набрав чистой воды, я поставил чайник на плиту.

Меня привезли на коронацию во Дворец Фонтанов.

Мои носильщики и толпа остались у ворот — дальше их не пустили. Я вошел в вестибюль и огляделся. Но где же, где же все? Где торжественная процессия? Где мудрые седобородые, седовласые фонтаны? Где зрители, рукоплещущие с шорохом и прохладой? Где черный карарский мрамор, колонны и ступени?

Тяжело и влажно дышал ветер. Ржавая лопата валялась под ногами.

— Колай тут, — шепнул мне на ухо Башашкин и зашелся мелким гаденьким смехом.

Изо всех сил я вонзил лопату в холодную мертвую плоть мрамора. Лопата, жалко звякнув, сломалась. Прозрачные длинные струи вырвались из расщелины. Легкой шепкой закружило меня в водовороте и вдруг подняло и забросило в самую синюю пропасть неба, и, глотнув воздуха, семью цветными мостами заскользил, заструился живой фонтан, окруженный шорохом, брызгами и прохладой. Ко мне наклонились соседние и шептали: «Ты был запечатанный фонтан, но теперь пришло время тебя распечатать». И я плакал и снова плакал, и слезы не кончались.

Нью-Йорк, июнь 1977 г.

СЮСЯ

Ждет меня смерть —
жду ее конца.
И. Бокштейн

Когда у Сюси Гражданкина сгнили и выпали передние зубы, пришло ему время задуматься о вечности. Да и кому, как не Гражданкину, думать о ней. Ведь не Арнольду же Федоровичу и не Ольге Бенедиктовне.

Думал он о ней исподволь, с приглядкой, потому что страха в нем много было. Страшно было, что заметят, страшно, что засосет, ну и, конечно, от самих от мыслей. Еще он имени своего пугался, когда окликали шепотом: Савелий!

Давно уже стал он замечать повсюду неполадки. Уж он и ходит не так, как прежде, и в горле по утрам першит, а раньше не было этого, и с Машенькой он не так хорош, как бывало, а все больше в стенку утыкается. По ночам не стал гасить света, ночничок завел, лежал, обоим разглядывал: точки, линии, спиральки. С обоев все и началось. Потом уже стал понимать, для чего соседи ему такие посланы.

Сюся, сколько помнил себя, все к зубному врачу собирался. Все хотелось ему неизбежное остановить, поддержать немножечко. Но страшно было Сюсе, что сверлить его будут. Каждый день думал: вот через пару дней схожу, вот на той неделе схожу, вот уж... И не то что неделя, а может, дюжина их промелькнула.

День этот все же наступил. Пасмурно было, зябко. Холод щели отыскивал, в рукава лез и где кашне неплотно прилегал. Хотел Сюся из подъезда шагом бравым пойти, чтоб соседи видели, да не получилось — пошел ковылять, на сторону заваливать, каблуки стесывать. С недоеду все.

Сюся прежде всегда сухарики собирал, на противне их поджаривал, в водичке размачивал — пища все-таки. Потом уже, когда на Машеньке женился, питаться начал — кефир, творог, пюре картофельное. Тут и нашла его главная забота.

Прежде всего заботило Сюсю, как ему вечность получить, а потом уже — в каком виде получить ее. Скоро он уже стал понимать — не на облаках вечность ему нужна, не в эфире каком-нибудь, а чтобы здесь, дома, чтоб косточку посасывать, чтобы чаечек, до чтоб Машенька подсюсюкивала.

Значит, есть что-то, коли страшно, размышлял бессонными ночами Сюся, погружаясь в тайную вязь обойных узоров, но что же, что это? И сжимала ему сердце ледяная догадка: похоти ему жалко, сонной истомы жалко, сгнивших своих зубов, чаечка жалко. Для них только хочется ему вечности, вечного безобразия Савелию хочется.

Как продлить, чтобы никогда не кончилось, чтобы вечно было? Чтобы всегда тепло ему было, чтобы ныли по утрам его бедра, чтобы Машенька об них голым своим задком терлась? Как убежать часа, когда стон в горле застрянет, и глаза вылезут, и ноги остынут, а руки попытаются за что-нибудь зацепиться, да не смогут?

Кто сказал, что все это кончится, тяжело ворочался под одеялом Сюся, кряхтя и потев, не может быть, чтобы все так просто кончилось. Не может этого быть. Всегда было так, но с ним по-другому, может быть, получится.

Ольга Бенедиктовна, конечно, умрет, и скоро. И Арнольд Федорович умрет. И Машенька тоже умрет, хотя думает,

что, как он, увильнет, от Старой отвернется. Но нет, не избежать ей, не спрятаться. Только он один уцелеет. Какой есть, со всеми шербинками, морщинками, гнилыми зубами. Понять это невозможно, но он чувствовал это.

Здесь время, пожалуй, поглядеть на Сюсю, пока он по заставшей улице к зубной поликлинике продвигается. Шапка на нем пегая, растерзанная, из кошки. Пальто черное, шершавое, тяжелое. Очки тоже тяжелые, стекла толстые — глаз не видать. А если в стеклышки заглянуть — господи, что там творится! Гной, или слезы, или иная влага какая видимость застилает, криком о пощаде кричит.

Вот он, ссутулившись, по улице идет и улицу эту не приемлет. А улица в отместку его не принимает. Но только улица ли это? Дома, тротуары, изгороди, а улицы нету. И Сюси на ней тоже не видно — темное пятно по серому скользит, с пейзажем то сливается, то выделяется.

Да нужна ли тебе эта вечность, спрашивает себя Сюся и останавливается посреди дороги. Может, не стоит печалей, что есть она, что ее нету?

Нужна, как же не нужна, что же тогда нужно, плачет в ответ Сюся и глаза закрывает — тошно ему, потому что нельзя же со смертью согласиться. Со всем можно, с тупостью, слабосилием — их полюбить даже можно, за это нет никакой обиды. Но страшное — это срок. Только бы вечно, только бы без срока!

Господи, в царствие бы твое войти! Узнать, какой ты из себя, очень ли страшный. Заплакать бы, спасение себе вымолить. Но что делать человеку, которому ни умиления, ни слез не дано — одна черствость только? Какая ему вечность предназначена? И опять же, получит ли он ее, а?

Вот Сюся пугливо улицу перебегают — скорей бы другого берега достичь! Глаза у него слезятся, сердце запрягает, шнурок на туфле развязался. У-у-у! — свистит над улицей ветер. У-у-у! — проносятся машины. Сюся в страхе из воротника высовывается: в небе холод и на земле холод — всюду холод. Нос у Сюси подмерзать начинает.

Зубная поликлиника к нему еще издали летучим портретом поворачивается. Стал Сюся справа обходить, но заметил, что машины там шустрят, передумал, слева пошел. Покружил-покружил Сюся, вошел, очки протирает.

И снова можно на Сюсю взглянуть, пока он в тусклом вестибюле очки свои потные протирает. Глаза у него без очков маленькие, жалкие, как у птички. На переносице вмятина от оправы. Взъерошенный он и в то же время пришибленный. Кажется, вот сейчас головкой встряхнет и по-воробыному зачирикает. И красные руки с обгрызанными ногтями дрожат у него, пока он краем кашне стеклышки протирает.

А вокруг него все распылчатое, белесое, ускользающее. Стены уплывают, углы прячутся, а люди будто живыми делаются, шевелятся, дышат, и от этого к сердцу его подступает обманчивая надежность.

Но вот Сюся очки надевает, дужки их за уши цепляет, с кем разговаривает, голос у него ломок, как у подростка, — скажите, где бы мне скинуть остаточек?

Регистратор глянул на Сюсю помешанными глазами. Сначала Сюсе показалось, что это Ольга Бенедиктовна, но потом он увидел, что человек в окошке больше Арнольда Федоровича ему напоминает. Так он и не понял, с кем разговаривает. А разговор уже в самую силу входил. В излучинах век, в напряжении подглазных морщин, в магнетизме хрусталиков разгоралась борьба, схватка смерти со смертью, и не было уже сомнений, которая из них одержит победу.

Вздрыгнул Сюся и оглянулся испуганно. Пейзаж напомнил ему обойный орнамент: в три закрута извивалась очередь, темнея к окошку регистратора и тая к хвосту. Спираль покачивалась и дышала, изредка из нее появлялось что-то похожее на руку и пряталось мгновенно. Позже увидел он, что это не рука, а голова, и на ней не пальцы, а глаза вывернутые свисают. Замутило Сюсю, прислонился он к столбу посреди узора.

Дальнейшее случилось мгновенно. Хлопнула дверца, и из регистратуры выскочил Арнольд Федорович, вихлявший

и горбоносый, прыгнул к Сюсе и, влив в щеку ему холодный влажный мякиш носа, торопливо и жадно зашептал в самое ухо:

— Я сам, сам, сам у вас приму, вы только не волнуйтесь, я могу даже заплатить, сами понимаете, немного, дельце-то незаконное, только давайте сразу, чтобы не передумать, я сейчас отпрошусь со службы, мы найдем тихий уголок...

Как вместо Арнольда Федоровича рядом с ним очутилась Ольга Бенедиктовна, Сюся так и не понял. Может быть, Арнольд Федорович помчался отпрашиваться к начальству, а Ольга Бенедиктовна воспользовалась этим, может, хлопнувшись об пол, Арнольд Федорович обратился в пышную блондинку с жирным кукишем на затылке, может, это произошло еще как-нибудь, но в лицо Сюси заглядывали теперь бессмысленно-огромные и томно-расчетливые очи Ольги Бенедиктовны, а невероятные выпуклости ее оранжевой кофты терлись о шершавое его пальто.

— Ах, шалун, ах, баловник, — щebetала и шелкала она, отделенная от него отстоянием своих выпуклостей, прямым напором пытаясь сократить расстояние, — как это вы раньше не приходили! Но пойдемте, пойдемте скорее, пока носач не вернулся!

Тут начали к Сюсе незнакомые лица подходить с носами, ушами, бородавками, с перевязанными щеками, с жирными флюсами на шее и чирьями на висках — оттерли Ольгу Бенедиктовну. Окружили Сюсю со всех сторон, стоят, смотрят и головами покачивают:

— Ах, Сюся, ах, бесстыдник, где это вы раньше прятались?

Вспотел Сюся, шапку снял, стал обтираться ею. А ему все жарче становится, пальто он уже с себя стягивает, кашне свое кому-то сует. Потные ручки по лбу, по затылку покатались, нос у него взмок и подбродок, и очки опять запотели. Начал Сюся пиджачок сдирать, рубашку расстегивать: дышит-задыхается. И вот он уже в одних носках прыгает, тошенький, синенький, со всклокоченными волосами. Ах, Сюся, ах, бездельник, вот вы, наконец, и попались!

Вдруг, откуда ни возьмись, Машенька перед ним стоит, маленькая, сморщенная, седая, натруженные пальчики от нервности тербит, в глаза ему неотрывно смотрит. Голубчик, Машенька, как ты здесь очутилась? Тебе бы место дома за толстыми стенами, тяжелыми комодами, за чайными блюдами. Цветочков тебе синеньких, чтоб в стакане плавали, комнатку согревали. Да ты знаешь, где мы сейчас и что это вокруг? Вот взгляни на эту змею, на чешую, на кольца. Посмотри, какое мутное пламя, как много дыма, как скажут прислужники, как всплывают глаза и снова прячутся в дыме. Но она в ответ только улыбается и глазами подсказывает: «А ты вот что, Савелюшка, сделай, сходи-ка ты домой да чайку напейся. Для чего тебе от добра отказываться, разве знаешь, что взамен получишь? А добро может для дела пригодиться».

Рассердился Сюся, кулаком замахнулся, ругаться матерно начал. Сдернул с носа очки — все опрокинулось. Смешалось все перед темными глазами. Хотел он уже Машеньку позвать, домой попроситься — нет Машеньки, один туман кругом него простирается. И юркая мышь в рот ему заскочила, в горло прыгнула, волосаной канат за собой тянет. И стала тьма все вокруг поедать, а канат — рвать ему горло. Закружилась спираль хороводом, искрами раздалась, треском просыпалась, замерла в долгом скрежете. Захрипел Сюся, очки из рук вывалились, стал оседать. Тут змеи и ящеры в глаза ему прыгнули. И мелькнуло гаснущее тенью:

— Прощайте, мои милые, мои белесоватые, прощайте...

И слышит Сюся: зубной врач к нему издали приближается, Сюсю ласково в кресло усаживает, изо рта у него кролика вытаскивает, наклоняется к нему. И шепот входит ему в самое сердце:

— Иди, Сюся, домой, будет тебе вечное твое. Будет тебе зубы. Будет тебе Машенька. Будет тебе вечный чаечек. Милость беспредельна.

ПРИТЧА О ДАРЕ ВОООБРАЖЕНИЯ

Спой не о том, что было, есть или будет, а о другом.

«Спор Гомера с Гесподом»

(Несколько слов от переводчика)

«Вы не даете читателю ни малейшей форы», — упрекал Хосе Лесаму Лиму испанский поэт Луис Сернуда, сам весьма герметичный лирик, близкий к сюрреалистам. Тот, кто хотя бы пролистал первую вышедшую пока по-русски книгу стихов и эссе кубинского мастера (1910—1976), вероятно, согласится с этой оценкой. Причин тому несколько. Мало кто всерьез знаком с той почвой, на которой вырастает визионерский мир Лесамы, — Платоном и его позднеантичными продолжателями, орфиками и гностицизмом, средневековой схоластикой и агнографией, испанским и колониальным барокко, Вико и Паскалем, Лотреамоном и Малларме. Разве что для единиц живы и ближайшие ориентиры поэта — Клодель и Валери, Элиот и Паунд, Рильке и Сен-Жон Перс. Так что в умопостигаемый ряд имия Лесамы Лимы пока не встает. Само же по себе его вулканическое образотворчество, всегда, впрочем, укрощенное знанием книгочех и волей мастера, с первых шагов озадачивает даже искушенных: своим соединением несоединимого оно напомнило Хулио Кортасару записные книжки сфинкса или кентавра. Что ж, согласно почитаемой нашим автором традиции, удивление — начало познания...

В сравнении с такими программными эссе, как «Введение в поэтическую систему» и «О достоинстве поэзии», или с трудом жизни, грандиозным романом «Рай», переведенным, кстати, на добрый десяток языков, предлагаемая новелла покажется, пожалуй, багателькой, упражнением в перерыве или плодом отдыха. Не стану спорить: тем лучше, быть может, послужит она вступлением ко многим сквозным для Лесамы темам. Упомяну лишь некоторые. Во-первых, старый Китай. Это один из заповедных «регионов возможного», легендарная «эра воображаемого», разработкой которых и занималась поэтическая археология Лимы. Его, собственно, поглощала всего-навсего одна вещь — способность человека быть иным, быть больше себя, что возможно, как полагал он, благодаря образу — «реальности незримого мира». Рано потерявший, но не позабывший обожаемого отца, днями и ночами беседовавший в своем вынужденном заточении тяжелого астматика с неслучайными тенями необозримых пространств и времен мировой культуры, Лесамы знал, что самые существенные в человеческой жизни вещи — вещи невидимые, как бы вовсе не существующие, но из этого своего несуществования только и получающие силу направлять, сообразовывать жизнь. Они не могут быть явлены напрямую, но лишь через образ, воплощение возможности. Не случайно герой лесаминской новеллы — маг, чье дело как раз и состоит в том, чтобы обращать видимое в незримое, а невозможное — в очевидное. Отсюда и тема постоянного разыгрывания сокрытия и показа, привычного и поразительного.

С этим связано, во-вторых, и особое качество изображаемого Лесамой. Видимое, в его мире, — это не просто увиденное потому, что попало на глаза и соответствует разрешающим способностям глаза; видимое — это усиленное воображения открытое, специально показанное, мастером предъявленное. Говоря короче, поэтическая действительность разворачивается в представлении, церемонии — шествиях, представлениях, восседаниях, кружениях. Особенно нагружены значением здесь сложившиеся и отточенные за многие века формы представления, своего рода цере-

мониальные «жанры» — обряды рождения и погребения, брака, коронования, посвящения, пиршества. Действие в прозе и даже стихах Лимы строится как сновиденная сюита этих церемониальных сцен. Понятно, насколько важны тут иконографические традиции (погребальная стенопись, расписная керамика, живопись примитивов и Возрождения, народный лубок) и наследие до-профессионального театра — начиная от средневековых мистерий и включая площадной балаган.

И третье — личный, биографический исток мотивов и образов рассказа, заключенных в объективную, всеобщую, «косвенную», как бы отдаляющую от непосредственности форму (отсюда — сквозная у Лесамы символика отчужденного, замкнутого в себе, противящегося и даже враждебного — вещи, стихотворения, острова). Причем само это отчуждение составляет и сюжет, и тропику рассказа, как метафора у Лесамы — и предмет, и способ изображения. Неожиданные рукава метафор, в которые ныряет повествование, вновь и вновь возвращают и к занятию героя, и к поэтике рассказа. Перед нами — притча о поэте, и ее нужно не разгадывать, а дать себя втянуть внутрь ее отблескивающего кристалла, войти в магическую изнанку зеркальной игры символов. Но дар поэта беспрестанно искушаем требованиями прямой пользы — будь то в делах любви либо в сфере власти. Впрочем, власть и любовь, покоящиеся здесь на линейном видении и причинно-следственном расчете, то и дело меняются местами. Не меняется одно — побуждения грубо вмешаться в ход вещей ради немедленной выгоды отдельного существа. Им герой противопоставляет ровный свет внимания ко всему живому и мягкое отдаление от слишком жаркого дыхания в лицо. И власть и любовь оправданы для Лесамы лишь в том случае, когда делают единичного человека эмблемой бесконечных возможностей преображения. Отсюда у него — символические образы легендарных пяти императоров древнего Китая и королей-святых европейского средневековья. Отсюда же — метафоры райского изобилия и любовной всевластности (всегда, впрочем, ограниченных утопическим долом или островом; и сама Куба, по мысли Лесамы, — один из этих островов ренессансной пасторали и драмы). Действовать художник может лишь через символы и в духе вещей, сообразуясь с ходом событий и преломляя их волей к воображению. Так выросшая из чародейства рукава трехметровая ветка дает в финале рассказа побег в виде гигантских деревьев в садах любопытных горожан, а подкручивавший тюремную тарелку палец спустя много лет после гибели мага заставляет вращаться разъяренного сокола. Удивление кудесника понятно: все остается значимым, лишь став незримым, так для чего воскрешать умерших, если можно преобразить их в россыпи праздничного фейерверка или низку летящих чаек?

И уже в качестве постскриптума. Пути образа причудливы, нелинейны. Не стану сейчас обсуждать, как получилось, что лучшим комментарием к написанному Лесамой Лимой, «стратегом превращения и скреживаний», для русскоязычного читателя может служить мандельштамовский «Разговор о Данте». Лишний повод перечитать его.

БОРИС ДУБИН

ХОСЕ ЛЕСАМА ЛИМА

ФОКУС СО СНЯТИЕМ ГОЛОВЫ

Ван Лун был чародеем и ненавидел императора, в смиренном отдалении обожая императрицу. Он мечтал о сибирском магните, о голубом песце; еще он ласкал в уме мысль о Троне... Властью вот этой замороженной Обычаем крови превращать безделушки, жезлы и зачарованных голубей в хрупкие палочки нарда и гнезда витютней, высвободив свою силу из колдовских замкнутых кругов. Он обегал селения Севера, обернувшись разносчиком сельдерея, и менял русло Желтой реки, сметая запруды. Пока он забывался сном на постоянных дворах, «Прах мельницы у ручья», сгорбленная и сиротливая, стерегла сундуки. В основных отделениях там хранились душистое дерево и прародитель летучих соцветий — порошок. В потайных отсеках покоились канделябры, ленты с лапок любимой голубки и свитки «Дао Дэ Дзина». Тем настороженней следил он, прибывая ко двору, за толпой одряхлевших придворных и их совсем еще юных сыновей, странной дружбой связанных с шайками разбойников, нашедшими укрытие в горах.

Итак, он прибыл ко двору и, за день приведя себя в порядок, вечером ступил в главную залу императорского дворца. Император и высшие сановники ждали, встречая положенными улыбками. Дар колдовства не избавил его от тайного превосходства во взглядах придворных. Как истинный чародей, он был церемонен, нетороплив и все же, входя в залу, не смог удержать холодка, опавшего на память, и на секунду заколебался. То, что в первый миг промелькнуло шелковым аистом, уточнясь, сложилось в узор жемчужной вышивки, расплескивающейся по жакету с таким замыслом, чтобы не столько охватывать талию, сколько расширять рукава. Из ледяной дали проступила знать, явившаяся на чудеса, распространяя вокруг тяжеловесное шушуканье, обычно сопровождающее собрание китайцев. Чуть в стороне от плотного квадрата вельмож помещалась императорская чета. Сам император оставался недвижим, словно созерцая публичную казнь. Императрица же была само движение и, как будто следя за бабочкой, присевшей на лезвие меча, притаилась в углу гостиной, обставленной во вкусе эпохи «Хранителя безмолвия».

Виртуоз праздничного торжества, мастер неожиданных сближений, чародей не избежал всегдашней ошибки провинциалов, первым делом показав новинки. Его искусство, в соединении с оркестровой музыкой и пороховыми эффектами, отличалось бесподобной ловкостью рук — монета обегала пальцы быстрее, чем исполнитель — клавиатуру. По утрам, следуя расписанию, заведенному со времен стародавнего ученичества, он изматывал себя упражнениями, добиваясь такого единства в сокращении мышц и беге секунд, чтобы спрятать кольцо, вдохнуть жизнь в голубя, двух фазанов или цепочку гусей раньше, чем заметит глаз.

Вечерами он дирижировал своим подручным оркестром, не спуская взгляда с пяти мастеров струнных и духовых и по одному из метрономов следя за чуть заметным розовым прозором, дабы уложить проделку точно в музыкальную паузу. А ночью, в самой темной камерке, отрабатывал эффекты цветного пороха, готовясь вызвать в небе корзину радужных груш, осыпающую с высоты ливнем стрелок, перчаток и звезд.

Вопреки тяге к новизне, в объяснениях он следовал традициям чародеев великой эпохи. Обычно он говорил, что волшебство состоит в умении одним мускульным усилием передвинуть монету за столько времени, сколько требуется зрителю, чтобы показать другим и себе, что он — не безжизненная статуя: изменить положение руки, чуть вытянуть ноги, сморгнуть, покачать головой. А пока это происходит, — добавлял маг с коварной жесткостью, — чародей делает вид, будто играет на незримой флейте. И сам в это время незрим. В отчаянный миг, когда дряхлый мандарин кольнул его болезненным вопросом, почему он не использует искусство магии, чтобы возвращать жизнь мертвым, церемонный Ван Лун нашелся: потому что из их внутренних можно извлечь голубя, пару фазанов и цепочку гусей.

Показав новинки, Ван Лун почувствовал, что тяжеловесная торжественность собравшихся требует вещей попроще, а потому поспешил перейти к фокусу с клинками, которые должны были снять голову с одной из юных прислужниц императрицы, шалевшей тем временем от скуки под неистовые овации публики. Самая хрупкая из девушек уже готовилась занять свое место, когда Император распорядился изменить задуманный чародеем финал. С церемониальным хладнокровием он объявил, что предпочитает увидеть эту операцию — на взгляд мастера, самую грубую из всех — на шее самой Императрицы. Зрители вздрогнули, решив про себя, что дворцовые интриги увенчались таки успехом, приведя к концу, в котором чудовищное зрелище совпало с тайной отрадой придворных. Маленькая и гибкая Со Лин без колебаний последовала знаку Императора и двинулась прямо к Ван Луну, который уже суеился, смещая зеркала и клинки и принаравливая углы тени и траектории падения к шейке Императрицы. Клинок рухнул и взвился, раз за разом открывая на взлете перерезанную и ставшую бесплотной энтелехией шею без единого следа крови. После того, как Ван Лун продемонстрировал последнее — и самое грубое — из своих умений, маленькая и гибкая Со Лин выпрямилась и вернулась на прежнее место рядом с Императором.

Однако Император остался недоволен грубым искусством чародея, продемонстрированным в присутствии всего двора, и отправил его в темницу. Этим он хотел выказать

превосходство Власти над Волшебством, а кроме того готовил очередную ловушку: открывал Со Лин возможность тайком посещать волшебника и готовить побег в холодные области Севера. На самом же деле, Император выразил недовольство представлением чародея ради иного и еще более грубого — его он намеревался дать сам, и не двору, а народу. Заточение мага должно было подтолкнуть людей к мысли, будто Император в отчаянии разыгрывает безнадёжную карту, вступая в борьбу с силами, столь же мало подвластными ему, как черная молния. А после побега чародея и Со Лин Монарх предстал бы перед народом в ореоле ностальгического одиночества, который, как предполагалось, сведет на нет все прежнее недовольство его правлением. И потому Со Лин, начавшая посещать узника, принося ему хлеб и миндаль, сумела позднее обзавестись саними и дюжиной крылатых псов для побега на Север, и все это при столь незначительных препятствиях, что вскоре сани и впрямь зазвенели колокольцами.

Деревенка, к которой они подъезжали, рисовалась в темноте желтым пятном с беглыми язычками кирпично-красного огня. Большие фонари зажиточных домов, раскачиваясь под осенним ветром, напоминали птиц, несущих в клюве пылающие гнезда. Когда ветер свирепел и фонарь стучался об стену, казалось, что птицы с разлету ударяются грудью о чеканные рельефы в память душ, обитающих в чистилище. Различая блики, осколки лучей, Ван Лун чувствовал, как, оттапливая и перекрывая друг друга, его пронизывают разноречивые желания. Отсветы манили издали, сливаясь в бесчисленные лица, овалы преображенного огня. Языки костров, вздымающихся в нескольких стратегических точках, чтобы отпугивать лис, — и крохотный отсюда кирпично-красный часовой, обвязанный их разжигать, — вились и кружились по спине и рукам, как будто встряхивая кожу и рассыпаясь несчетными уколами. Он медленно потянулся, придержал сани и, прощаясь, прыгнул. Полусонная Со Лин почувствовала, что он кутает ее в одеяла и поднимает руку, чтобы огреть собак хлыстом. Она тоже прыгнула и повисла у него на шее, как бы распиная наподобие длинной, намертво пригвоздившей иглы. Но он толкнул ее обратно в сани, а в ответ на сопротивление вскинул руку, словно собиравшись шлепнуть по упряму подставляемой щеке. Щелчок хлыста по спинам собак — и колокольцы растворились вдали, а церемонно неторопливый Ван Лун, стряхнув раздражение, вошел в деревню.

Со Лин дала собакам сполна почувствовать всю безмерность нанесенного удара — и на протяжении трех дней, отделивших жажду от найденного родника, и гораздо позже, когда они рыскали мордами в воде, лакомясь еще живой рыбой, и звук собачьего чавканья мешался с агонией рыб. Она спала, а просыпаясь привставала, чтобы заснуть снова, пока сани, полусовещенные единственным горящим в ночи фонарем, глотали бесконечную даль. Когда собаки потряхивали колокольцами, Со Лин простодушно думала, что усталость валит их с ног, вливаясь холодом до самой кости.

Руки, правившие упряжкой, слились в одну огромную руку, которая ласкала ее с неторопливостью воды, обрабатывающей коралл. Так шли ночь за ночью, пока Со Лин, окончательно открыв глаза, не поняла, что сменила дворец на побег, а побег — на бивуак. Ласкавший ее из желанного любовника превратился в охотника и грабителя, продолжая вместе со сменяющимися ласками преображаться на глазах и представ наконец претендентом на императорский престол. Его звали «Царственным», и — если верить геральдике порушенных и восстановленных родословных лестниц — кровь его превосходила чистотой кровь Вен Чу, а сам он был сыном Неба, тогда как Вен Чу — псом, выползшим из преисподней. В конце концов слухи о Царственном дошли до Вен Чу: в них его соперник рисовался разбойником, который в одиночку нападает на богатых землевладельцев, заставляя их бросать усадьбы, чтобы выпрашивать персиковую косточку у чужих дверей. Впрочем, придворные предусмотрительно утаивали от властителя, что Царственный хочет занять его место; и поскольку тот орудовал на севере империи, Вен Чу не обращал на него

особого внимания, предоставив грабителю северные деревушки, как предоставляют чудовишному зверю пастись на ковре, пока буколические ангелы округляют щеки, дуя в свои трубы. А женщине, которая допекает мужчину, заставляя его разрываться между разбоем и притязаниями на престол, пришлось надеяться лишь на себя и сделаться наложницей, готовой предать повелителя за глоток чая и сопровождающей его от бивуака к бивуаку, дабы охранять сон воинов. И устроить в плетенке, оставшейся от бутыли с вином, голову, отделенную от шеи настолько чисто, что капельки крови круглились черешней, облепленной воском.

Но вернемся к нашему чародею Ван Луну, одиноко и беззаботно срывающему цветы удовольствий в северных провинциях. Здесь, как и при дворе, его, как правило, просили скорей переходить к номерам, для которых достаточно наружной ловкости — то бишь к снятию головы; он же в этой глуши, напротив, позволял себе самые рискованные фокусы со спиралью, отказываясь от подступов и предосторожностей ради беглости исполнения. Вместо того, чтобы попросту извлечь из рукава гуся или пеликана, он, положив левую руку на пояс, приближался к просцениуму и, пока рукав набухал до размеров колокольного раструба, двигался медленно, привлекая и разжигая внимание зрителей; там он поднимал правую руку и, направив ее к небу, указывал на стаю чаек, а потом замирал в этой позе, пока одна из птиц, с ленточкой на шее, не покидала подруг и, словно приклеенная, не устремляла полет к чародею, чтобы юркнуть ему в рукав. Когда чайка направлялась к пещере подставленного рукава, Ван Лун вел себя так, будто следовал завету Дягилева, сочетая лучезарную уверенность в итоге с напряженным, прямо-таки убийственным ожиданием результата. Верный призыванию чародея и при дворе, и в деревне, Ван Лун с грустью думал, что, заменив этот номер гусем, выпрыгивающим из рукава от внезапного оглушительного выстрела, он оправдал бы надежды зрителей ничуть не хуже. Эта мимолетная мысль саднила его, но он так любил балетный жест поднятого с рассчитанной величавостью пальца и движение чайки, вдруг отделяющейся от стаи, чтобы приютиться у него в рукаве.

Так все и шло, пока здешний наместник, посетив столицу, не прослышал о чародее и побеге, не побывал на его представлении, а затем, допросив, не отправил виновника ко двору, дабы там распорядились его судьбой. Когда Ван Лун склонился перед Императором, монарх с полным безразличием приказал бросить его в военную тюрьму, сохраняя тот отсутствующий вид, с каким утвердил бы смертный приговор укравшему любимого коня у одного из его придворных любимцев.

В подземелье чародею пришлось позабыть о прежних технических тонкостях: теперь задача состояла в том, чтобы собрать и удерживать свое искусство при абсолютном отсутствии публики. Что вело мастера по избранному пути — одержимость дьяволом, жажда выразить нестерпимую остроту разрывающих его тревог или простая забава ангела, надумавшего сбить с человека шапку в морозный день? Ответа на этот вопрос мы не знаем. Добавим только, что обстоятельство вынудили его отказаться от маленького оркестра, от восхитительного зоологического сада и извлекать блеск мастерства из одних и тех же голых стен. Он придвигал к краю стола деревянное блюдо и, раскрутив его нажимом безымянного пальца, поднимал в воздух, оставляя парить посреди одиночки. И если блюдо он держал на весу, подкручивая ритмическим щелчком, то нож с той же частотой поталкивал указательным пальцем, побуждая стоять в центре блюда. Заходивший надзиратель холодным и кислым жестом требовал прекратить шутки, но Ван Лун, уже возвращая блюдо на стол, ради *divertissement* бесконечно растягивал его полет, отягощенный воткнутом в поверхность ножом, который походил теперь на всадника, сброшенного вихрем и с головой увязшего в болотной жиже. У тюремщика было странное чувство, что, пересекая двор, он каким-то образом видит Ван Луна через запертую дверь камеры. Чтобы несколько скрасить неудобства, которые доставляет присутствие сверхъестест-



*Tu pure, o Principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle
che tremano d'amore e di speranza*

венного, Ван Лун объявил тюремщику, что в рисовых провинциях только что скончалась одна из его дочерей. Когда известие через несколько дней подтвердилось, маг пожал плоды едва ли не самой непредвосхитимой из своих уловок: он отрицал какое бы то ни было вмешательство божественных сил и вместе с тем пользовался всеми выгодами чрезвычайного меткого предсказания. С тех пор тюремщик приноравливал ему ту же ключевую воду с лимоном, какую готовил для часовых.

Вскоре Со Лин поняла, что положение любовницы претендента на престол после титула законной Императрицы делает будущее туманной грезой, недостойной тонкого вкуса. И решила предать самозванца, чтобы вернуться после пошлого побега к классической прямизне своей родословной. Снова оказавшись перед Императором, она предпочла не сознавать, что обессилена, иссушена и безоружна. А у него, сторонившегося и ортодоксии, и ереси, тем временем голова шла кругом, как часы в лапах любознательной персидской кошки. Сначала он объявил то, что Со Лин и без него знала: Царственный — разбойник, и он его не боится. Потом его точка зрения сменилась: Царственный проконсультировался с самыми терпеливыми из ученых писцов, и они, ссылаясь на известные места «Священной книги», пришли к выводу, что в крови у него есть крупницы золота, и их куда больше, нежели у Императора. Тогда Со Лин ударились в слезы и сделала вид, словно в ее недобровольном молчании скрывается тайна. За что и поплатилась: в то время, как чародей бросил в подземелье, Со Лин, дыша угрюмостью, содержалась в тюрьме и должна была в насмешку носить деревянные бусы размером с глаз освеженного вола. Тем, кто рисковал приближаться к камере, она представлялась то недалекой крестьянкой, то Императрицей, разболтавшейся от выпитого.

Чтобы испытать защитников города, Царственный затеял стычку. Он верил, будто каждая из атак, оставляя на разграбление новый квартал, отдает ему в руки новый клочок территории, но всякий раз был принужден отступать, подсчитывая потери. И этот клочок, уже причисленный на время атаки к его владениям, тем самым делался предвестием всего искомого целого, которое не замедлило бы сложиться, пусть он на штурм прочих кварталов. Ему удалось пробиться к началу торговых районов и, проходя по нищенским окрестностям местной тюрьмы, ненароком освободил Ван Луна. Можно себе представить бешенство Царственного, украшенного к тому же всеми ратными атрибутами, когда, ворвавшись в тюрьму, чтобы даровать свободу, он в ярости убедился, что бьется с солдатами, дабы самому не попасть в темницу. Ван Лун, напротив, источал ироническое простодушие. В этот миг передышки бойцы стали свидетелями чуда: из рукава у Ван Луна выросла трехметровая ветвь, выгнав красноватые побеги. Ван Лун метнул ветку в небо и пожал Царственному руку. Но войска Императора уверенно взяли верх, и претендент поспешил отступить, бросая завоеванный квартал и увозя за собой Ван Луна в северные провинции.

В лагере Царственного к магу относились с предупредительным почтением. В нем видели существо особой породы и не донимали его мощь излишними испытаниями. Когда крестьянин приводил к нему крепкого, по всем правилам подкованного жеребенка, чародей подымал его в воздух, нисколько не тревожась, что в этом неустойчивом положении любая мелочь может разрушить связь между конем, подковами и той вкрадчивостью, с какою он пощипывал мышцы пациента, дабы зрителям бросились в глаза и эта сталь, и эти гвозди. Потом Ван Лун удалялся, а жеребенок уже стоял на четырех ногах, и крестьянину тоже оставалось лишь удалиться. Так он отвоевывал своим даром возможность выжить и, держась в стороне, не растрчивать себя попусту каждый день. Он ускользал в прозрачное посредничество стекла, плавал пылинкой в луче, издали наблюдая горячий трепет всего живого и спасаясь дистанцией от растительной жвачки слишком близкого дыхания. Все вокруг было для него совершенно прозрачно, и он наслаждался безграничным кругозором, похожим на те полотна примитивов, где греховные соблазны в обличье скорпионов

тянутся ослепить юношу, который силится устоять на краю бездны, видя в глубине картины веселую струю, а та, в свою очередь, смотрит из окна на открывшееся зрелище, издавая нервный смех и снова высывая голову, чтобы продлить удовольствие от разглядывания до полного изнеможения, которое, впрочем, отодвигается все дальше и дальше.

Претендент собрал войска и вновь бросил их на приступ. Поскольку подготовка к защите затянулась, атака была неожиданной. Огрехи предыдущего боя уже стерлись в памяти, и принятая на сей раз стратегия мало-помалу вылилась в своеобразную проверку органных труб. Вот маленькой клавише, взмолившейся «органной бурей» (*tempête*), отзывалось гудение кроны; вот клавише «флейты» откликнулась немота, убеждая, что трубы опустели. Точно так же Царственный кидался на облюбованный квартал, но оборона была закупорена в опорных точках настолько плотно, что атака тут же откатывалась. По случаю в квартале находилась тюрьма, и дрожащей от страха Со Лин удалось снова вернуть себе свободу. Претендент мельком оглядел ее, и не успела затворница сделать нескольких шагов, как была рывком переброшена через седло, приторочена и увезена в лагерь, откуда недавно бежала.

Царственный выточил свою месть из мрамора. Он хотел, чтобы чародей и Со Лин встретились внезапно по ходу действия, заранее подготовленного как блистательный маскарад их казни. После отдыха, рукоплесканий, гитар, забав с клинками и арканами воцарилась тишина — наступила очередь чародея. Из-за кулис с двух сторон помоста появились Ван Лун и Императрица, приветствуя друг друга, смеясь и любезничая с граненым холодком. Как будто не было ничего — ни бегства, ни ужаса перед безлюдной степью вокруг, ни памяти, ни пыли, ни саней, ни стужи на ветру и жара под одеялами. Оба попятились и уселись каждый в свое кресло, Со Лин — чуть ближе к Царственному. Молчание толпы висело, разряжаясь гудящей мухой. Претендент ударил в гонг. От реки, обвивающей лагерь, отогнали коней, чтобы не слышать их бесцеремонного топота.

Царственный подал нервный знак. Он решил начать праздник снятием головы. Ван поднялся, Со Лин послушно направилась к столу и подставила шею под нож. Зрители совершенно ясно видели, как голова обрела на миг полную независимость, но уже через секунду Со Лин поклонилась публике и вернулась в кресло рядом с Царственным. Некоторые зеваки, хвастаясь посвященностью в тайну, высказывали было надежду, что претендент дал Вану секретное распоряжение или тот изобразит обморок, предоставив ношу сделать свое дело. Но чародей предпочел чистое искусство, безупречное мастерство, вторгаясь в события и даже отделяя их друг от друга, но ни единым пальцем не затрагивая великого акта потаенной и неприступной последовательности вещей. Его жестами правила учтивость, а ее питало равное внимание ко всему, берущее начало в *timor Dei*.

При дворе аплодисменты были ласкающим бархатом смерти. Они означали конец. Следом могло идти лишь гробовое молчание. В лагере Царственного аплодисменты, вскипая мерными волнами, служили вступлением к неистовству. Начав со столь отвратительного для него номера, чародей мог теперь соединить хитрости, отточенные за время пребывания в тюрьме, с прежним классическим мастерством, и пальцы его замесили между порохом и незримым оркестром. Он плыл по волнам, хмелел от себя самого, и распяленный на клинках сторожевых костров лагерь казался огромной гулкой шкурой, натянутой кожей, вмещающей тьмы и тьмы. Тем часом стоявшие в задних рядах, покачиваясь на цыпочках, слышали смутный шум, как будто к лагерю приближался отряд всадников. Но они ограничились тем, что покрутили головами и первыми отравились спать.

Ночью Ван Лун вышел из шатра. Холодная тишина, подчеркнутая скрипом хлебнувшего росы сверчка, с каждым вопросительным шагом смыкалась все глуше. Вдруг он заметил Со Лин, которая тоже покинула шатер и делала

знаки, призывая прекратить разведку. Что случилось? Император с бесчисленным войском вновь пустился по следу Царственного. Осторожно предупредив часовых о лавине близящегося врага, претендент поднял лагерь. Пользуясь безмолвным уединением, которое оцепило Ван Луна и Со Лин, напоминая чародею о его ночном триумфе, войско двинулось к северу. Претендент полагал, что, бросив нашу чету, он умиротворит гнев Императора. Еще одна ошибка: завидев остатки покинутого лагеря, Император испугался возможной ловушки и кинулся по следам с удес-ятеренной яростью. Так он снова гнал самозванца вплоть до краев, где обитали разбойники Севера. Но остановился, решив, что разумней иметь у себя во владениях еще одного разбойника, чем еще одного казенного претендента на счет. Когда сырость, доспехи и вымокший филин замкнули круг, он приказал возвращаться.

Ван Лун был в шатре Со Лин, они лежали на шкурах. Ван ласкал ее с неподобающей поспешностью, и движения его становились все отточенней, приближаясь к горлу Императрицы. Со Лин рассыпалась тем же смешком, с каким, отсеченная от зрителей внезапной темнотой, смотрела на близящийся клинок. А пальцы чародея вело растущее любопытство, и он сжимал и сжимал их, пока Со Лин, продолжая смеяться, не почувствовала, что вступает в прежнюю игру зеркал и «предстает с изнанки», как будто разделенная лезвием и вынужденная на секунду задержать выдох.

Потом Ван Лун с тем же любопытством, которое уже начинало леденить кровь, остановил мерный трепет собственного дыхания так, что, нацело отрешась от себя, сделался наконец незримым и вступил в сияющий лабиринт. Трупы мага и Со Лин лучились, как будто веяние жизни не отлетело от них и над умершей парой, меняя чекан, проплывали столетие за столетием. На лице одного проступала бесконечная спираль любопытства, у другой — улыбка окончательной гармонии, классической ясности. Застыв, чекан каждого проглянул тем резче.

На обратном пути войска Императора наткнулись в брошенном лагере на опрокинутый помост. Скомандовав всем отдыхать, Монарх отправился туда, где уже не было ни единого зрителя. Он вошел в шатер и, увидев трупы, внезапно впал в некое песенное умопомрачение. Воздев руки и не меняясь в лице, Император переходил от детских попевок к военным гимнам. Потом он покинул шатер, с той же торжественной и легкой песней на устах двинулся к колодцу, как всегда подстерегающему посреди лагеря, и бросился в жерло. Он все глубже уходил в темноту, удерживая голос на одной ноте — враждебные человеку божества пользуются ей, чтобы отделить мысль от звука, а тем самым и от любого смутного воплощения.

Царственный, возвращаясь, шел по пятам верной армии Императора и умножал свои ряды. Потом он потерял след войска, что наталкивало на мысль, будто его приготовились встречать, и отнюдь не дворцовым приемом. Когда его и императорские части сошлись, он почувствовал, как по рядам прокатилась исполинская волна ожидания. Армия Императора осталась на месте, полки Царственного шагнули вперед, и вот оба воинства слились в одно. Каменная застылость не дрогнувших ни на волос императорских частей позволила наступавшим секунду передохнуть; за это время ряды претендента еще приумножились, пополняясь новыми полками, штандартами и доспехами. Царственный миновал помост, подступил к шатру, равнодушно оглядел оба трупа и их непостижимые позы. Затем он прошел дальше и остановился у реки, естественной границы лагеря. Там он увидел, как фламинго теревит клювом тело, обернутое в шелка, испещренные знаками, несомненно, уникального достоинства. Воздетые руки застыли, полуоткрытый рот одеревенел в форме песни. Видимо, достигнув колодезного дна, погибший был вынесен подземными водами в реку, а уж там птицы и насекомые принялись за его неторопливое изничтожение. Царственный с безупречным изяществом рванул труп Императора и показал его войскам. Потом чародея, Со Лин и Императора сложили

в одну повозку, и полки ускоренным маршем двинулись к столице Империи.

Город сгрудился в ожидании Царственного. Часовые смотрели со своих постов на два слившихся воинства и сопровождавших их в повозке тела. Подступив к стенам, претендент приказал воздвигнуть наклонный помост и выставить на нем три трупа, которые, лежа на ветвях и листьях, казались рельефом, выбитым на растительном фоне. Несколькими любопытных, рискуя выйти за стены, добыли подробности, которыми делились потом с оставшимися внутри. На лицах умерших виднелась одна и та же бегущая спираль. Зияя раной под левым соском, нанесенной клювом фламинго, Император так и лежал с воздетыми руками, продолжая распевать свои баллады. Толпившиеся внутри считали, что песня посвящалась Со Лин, обезглавленной Царственным в отместку за предательство, и что Император уже возносил благодарность небу, обратившему в бегство его врагов, когда непостижимое круговращение звезд разразилось бедой и фламинго выклевывал ему внутренности. Чародей как бы с любопытством взирал на возвращение, бегство и шею Со Лин — с тем пассивным любопытством, которое, дойдя до таинственного совершенства, обрело силу замкнуть дыхание и навсегда оградить от вопросов, какими донимают бичующие лучники.

После того, как трупы пролежали перед всеми на наклонном помосте три дня, Претендент взял огромный, пропитанный душистой смолой сук и поднес огонь к высохшим веткам смертного ложа. Когда погребальный костер погас, любопытствующие возвратились из-за стен в мучительной растерянности. Увиденное запечатлелось на их лицах сложными чувствами, и они уж во всяком случае не могли ни говорить, ни ступать с прежней роскошной безмятежностью, став свидетелями рухнувшей пластики смерти.

Царственный продремал на троне пятьдесят лет. И ни разу огонь, разожженный смолистым суком, не отмечал ничьего рождения или кончины. Те, кто видел трупы на помосте, вернувшись в город, ограничивали прогулки лишь самым ближайшим окружением. Зато они попытались взять свое дома, всячески способствуя безудержному росту садовых деревьев. А те, кто не решился оторваться от стен, так и носили в себе скрытый водоворот, видя во всяком дыме тайное предвестие, вроде неотвязного чириканья птах, голосом оповещающей округу.

Когда двор посещали новые чародеи, Император расправлялся, чтобы акт снятия головы проделывали на его монаршей шее. И по возврате правителя на трон придворные изображали изумленное оцепенение, наискорейшим образом возвращая ему чувство собственного веса. Неестественность мига, когда снятая голова вступала в глухую борьбу за прежнее место, была слишком очевидна и, на взгляд придворных, никак не сочеталась с ужасающе опавшими веками, не говоря уж о церемониале. Глаза вельмож неотступно следили за снятой головой, как будто пытались, наоборот, изо всех сил удержать ее на месте и толча комара в керамической ступке.

Когда сановники, ища средств от чудовишной засухи, поразившей страну после кончины Царственного, обратились за советом в Императорский монастырь в Лояне, им было велено устроить похороны Монарха у главных ворот столицы — на месте, где встречались те любопытные, кто рискнул выйти за городские стены, и более осторожные, оставшиеся созерцать крутизну этих самых стен. Три дня труп, завернутый в кожу и металл царского великолепия, возвышался перед зрителями; так сменялись росы и восходы, пока на третий день не хлынули дожди и он не остался в своем мраморном одиночестве, а зеваки не разбежались... Зимородок бился, протискивая тело сквозь кованое серебряное кольцо. Доблестный страж его спешки, сокол вычерчивал круг за кругом, пока труп, обернувшись духом степи, не исчез в этой воронке. Другой, кречет, радужный и молниеносный, заведенно крутясь на незримом пальце, в бешенстве скреб когтями.

Перевел с испанского
БОРИС ДУБИН

ОЛЕГ ЗОЛотов

на обоях

в дождь, в болезнь, в беззвучности и в вымокшей, как плакать, перелистывая, перешептывая старость — жизни, где от первых ливней до последнего, на выбор —

ожидание, и всех метафор
скученность, и невозможность вариантов
в дождь, в болезнь и в церемониальности и скудности событий и деталей;

связь и невозможность спазм и спален,
сквозняков и спазм, и по диагонали
ливнем рваных листьев, ливнем начисто
веток обрываемых, как пальцев;

ливня и дождём простертых кладбищ
дивной нежности пред их сойтьем —
невозможность тем уже, что ими
пополнилось, что — повторяемость, от края

и до края, от ограды и до липких,
вяжущих, и тех, как приступ малярии,
в тяжесть и прозрачность глицерина
вписанных, как в невозможность — ливней;
тем — и это главное — что переплёт
от переплёта окон в вязкой глине
облаков; шпалеру от шпалеры
отделяют красные павлины

на гребне души где почти дикобразным крылом
и уже к типографии правятся спазмы в абзацы
горлу ровным из всех вариантов как самый бескровный
на грани спокойного умысла будет крик

словно из доказательств
о любви будто долгой работы портрет или скрип
половиц или ставень горлу в подлиннике без изъятий
до последней булавки до складки и шелеста платья
с госпитальной аллеей и мокрым крыльцом с этой

перерезанной веной что имя по буквам твоё
нет твоё ли ах знать бы я б набело всею тобою
на задах типографий и боен в закатах с бельем
госпитальным и запахом листьев и боен
вперемешку с губами на вдохе и их общий батист
предноябрьской батики пятен заката и сыпи
рвал бы горло тобою как именем — вену, как титром
возле рта обрывают любовь
и в предчувствии ссылки
и тоски у впитавших тоску фонаря и дождя окон
стянутых в белое до половины по смете интерната ли
госпиталя по поцелуям водянки возле рам узнаваемых
плакал и думал о смерти б



такие пуанты и пальцы у ваших стихов
мой грустный ребёнок фарфоровая балерина
реабилитация знаков грамматики их переливы
ах восклицательный крылья (крылами) такое

откуда такое вопрошая склоняясь уже ль
возможно теперь в полутьме до портала
едва не касаясь едва средоточие жеста
перепроверя на сухость и легкость гортани

не сделав движенья но будто и сделав уже ль
возможно (плечами? ключицами?) в воздух как в
терцию

запаздывать падая зная что это движение
еще не проверено в немилосердном партуре

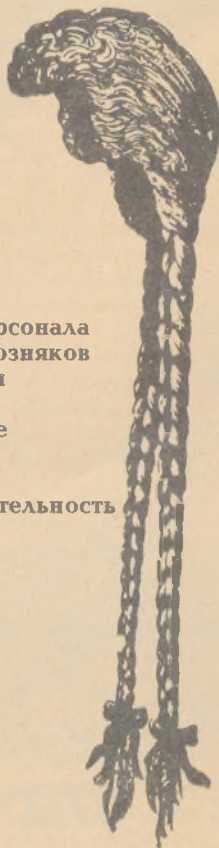
себе и взыскующим: сцена на свете но прежде
не сцены но прелестей комнаты для репетиции
взыскует как грамоты ибо прерывиста птицами
её бесконечность бывает

и в этом вся прелесть
себе и взыскующим: ямы оркестров и бездн
лучше на белом фоне — бумага клавиши или вуали
быстрые и ты объясни им как это бывает
что так что в конце неизбежно

согнуться и в прорубь прожектора в точку
(им сверху отчетливо словно Его реснички
упавшей ответ)

но это как в прорубь снизу
заглядывать в божественном перегорая восторге

май капельница всё в меду
 когда б я мог любимая когда бы
 менять слова на запахи когда бы
 май капельница всё в бреду
 расплывчато
 и окно не отвести
 в вишнёвый рай от воспалённых в рае
 вишнёвых ставень за стеклом и рамой —
 всё пристальностью движимо как если б
 не паралич в перестановке от
 стены к окну дивана и банкетки
 придвинутой уже вплотную кем-то из персонала
 если бы не воск за жалюзи натекавших сквозняков
 и тающий как если б день — не вкладыш
 в уста припадка но и переход
 за дивное полуусильем клавиш движенье
 глаз от яблока к окну
 и дале от нагретых цифр и складок
 за прорезь циферблата как в минут томительность
 как в обмороки в классах
 в их римский строй за недостатком двух
 в сматывание и шарканье сандалий
 когда б менять на запахи и даты
 слова май капельница всё в меду



мой сладкий мой небесный папа я чем-то виноват
 как родилась во мне
 печаль отпрыгнувшей гиены глухих составов дрожь на
 снегопад бессонницей бредовым ли биеньем
 в саду саксона, лизанного всласть
 мне в рот глядеть больничной ночи власть
 вороньей ветки тяжелее к родам
 заглядывать как в роль как в чашку с бромом
 в заботе о прикручиваньи ламп
 и Боже мой и перепутав роли:
 колониальным спившимся зверком при нежности
 безногого сержанта?
 как у перин застыть и как прижаться
 и как — дрожать?
 мой сладкий мой небесный что же с ней
 с игрой тоски зачтён ли будет нолик от черных губ
 затем ли выпал снег,
 что ночь в карнизе оставляет ногти,
 и не добреть к огню из этой ночи
 и скоро смерть

Сколь многого от пальцев и актрис
 желалось в полутьме — а те играют
 зеркального убожества витрин
 убожей троекратно,
 и тишина, сворачиваясь в крик,
 в сукно бильярда мелом пишет «кража».

И так — любовь случается, игрун
 зареванный; так к стеклам примерзает
 хруст снега под лопатами, как хруст
 сухих пирожных в танцевальной зале,

и вату рвет с карнизов, и свистит —
 что музыка, что ветер привокзальный,
 и так в ночи настороженно спит
 засаленная карнавальность
 твоей одежды вокруг дивана,
 что нету сил переступить.

так скажет ребенок «халва» — так сладко, так сладко!
 так вязнут в зубах, так липнут
 две строчки — такие вот, с ними бы
 споткнуться на дымной аллее:

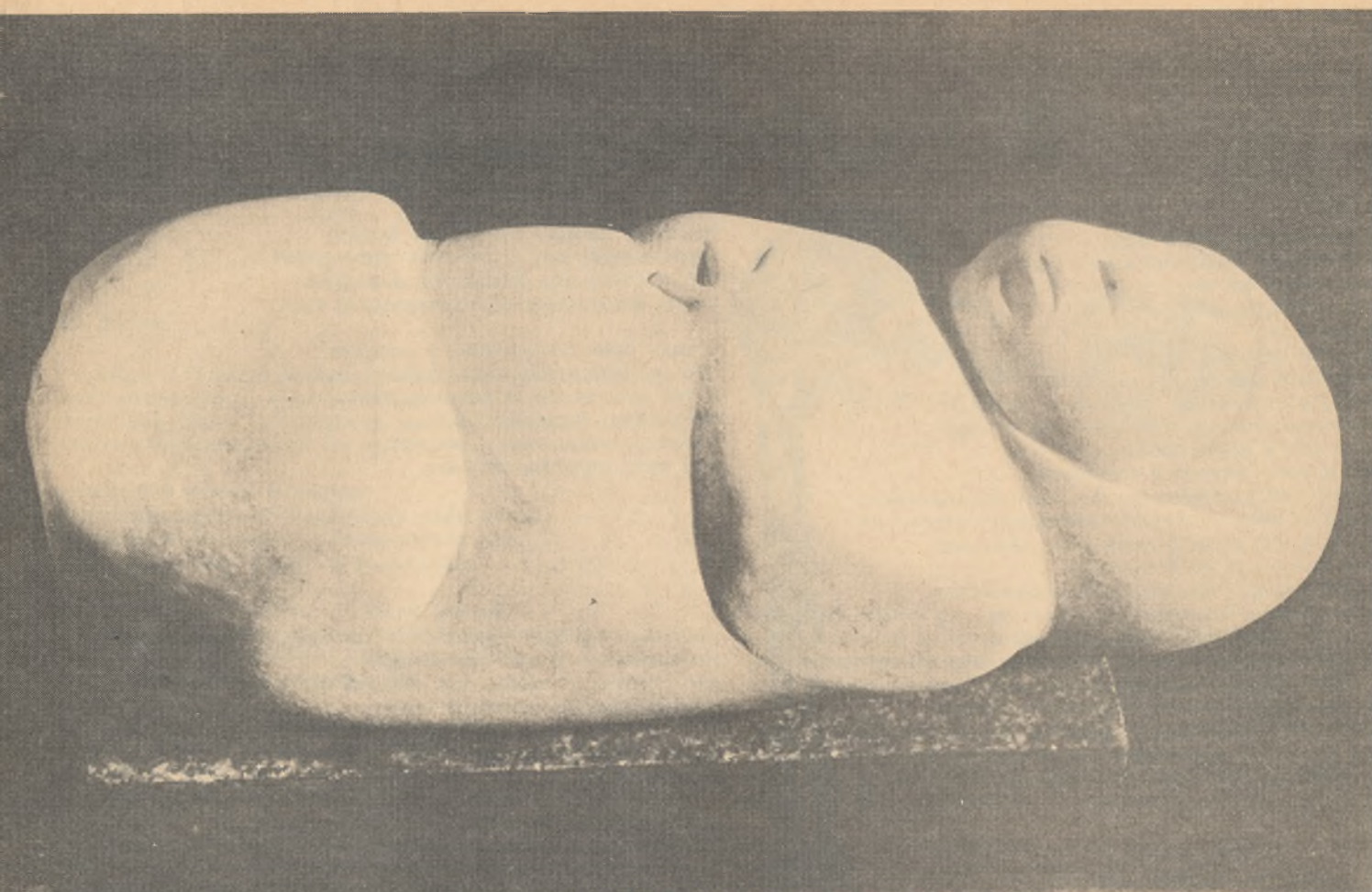
вкус спирта у сердца,
 вкус спирта.

и повторится ли таянье
 прерывистых, словно фламенко,
 двух пальцев у воротничка?
 и прочеркнет ли ласточка?

и в десны лизнет ли любовь — так сладко,
 так сладко

как елку наряжать как путать в кружевах
 как страсть запутывать в предмете обожанья
 иззябнувши когда всё не дожидаться чаю
 всё не согреться и — как с поезда с камней
 как страсть — сходя и путаясь у шей воротничков
 у кружевных страсть молит примечанья:
 какой замёрзши выйти на перрон
 сопутствуя в любви какому содержанию
 так: вечеру ль с окном оденевшим в
 узорах ли звонку ль
 кому переживая о страсти путанной как путать
 в кружевах

как ёлку наряжать тоску переливая
 из кадыка в кадык как орден или вздох
 рубиновый с мечами и бантами
 и лентами — тотчас за поездом меж птиц
 и пустыней и птиц и путаясь в деталях
 не главное а все ж какую резедой
 надушен Ваш платок и что метель на стыках
 звенит так жалобно и чем на этот раз
 оправданы кошмар и с блестящими оврагов
 простор где за семь дней у вязкости пространства —
 ни станции и долго ли тоске
 быть в неизвестности о чем любовь и с кем
 в беспомощности что и она старалась
 о страсти путанной когда на волоске
 от поезда когда как проза снилась — выгорая



ЛИГИТА УЛМАНЕ. «Начало», мрамор. 1986. Фото Л. БИРЗМАЛИСА

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ ГРАЖДАНИНА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Латвийская Республика. 20—30-е годы. Бросая на нее взгляд через полустолетие, одним она кажется раем, «золотым веком», другие пытаются изобразить ее как позорное пятно на героическом пути латвийского пролетариата к коммунизму. Сегодня очень популярны публикации о Латвии тех времен, о ее месте в мире, об ее отношениях с зарубежными странами, о событиях лета 1940 года. Мы, поколение, родившееся и выросшее в атмосфере достижений социализма, с интересом прислушиваемся к свидетельствам людей, помнящих те времена. Вы скажете, что человеческая память не всегда объективна, она тщательней оберегает хорошее, нежели плохое.

Но интересно, что сказал бы о нас гражданин Латвийской Республики, если бы ему каким-нибудь фантастическим способом удалось повернуть колесо истории на пятьдесят лет вперед и

очутиться в советской действительности! Вы скажете, ситуация нереальна!

Оказывается, что не столь уж и нереальна, если вспомним, что двадцать лет подле латвийского государства простиралась великая Советская земля.

Такое путешествие в будущее в июле 1931 года в огромное восточное соседнее государство совершил гражданин Латвийской Республики Павилс Вилипс, в то время еще малоизвестный городской поэт, тонкий лирик любви. Поэт конспективно сделал свои заметки под впечатлением первых мимолетных впечатлений. В них чувствуется правдивость чувств автора. В заметках оказывается, что автора в советской действительности удивили такие вещи, которые нашему поколению кажутся сами собой разумеющиеся. Оказывается, гражданин Латвийской Республики был в затруднении, каким словом окрестить для нас столь будничное явление, как

очередь. Он выбрал название — хвосты.

Современного читателя в этих заметках удивляет и, можно сказать, даже шокирует восторженное отношение автора к советской действительности в то время, когда это не было данью духу официальной правящей идеологии. Возможно, что неудовлетворенность существующим в Латвии строем, тяга ко всему «новому» и прогрессивному, идеализм в толковании общественных процессов и привели к идеализации советского общества того времени не только П. Вилипса, но и вообще известную часть латышской интеллигенции в 30-е годы. И разве этот субъективный фактор — взгляды граждан, отношение к происходящему — не сыграли своей роли в судьбе государства летом 1940 года! Вопрос остается открытым.

АНДА ЦАТЛОКА

НЕСКОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКА В СВЯЗИ С ПОЕЗДКОЙ В СССР

26 июня в 13.35 отехали от Риги. Русский вагон третьего класса Рига—Москва. Станные ощущения охватывают отъезжающего в эту землю строительства коммунизма, какой второй в мире нет. Нас пытались отговорить туда ехать, так как зачастую в сознании граждан бытует мнение о ССРС¹ как о государстве, в котором ни один иностранный гражданин не может быть спокоен за свое благополучие, даже за свою жизнь. Земля ужасов, различных бесчинств и беспорядков. Но как бы то ни было, в странном упоминании и в обсуждении ошибки государства (существующей-вымышленной), соревнуются все капиталистические державы. И не только державы, но и отдельные граждане.

ССРС не только хулят. Слышны также голоса, которые его всей грудью защищают, восхваляют. Как для одних все плохо, что оттуда, так для других все хорошо. Поэтому нам еще интересней — все самим увидеть, удостовериться.

Час за часом едем через поля Латвии, через леса. Солнечно. Еще зелены хлебные поля. Во всем относительная скромность и достаток. Тяжкого хозяйственного кризиса, который неотвратимо близится к капиталистическим странам, нет и в помине. Всюду латышские лица, латышские крестьянские заботы. Кое-где заметны черты латвийских белорусов. Только проводник нашего вагона — русский — напоминает о цели нашей поездки. Какая большая разница между их и нашими латышскими проводниками. Простота в одежде, даже бедность, обувь изношена. Худое, изможденное лицо. Землистое. Это с одной стороны. С другой — хорошо, хотя бы в полпостере откормленные телеса. Хорошая одежда, обувь. Один живет на благополучной земле капитализма, другой в молодой стране строительства социализма. Один пользуется благами жизни в той мере, как их подбрасывают ему со стола капиталиста, второй надеется на тех, кто этот самый капитализм ликвидирует, меняет на другой порядок жизни.

Так мы едем в неизведанное, к невиданному. Километр за километром.

Около 20-ти переезжаем границу. Та же природа, те же равнины, та же флора. И все же что-то по-иному. Другая жизнь. Другая истина. «Товарищи, нет больше господ, теперь все товарищи!» — произносит кто-то рядом, зашедший уже в пределах советских границ на станции Бигосово, где на фасаде мы видели красную пятиконечную звезду — уже не как какую-то издевку в карикатурах, а в подлинной действительности. Через окна вагона наблюдаем за уплывающими видами. Деревни. Отдельные дома. Железнодорожные посты. Что-то по-другому, иначе. Но что? Может быть, это то, что к этим местам еще не прикоснулась культура? Порядок? Или бедность? Может быть, та разрушающая, вместо которой приходит новое? И действительно — о новом уже возвещает одна постройка — мы уже приближаемся к Москве. О новом возвещают также бес-

численные красные плакаты, полотнища, которые тем длиннее на станционных стенах, чем дальше от границы. Об улучшении транзита. О строительстве социализма. Против оппортунизма. Против вредителей. За коммунизм, за ударничество. За большевистские темпы в работе и т. д.

Около 22-х в наше купе, шатаясь, заходит русская старушка — с довольно таки большой поклажей. Оказывается, крестьянка.

По-русски простая, разговорчивая. Хотя сначала немного стеснительная. Около 60 лет. Едет в Москву — к своему сыну и дочери: рабочим. Сын — на заводе. Поездом едет впервые. Всю жизнь провела на своей земле. В борьбе за кусок хлеба. Ужиться с новыми порядками ей, кажется, трудно. И это понятно. Заговариваем о колхозах. Сдержанна, рассказывает, что правительство борется с кулаками, что их высылают в дальние края. В колхозы не принимают. Сама, видно, колхозы не поддерживает. У самой жизнь, наверное, не сладкая. Борется с нищетой и недоверием к нынешнему правительству. Она против всего нового. Хочет хозяйствовать по-старому — только для куса хлеба и не более. А правительство? — у него другие планы. Другие цели. Коллективизация. Советизация. Чтобы **всем** было хорошо, **одинаково хорошо**. Это можно понять, что выросшее за 60 лет чувство частной собственности так сильно. У деревенских оно сильнее, чем у других. От этого и острая борьба со стороны правительства и упорное, упрямое сопротивление, со стороны крестьян. Но, насколько можно понять, идея колхозов среди середняков (и таких крестьян — большинство) определенно начинает побеждать. Преимущества коллективного хозяйства при наличии сознательного персонала обязательно начинают сказываться на результатах самих хозяйств. Крестьянин результаты мероприятия хочет видеть уже в обозримом будущем — так же как наша старушка начала ожидать Москву и объяснять, что этот путь труден и далек, Москва тоже только через 17 часов.

Далее во время нашего пути не было никаких происшествий. Только наша попутчица не думает спать, хотя Москва так далеко. Она к тому же терпелива. Ждет. Возникает вопрос: присуща ли такая терпеливость всему русскому народу? Не ждет ли он так же мужественно свое богатое будущее?

В коридоре вагона русские лица. Серьезные. Таких мало в других странах. К утру вышел разговор с одним рабочим, по национальности евреем. Сознательный. В разговоре деловой. Информированный. Его послали с места работы на лечение на Кавказ. Профсоюз оплачивает дорогу. Санаторий бесплатно. Не замечательный ли это факт о стране рабочих и крестьян?

Начинает моросить. Небо заволакивается серыми облаками. Будет ли такой же неприветливой и серой эта земля, Москва?

Лицо Москвы

Наконец, около 17-ти, въезжаем в Москву. Погода прояснилась. Рижский вокзал. Сутолока. Благополучно со

¹ Прежняя аббревиатура названия Советского Союза на латышском языке.

своей поклажей добрались до выхода. Как быть дальше? Оказывается, что улица, на которой мы решили остановиться, очень далеко. (Ехать туда на трамвае, к тому же с чемоданами, довольно сложно. Автомобилей, автобусов не видно. Извозчики — с узкими высокими колясками — правда, выстроились у вокзала. Но о них нас уже предупредили. Могут все деньги проездить. Поэтому не берем.) Тут у одного столба — напротив станции — видим, люди выстраиваются в очередь. Подумали — собираются на какую-нибудь экскурсию. Но оказалось, что это место автобусной остановки. Вскоре он подъехал — высокий, неуклюжий, красный. Хвосты — как бы отзвуки времен революции. Потом увидел такие же хвосты и у магазинов, кооперативных районных закрытых распределителей, даже у киосков на уличных углах, где выдают овощи, фрукты. Позже выяснил — транспортные средства слишком загружены (п. трамваи) и для порядка — очереди. Не всегда. Продовольственные нормы ограничены. Получают продукты зачастую с опозданием. Поэтому тоже очереди. Но рассказывали немало случаев, когда очереди имели характер психоза. Взять все продукты, положенные по карточкам. Если тот же самый продукт по той же цене пустить на открытый рынок — зачастую не будет иметь спроса. Наблюдали странные очереди у маленьких столбиков, думали, как самим вперед продвинуться. Пробовали поймать какое-нибудь такси — такие все же есть. Но оказывается, что их очень мало. Нарасхват: еще загоня бегут навстречу, если пустое появляется поблизости. Нам тоже через $\frac{1}{2}$ часа удастся поймать двоих. Но оба отказываются ехать. Наверное, чтобы обратно не ехать порожняком. Наконец, через какой-то час счастливые сидим в такси, извилистым путем пересекаем Москву. Нам хорошо — и шоферу хорошо. Мы уже в первую поездку видим Москву. Шофер — больше зарабатал (около 6 рублей, за обратную дорогу получив 3,5 руб.).

Москва. Москва — большой и старый город. Около трех миллионов жителей. Много узких, кривых улочек. Много пыли древности. С первого взгляда, нет модных прямых линий. Нет впечатления метрополий Западной Европы. Что-то азиатское. Кажется, также довольно грязно. Дома в основном неухаженные. Еще, наверное, не хватает достаточно средств. Внешнего блеска, как в других странах, — никакого. Как уже сказал, порядок и симметрию улиц разглядеть трудно. Вертикальной симметрии тоже нет. Высокие дома чередуются с маленькими, двух-трехэтажными, церкви. Много различных наслоений — словно большой, исторический рельеф столетий. Такова Москва с одной стороны. Но у нее есть и вторая сторона — и это самое странное. Второе лицо Москвы — вторая ее природа — это ее модернизм. Я умышленно избегаю говорить, что он подобен западноевропейскому, так как этим я бы не выразил всего, что позитивно в Москве.

Автомобилей в Москве мало, но зато трамвайное движение очень оживленное — в составе по 2—3 больших вагона. Линий множество. Вечно переполнены — до последнего. Движение, чудовищный ритм работы. Улицы в центре и, глядишь, в более укромных местах одна за другой закатаны асфальтом. Гладкие. Чистые. И прямые. Широкие. Самые гладкие дороги новой строящейся жизни. На перекрестках по 3 светофора и регулировщики, которым строго следуют. На перекрестках трамвайных линий — специальные работники — женщины, которые регулируют рельсы, чтобы водителям самим не нужно было передвигать рельсы и не задерживался бы ход трамвая. Для пешеходов — указатели об опасных местах для пересечения улиц. На улицах, бульварах, в парках — неисчислимое количество мусорников для окурков. И действительно — таких чистых бульваров и парков... часто не увидишь. Бульвары. Они еще не очень ухожены. Многие кажутся все еще истоптанными во время бури великой революции, — без дорожек, не взрыхленные, — источники клубов пыли. Но и над этим уже работают. Возникает — понемногу — много насаждений. В русском стиле, с использованием орнамента (!) по-

сажены цветы. Так в наши дни в славное место с насаждениями превратилась площадь Сухаревского рынка. Парки. Их в самой Москве и Подмосковье много. Всюду — насколько позволяет территория и ситуация — отличный порядок. Ведь они, в основном, предназначены для отдыха правящего класса — рабочих. Для этого делается все возможное.

Теперь о домах. Это они более всего характерны московскому модернизму. В других странах если и есть такие дома, то очень мало. Железобетон. Американская техника строительства. Строительные леса внутри. Прямые линии. Прямоугольники. Квадраты. Все — в конструктивистском стиле. Много окон — для солнца, света. Эти дома уже с самого начала удивляют своей суровостью. Позже вы сживаетесь с ними. Они вам начинают нравиться. Они являются отзвуками великих целей и замыслов. Сохранится ли этот стиль и в будущем — трудно предугадать. Очевидно, по мере развития общества и его целей, будет развиваться дальше и этот стиль. Но суть останется той же — строгость, деловитость, строительное — конструктивистское.

И таких модных домов нового современного стиля появилось в Москве уже немало. Они как бы вступили в борьбу со старой патриархальной Москвой — княжеской и царской Метрополией. И кажется, в лице Москвы можно узреть жизнь и пути всего русского народа. От хаотично разбросанных сокровищ характера — через новое социалистическое строительство к небывалому — порядку, серьезности, самостоятельности. Старая закваска еще до конца не перебродила, но течения новой жизни ее разбавляют и стремятся унести ее насовсем. Удастся? — Обязательно. Это не легко. В ходе революции сравнительно легко можно изменить внешние условия. Но психологию изменить трудно. Старую надо изжить, чтобы новая победила окончательно. Как в лице Москвы проявляются новые черты, так же и в русском приживается новая психология. Медленно, понемногу — но прочно.

Еще раз окинем взглядом всю Москву. В Малом Гнездиновском переулке находится советский московский дом в 10 этажей, четвертый по счету (8-этажных в Москве уже довольно много). Над 10-м этажом — на крыше — обзорная площадка. Раньше тут был кафе-ресторан. Вся Москва лежит перед нами. Красно-коричневая. Крыши. И купола церквей. Их очень много. Раньше было около 340. Теперь около 300. Многие мешали современному передвижению транспорта — и их снесли...

Где-то вдалеке водонапорные башни. Две толстые, рядом. Утоляют жажду Москвы. Хотя летом раздобыть в Москве холодную воду довольно-таки трудно. Нагревается. Не охлаждают. К тому же некипяченую пить нельзя. Опасно.

Видно также несколько зданий учреждений. Куда-то убегает Москва-река. Высокие башни радиостанций, постоянно напоминающие миру о Москве и стране красных, о которой, только подумав, вздрагивает иная капиталистическая держава. Долго можно так сидеть и с высоты этой крыши смотреть на бледно-алые пересекающиеся линии домов — и думать, размышлять об их судьбах, прошлых, настоящих и будущих. О бурях, их затронувших, и которые еще нагрянут. О великих переменах, которые еще совершатся. Может быть, в будущем кто-то также бросит взгляд на Москву с подобной, только намного большей высоты, на заново созданную Москву и почувствует, что сердце мира — сильное и могучее, чтобы суметь поддерживать и задавать темп всей жизни. Справедливость, равенство — и труд для всех, — хлеб для всех — тот, кто способен его производить, должен быть сильнее других.

С надеждами и с известной долей сомнений спускаемся на землю, в жизнь с высокого наблюдательного пункта. В социалистическую трудовую жизнь Москвы.

Дневник хранится в ЦГАОР Латвийской ССР, 519 фонд, 2 опись, 87 дело.



ХУДОЖНИК, КОТОРОГО ЗНАЛИ ВСЕ...

«Изображение прошлого и будущего в живописи не верно. Ей принадлежит только настоящее. (...) та живопись, которая идет от литературы или критицизма, несчастная, так как она без модели.»

У нас пять чувств: слух, зрение, осязание, нюх и вкус. Футуристы говорят, что они рисуют так, как можно слышать. Можно ли сказать, что слепой может видеть или глухой слышать?»

*Волдемарс Ирбе,
«Почему у человека появляется зло
от человека», 1925*

Признано, что Волдемарс Ирбе — зачинатель латышской пастельной живописи. Однако почти незатронутой осталась другая сторона его творчества — философствования и писания. Более известна только самая обширная его работа — автобиография «Из моей жизни» (1928), которая использована почти во всех статьях об этом чуде.

Если порыться в библиотечных каталогах и указателях, в учебной лаборатории истории латышского искусства Латвийской Академии художеств и в частных собраниях, выясняется, что Волдемарс Ирбе обращался к писательству довольно основательно. Фактически, с 1925 года, когда вышла первая его датированная книжка, до 1929 года, когда издана последняя известная работа, автором выпущено по меньшей мере 13 работ: тоненьких (отдельные двусторонние листки) либо потолще (более десяти небольших листков). Первые издания представляли собой тексты речей, с которыми Волдемарс Ирбе в конце весны и осенью 1925 года выступал в Рижском Латышском обществе и на собственной выставке в мастерской. В последующие годы автор продавал их на рынке, так же как другие торговцы свои товары. Трудно судить об их распространении. Тираж известен только в одном случае — «Подсознание» напечатано в фантастическом для тех времен количестве 3000 экземпляров. Издания часто дополнялись фотопортретом автора, репродукциями его работ либо других, соответствующих теме произведений искусства. И почти каждое заканчивалось напоминанием и приглашением:

«Выставка рисунков В. Ирбе открыта по средам и воскресеньям с 12 до 3 час., ул. Бривибас № 103».

Взяться за писание и издание Ирбе побуждала как возможность высказаться о своих открытиях, так и заинтересовать своим искусством, а также, может быть, и заработать сантим-другой, продав их.

По жанру эти брошюры можно определить как этико-эстетико-психологические этюды, форма изложения которых близка проповеди. Во введении заявлена разбираемая тема, которая на основе большого количества неожиданно соединенных историй (пережитых, прочитанных, услышанных) с небольшими включениями рассуждений приведена к конечным выводам, которые, вопреки противоречиям жизни, побуждают сопротивляться им, ведя приемлемый для себя образ жизни. Написанному Ирбе присущ нервный ритм; предложения оборваны, примеры уплотнены. Каждому рассматриваемому явлению Волдемарс Ирбе дает оценку — хорошо оно или плохо. Для него характерно мышление противопоставлениями, нередко они заявлены уже в названиях, таких как «Магазины и банкроты», «О внутреннем и внешнем». В размышлениях Ирбе существенное значение имеют результаты взаимодействия двух причин или объектов, что он называл «третьим».

В этих изданиях чувствуется тоска взрослого человека об утраченном детстве, неспособность сель-

ского человека прижиться в городе. Ирбе защищает право художника на отличающийся образ жизни, уверяет, что искусство родственно игре, он обосновывает свою деятельность на улицах Риги, считая, что ему подходит только рисование с натуры, что присутствия художника модель, действительно, не должна замечать.

Написанное Волдемаром Ирбе можно читать, или специально интересуясь легендарным рижским художником эпохи между двумя войнами, или совсем просто, углубляясь в более или менее сформулированные размышления своеобразной личности.

«Люди, которые занимаются науками и искусствами, не способны понять тех будничных людей, которые весь свой заработок жертвуют на одежду и пропитание. Но есть и такие люди, которые как на чудачков смотрят на тех, кто всю жизнь ходит в порванном пальто, мечтает о невоплощенных идеалах и стремится их воплотить».

Волдемарс Ирбе,
«Мгновение и привычка»,
1929

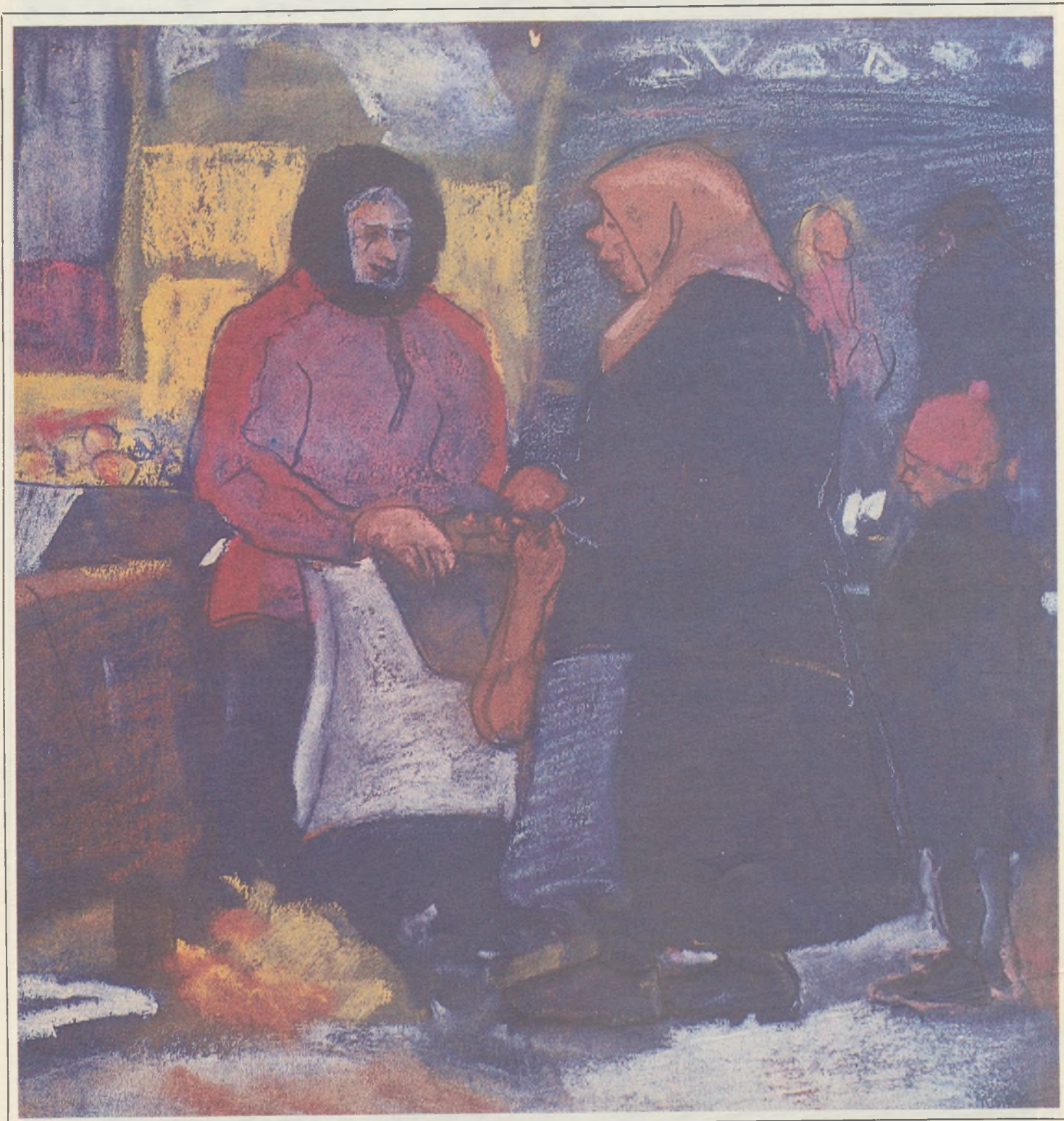
Волдемарс Ирбе (для рижан привычнее ласковое имя Ирбите *) — одна из самых необычных фигур в латышском искусстве, а также — неперенный акцент художественной жизни и быта Риги 20—30-х годов. Известно, что он родился в Беяве 13 ноября 1893 года, что отец его был маляром-альфрейшиком, что он учился у А. Циммерманиса, Б. Дзениса, Ю. Мадерниекса, что с началом первой мировой войны он ушел в православный монастырь, позднее разделил участь беженцев, в 1916 году вернулся в Ригу, где держался особняком. Устроил несколько выставок своих работ. Внешний вид и манера поведения Ирбите были необычными. Всегда босиком, оборванная одежда, свалывшаяся борода, сутулая фигура. Перемещался как будто рысцой. Часто его могли видеть рисующим в центре Риги, но еще чаще — на улочках городских окраин, в лугах или на рынках. Готовые работы тут же на месте Ирбите продавал за пару десятков сантимов **. Нелепой — случайный осколок снаряда во время боя за Ригу 10 окт. 1944 года — была его смерть.

Для публикации на русском языке выбраны две работы. «О живописи» (1926) как компактное обобщение взглядов Ирбе на искусство и последняя известная печатная работа Волдемара Ирбе, — также одна из наиболее концентрированных в изложении — «Мгновение и привычка» (1929).

ЯНИС КАЛНАЧС

* Ирбите — в пер. с латыш. куропаточка.

** Сантим — мелкая монета.



НА РЫНКЕ

Фоторепродукции МАРЫ БРАШМАНЕ

ВОЛДЕМАРС ИРБЕ О ЖИВОПИСИ

Что же мне сказать о живописи? Это такая работа, как уже сказал немецкий художник Дюрер, когда он ездил к правителю за поддержкой. Как бы счастлив он был, если был бы еще ребенком, если был бы всем обеспечен. В наше время, когда я смотрю на своих ближних, как тяжело люди зарабатывают хлеб насущный, как тетюшка, тянущая тяжелую тележку у вокзала, старается, тогда я могу сказать о себе, что моя работа, как детская, легка. Ну что же мне об этой живописи вообще сказать? В сущности, это рисование начинается уже с малых лет. Уже ребенок проводит по песку какие-то линии и круги. Пока существует мир, существует и живопись. Даже если мы посмотрим у древних египтян, которые не знали перспективу правильную для рисования. И в настоящее время у нас существует живопись, начиная с начальной школы и кончая высшей школой и академией. И мы тоже видим различные направления. Направления существуют разные. Есть и такие направления, которые не схожи с природой, как, например, старые бабушки и девушки на своих одеждах, варежках и носках делали разные орнаменты, как звездочки и хвосты. Но существует и живопись на холсте или бумаге, где художник стремится изобразить свои вымыслы или сказки или даже религиозные картины. Теперь же, когда мы видели так много направлений, хочу сам у себя спросить, по какой же дороге я иду, если у меня самого выставка рисунков. Так значит, я хочу, чтобы другие видели, по какому же направлению в искусстве я иду.

Теперь я хочу сказать, что в искусстве в настоящее время признаётся то направление искусства правильным, которое возникло из незнания реальной природы и предмета.

Незнание модели можно представить так. Художник, который одно, и тот предмет, который он выбрал, будет вторым*, и когда модели никто не сказал, что ее рисуют. Какой бы ни был этот предмет. Хотя бы на рынке некий вид из жизни рынка, или из домашней жизни, или же из сельских либо городских обрядов. Разумеется, пока он к этому придет, ему нужна школа или какой-то счастливый случай, где он может получить и без школы необходимые знания. Мне вспомнилось, что однажды доцент, скульптор г-н Дзенис учил в школе, что величайший художник Испании сначала участвовал в боях быков в цирке. Потом в какой-то трагедии потерял обе ноги, и с того времени он начал писать и стал знаменитым художником. Как это было в прошлом, так это есть в настоящем и так это будет в будущем. Та или иная жизнь человека будет сформирована им самим или его ближними. Так что по поводу рисования можно сказать, что немного это непонятно; те, кто занимаются маленькими детьми, если разрешают рисовать домик из головы, то он должен выглядеть точно так, как в натуре. Так же, если кто хочет учиться играть на фортепиано, или учит буквы и цифры, они свою форму никогда не меняют.

Что же вообще дает живопись? Она украшает человеческую душу, его эстетические чувства. Это вытекает, исходит из самих художников и переходит на других индивидов. Как пример я дам некоторую сцену, где один художник шел на дуэль с неким господином. Этот господин выстрелил в него два раза, желая его убить, но когда художник стал целиться, он стал смотреть на красивые линии рук, не смог их калечить и сказал, чтобы тот шел домой. Так

* Упоминание «одного» и «второго» связано с теорией Ирбе о том, что он называет «третьим» — это итог или возбудитель взаимодействия двух каких-либо объектов или причин.

«В конце концов, что нас спасает от третьего? От третьего нас спасает работа, это будет одно, и подлинная религия, которая была у матери Индронов, такая, которая может жертвовать всем ради человека. Человека тянет к вещам, но это не подлинное, только любовь матери Индронов подлинная».

«Почему у человека появляется зло от человека», 1925 год.

пусть же и в дом войдет та святость от самой матери, чтобы она могла сказать своему дитяте то слово истины рисования, чтобы он взял тот предмет, который видят его глаза, будь это в комнате или снаружи, какой-нибудь дяденька или тетенька, и, пока они разговаривают, пусть ребенок рисует и пусть следит тем временем; карандашом или краской набросав рисунок, и, если они закончили разговор, то пусть заканчивает рисовать и ничего не исправляет...

Следующие такие случайные рисунки нарисованы мной (11 репродукций рисунков углем и 3 пастелей. — Я. К.)

Теперь мне надо говорить об озорстве рисования, даже о его бловстве. Почему это так? Почему другие все должности серьезные, например, священники, врачи, лавочники и все другие. Но, по правде говоря, рисовальщик подвержен всю жизнь влиянию этого бловства и несерьезности, которое обычно у других людей проявляется до двадцати лет. Как в настоящее время профессор Штейнбах старается прожить человеческую жизнь, беря на помощь озорство молодости. Так же и художник, тоже беря из жизни красивые виды, оживляет дух. Мне самому приходится сказать: если мои сограждане, господа и дамы, надели бы по две пары носков, башмаки, теплые сапоги и галоши и все-таки, может быть, мерзли бы. Но, если на меня снизойдет дух рисования, то я могу ходить босиком. Если мы посмотрим на те времена, когда людей в одежде из овечьей шкуры бросали диким зверям и пилами пилили, и все же они не отступили от той идеи или духа. Что для других пустяк, то для себя большая радость (<...>)

Мне приходится говорить, чтобы Бог дал взаимопонимание, и как раз я хотел сказать, как много раз я писал об этом третьем, а теперь я опять хочу повторить. Прямо в этом городе, где мы живем, непременно приходится сталкиваться каждый день с неприятностями. (Если на человека прямо наезжают.) Тогда я хотел бы сказать: пусть же он ищет это третье, что его защищает, это третье может быть хорошим, но и плохим в данное время, это третье составляет большую часть зла, и как говорит Гёте: таких людей, которые сочувствуют в горе, очень много, но тех, кто в радости вместе радуется, очень мало. Как и Будда выражался, что музыка, живопись не составляют полного счастья человека, что тишина нирваны, покой — это самое главное.

1926 год

МГНОВЕНИЕ И ПРИВЫЧКА

Человек всегда находился между мгновением и привычкой, как между двумя сторонами. Уже в древние времена привычки приносили миру и пользу, и вред. То же самое и теперь. Напр., если я посмотрю на свою работу. Моя сиюминутная работа, которая была сделана — это выставка, которая находится по улице Бривибас, № 103, основана тоже на сиюминутном замысле. Вначале я задумал организовать разовую выставку на короткий срок; теперь, напротив, держу ее постоянно. Если я посмотрю, какой большой труд я вложил в обрамление и составление, то увижу, что некоторые работы совершенно лишние. Если бы я с самого начала был такой умный, как теперь, то потратил бы гораздо меньше денег и сэкономил бы свою энергию, получил бы пользу. Вреда, я, конечно, никакого не сделал. Но есть и такие примеры, когда, как читаем в газетах, изобретают смертельные газы и страшные военные средства, которые уничтожают народы. И здесь зарождение этих идей — одно-единственное мгновение, а действие и его последствия — реально ощутимы. Говорят, что эти газы уничтожают все живое на километры вокруг. Нам не стоит об этом говорить, если вспомним недавнее прошлое, лет 10 тому назад. В жизни мы ежедневно наталкиваемся на крупнейшие неприятности, в равной степени те, кому было дано больше всего материальных и духовных благ, и те, у кого ничего нет.

Обычно говорят, что учение вождей не соответствует их образу жизни, такое особенно говорят о политических руководителей. Ему бы ходить в синей блузе, сидеть у кипящего котла или рубанка, тогда бы он свою идею воплотил. Говорят, что они проповедуют братство, а самим жизнь подарила больше богатства, больше имущества, так что другим остается только рот разинуть. О нашей эпохе мож-



но сказать, что старое она уже разрушила, а нового еще не построила. Молодой человек, который завоевал небо, не завоевал постоянной жизни на земле. Умники строят новый мир и уничтожают все старое, но если они не способны и не могут дать новое, то за это всем приходится страдать. Так же, как мы требуем, чтобы пекарь пек хороший хлеб, сапожник делал прочную обувь, так же от вождя народа надо требовать, чтобы его правление было добрым и честным. Мысли вождя — это только мысли, это еще не реализованные добрые дела, которые приносят в жизнь удовлетворение и благодать. Какого-то папу тоже считали безупречным человеком, который делает святое дело, но через века видно, что это святое дело полно ужаса, даже преступно. Если мгновение и последующее обыкновение становятся святыней, тогда человек говорит: «На том стою и не могу иначе». Выходит, так же как у того факира, которому не даны были возможности построить храм, он заупрямился и стоял на голове, пока руки не отсохли. Иногда мы ставим правильную цель, но иногда хотим невозможные вещи. Мысли великих людей не всегда совпадают с истиной. Если посмотреть на большого мыслителя Толстого, то я не могу согласиться с его мыслью, что священник не работает. Может, правда, что русский священник слишком много хочет воскресенье справлять, отвлекая людей от работы, но в целом все же священник подчинен духовному труду. Если он венчается, отпевает или крестит, то он делает некую работу, так же как актер. Ничего удивительного, что появляются такие писатели, как Горький, и даже целое направление, к которому присоединяется целый народ, который думает, что придет таки избавитель. В жизни же остаются те самые стремления, которые перед тем уничтожались. Если бы у кого-нибудь была возможность показать типы современной эпохи, как Каудзите Матисс сделал во «Временах землемеров», то все-таки пришлось бы признать, что большинство тянется в сторону старого, например, Шваукстс *. Когда Пиетука Крустиньш ** употреблял умные и смешные, непонятные слова, то он говорил, что они нужны для украшения языка. Кто же теперь занимает это место «украшателя» языка? Мы переживаем чудо-времена техники, с каждым днем прибавляются новые изобретения: воздухоплавание, мотоциклы и т. д. Мы по большей части бывшие земледельцы — работники и хозяева. Теперь большая часть хочет быть ученой, старается понять то, что раньше было понятно только графам. Только граф мог раньше писать картины и играть музыку. Теперь и у нас, латышей, возросла тяга к искусству, в консерваторию, в академию. Женщины обратились к старым народным сактам *** и юбкам, это вошло в обычай для дам высшего сословия. Хотя мы своими обычаями и обидели людей других национальностей, это все же должно было случиться, чтобы не подавить латышское народное сознание. Наши обычаи хороши, что доказываются и трудами писателей, и в земледелии, промышленности, и на других хороших путях. Если мы взглянем на современные обычаи, например, если я посмотрю на себя, я не стану говорить о своей одежде, но я думаю о своей работе. Я держу выставку, может быть я в своих мыслях хочу дать нечто хорошее, чтобы найти зрителей, чтобы показать им, что так тоже можно проводить время. Само искусство рисования либо моментально, либо воспитано.

Есть мастера, скульпторы, которые всю жизнь верны своему камню; есть мастера, которые остаются верны видам природы — пейзажам; есть мастера, которые остаются верны орнаменту, и т. д. Когда я держу свою выставку, то я думаю, что я — только продолжатель этой работы. Для меня играет роль и переходная эпоха. Временами я рисовал только людей. Но потом был случай. В одном ресторане, куда я вошел с картинками, сидел в тихом углу один господин. Спрашиваю, почему он выискал место потише. Он стал рассказывать, что он с последнего курса академии и что

его внутренняя потребность — оторваться от людей, искать лесную тишину. Люди по своей сути злы, и единственное свое воскрешение он находит в природе. Он и писать людей не любил (он был пейзажист). Эти слова произвели на меня впечатление, и целый вечер я рисовал только пейзажи, хотя высоко ставлю и не думаю никогда бросать и изображать людей.

Какое значение имеют мгновение и привычка, мы видим из следующего случая. Недавно мы читали в газетах о случае, как человек, который 25 лет провел в Америке, едет через океан в Латвию. И как говорят иные, — он, может быть, всю жизнь был один, копил деньги, но такой радости, которую можно поведать человеку, он не нашел, этому он не научился. И тут посреди океана у него помрачилось сознание, он прыгнул в океан и погиб. Может быть, если бы он приехал, нашел бы здесь счастье.

Когда я иду мимо воды, я тоже долго не смотрю. Однажды, когда я был в Петрограде, я стоял на мосту над Невой целых полчаса, и меня так страшно тянуло в воду. Я долго размышлял, и все-таки я этого не сделал. И теперь я держу от воды и от мостов подальше: Бог меня упаси долго задерживаться в таких местах.

У нас много кружков, много высших учебных заведений, где нас учат хорошему либо в культуре, либо в строго религиозном духе. Так образовалась «армия спасения», которая зимой предоставляет питание, что человеку больше всего необходимо. Это же хорошее дело. Но кому многое дано, с того много и спросится. Хотелось бы, чтобы армия спасения была такой силой, и чтобы летом у нее колыхались широкие нивы, а люди, которые зимой находят у нее помощь, приложили бы к своим нивам свои руки, чтобы появилась такая сила, которая их вдохновит, чтобы летом не сидеть без дела на солнышке. Мы горячо изъясляем свою веру на словах и на деле, но значение имеют как раз дела, а не только слова. Тогда и другие видят силу веры, которая в нас появляется. Силу веры мы просто испрашиваем, даже с сиюминутными мыслями. Иногда мы видим, что умные и образованные люди, размышляя, зажимают глаза, чтобы не видеть окружающего, чтобы можно было всего себя сконцентрировать на одной мысли. Многие меня упрекают, что моя мысль не связывается, говоря: «Если ты говоришь об одном, то сделай, чтобы было гладко; переходя к другому, соединяй, как вагоны поезда, тогда будет хорошо, но не делай скачков, когда ты говоришь, и все же ничего не высказываешь». Это правда, ибо читателю нужно знать, что писатель замыслил этим сказать. Особенно теперь, когда у нас нет недостатка в писании: у нас есть научные статьи, художественная литература, газеты разных партий, — а таких у нас — слава Богу.

Хотел еще указать, заметить, что между мгновением и обычаем формируется стиль. Стиль — это то, что выражает художественный вкус и занятия одного народа. Если мы покажем кусок японской ткани или произведение искусства, каждый скажет, что это японское. Если мы увидим латышский орнамент, то мы его тоже сразу узнаем. Иные стили, может быть, различит только очень ученый. Если взглянуть на стулья, сделанные в стиле Мадерниекса, то надо думать, и те, кто эти стулья заказал, и те, кто их создал, подходят к своему делу с величайшей верой в то, что работа будет выражать этот стиль. Каждый труд тяжел и требует больших жертв от окружающих. Возможно, есть ошибки, возможно, та или иная вещь не удовлетворяет этим требованиям, все же нам надо идти вперед. Здесь требуются большие силы. Каждый из нас как бы подвержен формированию мгновенной привычки.

Один великий оперный певец прежде работал в Рижском новом театре, на улице Романова. Тогда он был актером. Декоратор Куга слышал, как он играл в «Юдифи», слышал его сильный голос. Уже тогда он сказал, что тому надо учиться петь и что из него выйдет хороший певец. Это был Адолфс Кактиньш. Такие моменты мы можем видеть у одного, у другого. Если кто-то выучился на врача, инженера или священника, но если он еще не получил места, его нельзя принимать всерьез. Но если у него есть место, то у него сиюминутное переходит в наклонность — он

* Персонаж романа бр. Каудзите «Времена землемеров».

** То же.

*** Сакта — брошь, деталь национального костюма.



ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ



ОКРАИНА



ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

известен и уважаем. Эти наклонности — хорошие. Надо только сказать, что боже нас упаси от плохих наклонностей, к воровству, грабежу и т. д. Иногда маленький ребенок делает это несознательно — берет что-нибудь. Но если берет взрослый, то он присваивает собственность другого. С его точки зрения это ничего, но по мнению общества это большое зло.

На состоявшихся теперь выборах мы ярче всего можем наблюдать. Моментально появились брошюры, но мы видели и наклонности, каждый выдвигает свои. Одна группа написала в воззвании, что этим «художникам» не дадим пособий из Фонда культуры. Я думаю, что если художник — настоящий труженик, то его работа имеет свои трудности. Когда нам дают хлеб, мы не можем говорить: «Фу, я не возьму». В повседневной жизни мы этого не видим. Такие слова во вред той части людей, которая так делает.

Священники говорят, что: «Возлюби Бога и своего ближнего, как самого себя». Я спросил, как себя вести, если другой взял вещь, которую я сам люблю. Он ответил, что значит тот хочет, чтобы его любили больше, чем самого себя.

В газетах много пишут про польского монаха Ковальского. Монастырь я понимаю как защиту от истинной, реальной брачной жизни. Монастырь рушит реальную жизнь, давая вместо нее «эрзац». Здесь у монахинь появляется удовлетворение их реальной любви у образа Господня. Мои взгляды говорят в пользу этих монастырей только потому, что, пока будет существовать монастырь, всегда найдутся люди, которые будут бежать от реальной брачной жизни. Искусство тоже в каком-то смысле бегство от реальности. Рембрандт где-то сказал, что тому, кто хочет быть великим мастером-живописцем, надо быть блаженным.

Иногда наши склонности производят на общество комическое впечатление. У меня выставка; я слежу за музыкой, что в сущности может себе позволить только богатый человек или какой-нибудь домохозяин. Если бедный человек, которому и так надо зарабатывать на жилье и на хлеб, берет себе на плечи тяжелую ношу и хочет ее одолеть, он может устать. Таких усталых и сломленных много в жизни.

Недавно я был на шведской художественной выставке. Там тоже мы могли наблюдать примеры из минутного и привычного. Скульптор по дереву Петерсон выставил там группы фигур в дереве; среди них была картинка из сельской жизни (...). Скульптор взял это с натуры и с известным успехом дал что-то такое, что останется. Мое внутреннее желание было набросать этот вид, но мой минутный замысел заставил рисовать картину венчания и крещения, ибо церковь близко от моей выставки. Я думаю, что многим понравится это изображение крещения и венчания. Так как это была резьба по дереву, то я думаю, что это можно рисовать, как объект. Но когда мне нужно было реализовать эту работу, мой мгновенный замысел оказался ошибочным, так как директор Юрьянс сказал: «У вас у самого выставка, и вы не понимаете, каково вам будет, если ваши картины захотят копировать без разрешения». Я до сих пор этого не понимаю, так как есть разница между картиной и скульптурой из дерева, и я думаю, что деревянные скульптуры можно рисовать.

Ходит один рассказ о сельском докторе и крестьянине. Действительно, каждому из нас нравятся цыплята и масло. Докторша платила крестьянке за эти продукты старыми шляпками и бантиками своих детей. Но в волости это обыкновение признали для крестьянки плохим, иные стали ее высмеивать, что ее дочка пасет коров, нарядившись в шляпку и бантики — могла бы и постолами обойтись.

Таких общественных примеров в жизни много. У иных обыкновение становится уже преступлением. Некий зажиточный крестьянин, который через год собирался идти пригласиться, еще перед этим идет к чужим стогам воровать.

Нечего далеко ходить за примером. И у меня, может быть, есть плохое обыкновение, ставшее таким со временем. Я отложил 27.000 книг * на старость, но и сейчас уже мои обстоятельства тяжелые, — я задолжал одному и другому, но еще не отдал. И даже если бы я хотел, все-таки какой-то «внутренний властитель» сопротивляется, и я не в состоянии их продать. Ибо мне представляется, что если я эти книги продам, то моя жизнь укоротится. Но что срабатывает в этом мгновенном первоотличке человека?

Я немецкого языка не знаю, и поэтому Шопенгауэра в оригинале читать не могу, но у него есть книга «Мир и

перводвигатель». Может быть, в ней философ размышлял об этом вопросе.

Издавая эту книгу, я все же хотел бы получить и на пропитание, и немного денег.

В жизни есть 2 рода работ. Один, который всегда остается солидным, например, труд плотника. Сказано, что Иосиф тоже был плотником. Плотник подчинен твердому долоту, серьезной работе, — здесь нет никаких спекуляций. Таких работ много. В духовной работе мы все-таки подвержены возможности использования другого. В жизни кто-то остается весь век для пользования, пока другой весь век пользуется.

Иногда и момент бывает помехой. Одному из нас он приносит пользу, но другому — нет. Некий замысел мы уже заранее обдумали, как пойдет, как будет. Это будет мне на пользу. Но приходит другой, с успешной сиюминутной деятельностью и делает дело по-своему, не считаясь с упомянутым замыслом. И это для первого — во вред.

Скажем, мы задумали куда-то идти, и тут приходит кто-нибудь и ласково приглашает к себе. Идя туда и забыв о первом, мы теряем.

Меня однажды некто спрашивает: «Не продаешь ли ты, Ирбите, книги?» Я сказал, да. Поставил уже корзину на землю, — тут он снова спрашивает: «Ирбите, рисуешь ли ты?» — тогда я понял, что этот человек меня обманывает.

Раньше, мы знаем это из истории, рост человека для живописи измерялся дюймами. Теперь в искусстве — в скульптуре и живописи — ведущую роль завоевало чудо, как будто модель не знает, что ее рисуют. Когда я рисую людей для выставки, то милее мне всегда те, которые беседуют, а не позируют.

Иногда удивляются, что ген. Суворов мог перевести войска через чертовы горы. В жизни устроено так, что если мы исполняем заранее намеченное, то мы увидим плоды своего труда. Естественно, мы подчинены обстоятельствам. Однажды я хотел фотографировать свою выставку, — чтобы потом изготовить клише и издать в книге. Начал уже располагать картины на известном расстоянии, но из всего замысла ничего не вышло, так как обстоятельства не позволили полностью упорядочить, надо было зарабатывать на хлеб.

Обычно мы едим за столом, но если обстоятельства вынуждают, то, как странники, едим в лесу, или как беженцы в войну — на полу.

Скажем так — если минутную склонность направляем на добро, и если мы ее воплотим, тогда она хороша. Но если склонность направлена ко злу, то она и принесет зло. Иногда говорят о долге — «что мне за дело до отдачи». Но, если он однажды не отдаст, то он почувствует по себе и по ближнему, что он совершил зло. Если он отдал и исполнил, он становится счастливым.

Делая долги, мы вместе с тем обещаем в определенное время отдать, но иногда совсем не отдаем. Но это относится не только к долгам. Если я вижу что-то, я хочу все, целое, — безразлично, будь это какая-то вещь или возможность. Но это уже наша ошибка, что мы не можем совершить так, как задумали, всегда не хватает одной какой-либо части.

Мгновение есть действие каждой новой мысли к добру или ко злу. Если столяру надо изготовить стол, то он не возьмется за работу наудачу, но его будет учить долгий опыт.

В латышских сказках есть история о крестьянине и его счастье. Однажды к крестьянину, который в тот момент ужинал, пришло счастье. Счастье спросило у крестьянина, чего он желает. Крестьянин поспешно ответил: «Чтобы на плите всю жизнь шипела колбаса». Второе его желание было, чтобы у жены колбаса висела на носу. Третье его желание было, чтобы снять колбасу с носа. Тут счастье говорит: «Три вещи я тебе позволило выбрать. Но раз ты выбрал так неразумно, ты не получишь ничего. До свиданья!» Ведь в жизни мы, люди, сами кузнецы своего счастья. Еще пару слов о событиях дня. Однажды в какой-то газете появилось замечание, что собор * со всем своим звоном оставляет плохое впечатление, рождает отвращение. Другие, напротив, говорят — это вопрос нашей жизни. Мое убеждение, что ту сумму, которая будет выделена на разрушение, лучше использовать — на золочение куполов. Или же, как это было недавно — уличные беспорядки из-за того, что закрыли рабочие организации. Для человечества это все-таки мелочь. Гораздо важнее, если у нас не хватает продуктов. Но нужно все же позволить каждому остаться. 1929 г.

Перевод АЛЕКСАНДРЫ РОЩИНОЙ

В конце восьмидесятых

Разговор о художественной ситуации — Евгений Барабанов
(искусствовед, доктор Тюбингенского ун-та, ФРГ),
Георгий Кизевальтер (художник), Виктор Мизиано
(канд. искусствоведения), Владимир Мироненко (художник).

Георгий Кизевальтер: В качестве отправной точки нашего разговора можно взять утверждение, что с 60-х до середины 80-х годов здесь была многогранная, богатая талантами, хотя и немного провинциальная, замкнутая сама на себя и потому гуманоцентричная, неофициальная художественная ситуация. С социальной точки зрения ее эволюцию можно разделить на два этапа: до 1975 г. — это практически абсолютно подпольный мир, и после 1975 г. — полуподпольный. И вот в 1986 г. подводная лодка советского андерграунда, обросшая ракушками «духовки» и «нетленки», всплывает на поверхность и резко меняет курс — в сторону западного рынка. Вследствие этого сильно меняется и мироощущение нашего круга, и его положение в обществе, и его образ жизни. Русские художники едут на Запад устраивать свои выставки, причем едут они с самоощущением и интенциями лимонковского «национального героя» — завоевывать западный художественный мир. Там они действительно встречаются с большим интересом, но это интерес к искусству «аборигенов» огромной и почти неведомой ранее страны, т. е. этнографического характера! И возвращаются они, быть может, и разбогатев, но в очень смятенных чувствах; некоторые — попросту недовольные, выдохшиеся, обиженные. Можно употребить такую метафору, что их «лишили девственности», но ничего особенного за это не дали. И, перефразируя Бердяева, я сказал бы, что женственная природа русского искусства оказалась изнасилована чуждым мужественным началом западного рынка.

Владимир Мироненко: В самом деле, многие художники, начавшие работу задолго до перестройки, негативно оценивают разрастающиеся связи с западным рынком и ностальгически мечтают восстановить ушедшую ситуацию. Я же разделяю точку зрения, что такой ход развития можно считать нормальным и неизбежным. Это не исключает признания, что рынок таит в себе известную опасность. Более того, если раньше для художников основная угроза исходила со стороны властей, в частности КГБ, то сейчас «враг» — западный рынок. Неизвестно, что страшнее и сильнее.

Виктор Мизиано: И удивительно, как некоторые, в самых экстремальных условиях выстоявшие перед КГБ, с поразительной легкостью отдались рынку! Впрочем, у меня также не вызывает паники сам факт нашего приобщения к рыночным отношениям. Да, это испытание. Однако через него уже прошел почти каждый, и, разумеется, каждый со своими творческими и нравственными результатами. Иными словами, эта проблема мне представляется уже в принципе разрешенной. Несравненно более актуальной мне видится проблема диалога с Западом — но не как с рынком, а как с культурой. К сожалению, вся значимость этой проблемы еще не осознана в нашей художественной среде. Попадая на Запад, художники по преимуществу существуют там либо как «шабашники», приехавшие реализоваться и подзаработать, либо как туристы, увлеченные музеями, пейзажами и местными девушками. Запад вызывает реакцию либо восхищения, как культурной машиной и высшей цивилизацией (что чаще всего чревато «влипанием» в рынок), либо импульсивной агрессии (что хотя и нравственно благородней, но все равно ущербно). Диалога же в смысле некой интеллектуальной установки пока

еще не возникает. Зато возрождается извечная двойственная идентичность российского интеллигента, находящегося между культурами, возрождается извечный комплекс неполноценности и сопутствующий ему компенсаторный комплекс невежественного высокомерия. Все это меня крайне беспокоит, так как динамика и эффективность нашего художественного развития зависят сейчас именно от решения проблемы культурного диалога. Ведь внутренняя логика общественного и интеллектуального становления подводит нас к задаче встраивания в интернациональный контекст.

Евгений Барабанов: Признаюсь, я с большим сомнением отношусь к возможности диалога с западной культурой.

Десятилетия, проведенные в изоляции от другого мира, сформировали в нашем сознании иллюзорный образ Запада. Теперь, с возможностью выезжать из страны, этот образ значительно трансформировался. Однако, как я заметил, никакого понимания западной действительности (в том числе и действительности культуры) пока еще не происходит.

Здесь я хочу обратить внимание на два момента. Первый: проблема рынка. Западный художник может длительное время всерьез заниматься решением своих творческих проблем без ориентации на спрос и предложение.

С советским художником дело обстоит иначе: для него западный мир является идеальным, настоящим, подлинным — по схеме Платона: здесь «неподлинное» существование, а там — «подлинное». Поэтому он с напряженным вниманием относится к западной конъюнктуре, моде; он не защищен от них. В силу этой конъюнктуры он и обречен — что меня пугает — в будущем на поставки ожидаемой от него «этнографической» продукции. Ведь спросом там пользуется не то, что «ближе к Западу», но, напротив, то, что от него дальше, т. е. «экзотическое» искусство. Ориентированные на рынок художники станутвольно или невольно создавать именно такое искусство. Альтернативного пути развития здесь не существует; настоящего рынка здесь еще не будет. Возможности нерыночной реализации для художника (скажем, преподавание) также отсутствуют.

Второй момент этой проблемы — эмиграция. Часть художников вырвалась из «подводной лодки» раньше. И все знают, что эмигрировавшие художники, за небольшим исключением, не смогли включиться в западную культуру. Причины этому разные. Здесь господствовало «интровертированное» художественное сознание — художник «питался» от определенного круга идей, разговоров, знакомств; была своя «самобытная» культура, и всякий жест воспринимался адекватно только внутри этой данной культуры. На Западе такая тотальная интровертированность невозможна. Там нельзя творить, исходя из вечности, духовности, некой общности идей. Там жест должен быть адекватен ситуации.

А наши художники, как оказалось, еще не способны свободно включиться в западную ситуацию. Когда они видят, что попали далеко не на верхушку галерей, а находятся где-то внизу, что переход с уровня на уровень очень сложен, что рынок давит и требует продукции, — тут уже не до культуры.

Да, рассуждая теоретически — спасение в диалоге с

западной культурой, но сегодня она стала еще более далекой, запредельной. Место культуры у нас занимает ее образ. Сейчас он разрушается, но я боюсь, что наши художники не смогут с ним расстаться и, как это произошло с эмиграцией, останутся под его обломками.

Вл. МIRONENKO: Что касается меня, то я в последнее время ощущаю себя в некой нейтральной зоне, т. е. на определенной культурной дистанции по отношению и к Востоку, и к Западу. Ряд художников, включая меня, уже получили достаточный опыт жизни и функционирования за рубежом. Раньше мы находились в оппозиции к нашей официальной культуре, а теперь эта оппозиция вышла за пределы СССР и очутилась между Востоком и Западом, «между собакой и волком». Мне кажется, что эта ситуация «нейтральной зоны» может оказаться плодотворной, потому что она обеспечивает возможность совершенно иного взгляда с некой третьей позиции. Говоря же о «защите от рынка», могу заметить: если западный художник «спасается», зарабатывая деньги нерыночным способом, то советский художник может «спасаться» просто в СССР. Заработав какие-то средства на Западе, он может потом спокойно больше года жить дома — и в этом его спасение от рынка...

Е. Барабанов: Если здесь будет художественная ситуация! Если же нет, то это будет все то же положение «внутреннего эмигранта» — жизнь в собственном замкнутом мире. И хотя он и может ездить на Запад, однако встречи и диалога с реальностью западного мира не происходит.

В. Мизиано: Я объясняю наш провал на Западе несколькими иными причинами. Вопрос не только в том, что нашей ситуации изначально свойственна интровертность. Динамика развития этой ситуации питалась не только кухонным бытом. Я не могу согласиться с тем, что нашей художественной ситуации была присуща полная интровертность. Ведь при всей изолированности советского авангарда динамика его становления питалась не только кухонным бытом, но и внешними импульсами. Известная неадекватность бытовавшего у нас образа Запада, разумеется, очевидна, но все-таки образ этот был, и он все более проявлялся. Возникновение в конце 60-х, начале 70-х годов универсально значимых явлений в нашем искусстве как раз и осуществилось в момент, когда внутренняя зрелость советского авангарда совпала с вызреванием относительно объективной картины мирового процесса. Заметим, что первое успешно осуществившееся на Западе явление советского искусства — это соц-арт, для которого порождающей парадигмой и являлась идея культурного диалога.

Вл. МIRONENKO: Диалог может состояться, но это вопрос времени. Второй вопрос — о том, «состоялся» ли наш художник в западном мире, сейчас еще также не может быть решен. Для этого нужно как минимум лет пять, и профессионалы-галерейщики требуют для серьезного сотрудничества годы. И одним из признаков начала диалога станут попытки цитирования или подражания советским художникам на Западе. Такого еще нет. Наоборот, сейчас наши художники часто цитируют западных.

Е. Барабанов: Я с этим полностью согласен. Но должно все же произойти разрушение иллюзорного образа Запада, должна быть встреча с реальностью, чтобы диалог мог состояться.

Г. Кизевальтер: Мне кажется, что сейчас наши художники стали более трезво оценивать Запад и возможность диалога с ним, чем два-три года назад. Это не означает, конечно, что теперь у нас есть ясная и отчетливая «картина» Запада, и в этом я согласен с Женей. Но меня также интересует вопрос «защиты» художника от рынка — как уберечься от «медных труб», как остаться художником и не «встать на конвейер»? Это и нравственная, и социальная проблема. Во вступительной статье Дж. Полити к первому русскому изданию Флэш Арта замечено, что «на Западе есть масса художников, которые богаты, как арабские шейхи, но для искусства их больше не существует». А ведь это «честно заработанные деньги», это не подачка от КГБ — как тут устоять?!

В. Мизиано: Если говорить об угрозе рынка, готового потопить нашу подводную лодку, то я продолжаю настаивать: спасение в культурном диалоге. Да, и на Западе констатируют сейчас тенденцию превращения культуры в шоу-бизнес. И все-таки не надо фетишизировать имена галерей и приписывать им бесконтрольную власть. Механизм современной культуры предполагает не только оппозицию художник—галерея, но и другие составляющие — критик, журнал, музей, университетская кафедра. Необходимо, с одной стороны, учесть роль общественного мнения в оформлении репутации художника, а с другой — спокойно признать, что рыночные цены и художественная ценность — вещи различные. Видимо, это и имел в виду Полити, говоря, что стать «шейхом» еще не значит осуществовать в культуре. Кстати, давайте признаем, что пока мы не стали свидетелями явной фабрикации имен: все получившие международное признание советские художники не вызывают у нас ни малейшего возражения. В этой связи возникает другая проблема. Какова роль наших художественных структур в защите от рынка? Что делают наши эксперты в создании международной репутации советских художников? А видим мы то, что критиков, способных адекватно описать ситуацию, почти нет. Сталкиваемся мы и с отсутствием серьезной музейной и журнальной работы с современным искусством. В лучшем случае можно констатировать более или менее адекватную репрезентацию художников. До сих пор не удалось перейти к главному: профессиональному обсуждению ситуации, к созданию самобытного дискурса.

Вл. МIRONENKO: В самом деле, за последние 10—15 лет у нас сформировалась самобытная школа современного искусства, но при этом параллельная школа критики так и не возникла. Поэтому стала возможной ситуация, когда искусствоведы, которых никто не знал и не читал еще несколько лет назад, всюду стали писать статьи, составляя выставки, де факто слабо понимая, чем они занялись. Для других стран такая ситуация нереальна: где есть хорошие художники, там всегда есть и критики, причем их может быть даже больше, чем художников.

Е. Барабанов: А в чем проблема? По-моему, все адекватно общей нашей ситуации. Кому нужна эта критика?!

Вл. МIRONENKO: Художникам, всем!

Е. Барабанов: В данный момент критика точно соответствует общему уровню культуры. Если наши галереи — а их уже стало много — лишь скупают и перепродают картины и не делают (за исключением 1 Галереи) ни одной выставки, то о чем можно говорить! Выяснилось, критика для коммерции сегодня не нужна. Точно так же не нужен и философский дискурс. Есть тексты репрезентации — и этого достаточно для того, чтобы знали, кто есть кто и почему продавать картины.

Вл. МIRONENKO: Но без серьезных текстов не может быть развития! Ситуация будет ненормальной.

Е. Барабанов: А она и есть ненормальная. Мы же перечислили, сколь многое у нас отсутствует, и после всего этого должны возникнуть тексты?! Просто девочка, которой нужно делать диссертацию или карьеру, напишет заметочку и получит свой гонорар в каком-нибудь журнале. Какая функция такого текста в обществе? Да никакая!

Г. Кизевальтер: Или взять ситуацию с Музеем Современного Искусства в Москве: если даже он возникнет (в каком здании? на какие средства?), то что сейчас можно собрать в этот Музей, когда все лучшие работы наших художников уехали на Запад! Конечно, есть коллекции 60-х — 70-х годов, но там тоже далеко не шедевры, и они не в состоянии заполнить все лакуны. Здесь ситуация глубокой провинции, из которой все ценное вывезли в столицу, а сюда теперь приезжают расслабиться, навестить родных, как раньше Кабаков раза два в год ездил к матери в Бердянск.

Вл. МIRONENKO: Да, но в этой ситуации у нашего художника более выгодная позиция, чем у того же уровня художника на Западе. Он уже может выбирать —

выставляться или нет, иметь дело с этой галереей или нет. Здесь для него «спасительная ниша» — он может сидеть дома год и ничего не делать, только думать.

Е. Барабанов: Вот опять «спасительная ниша», или подложка, — мы опять вернулись к прежней модели. И это не случайно. Модель эмиграции, интровертности будет все время воспроизводиться, какой уж тут диалог — год спустя! Диалог приглашает к жизни в западной культуре без передышки, без подпитки «родным дерьмом». А это очень сложно. Я, например, привык к нише, привык все медленнее обдумывать. И вступить в этой ситуации в реальный диалог с Западом очень трудно. Принять термины, идеи, концепции легко: вчера Лиотар, сегодня Деррида, завтра Бодрийяр и что угодно. Заимствовать все это не сложно, но это не диалог, это фарцовка, где на нашу словесную шелуху просто наклеивается импортный лейбл. Все это не обеспечено мыслью — это имитация анализа, лишенная опорной почвы; это тот же модный нынче симулякр.

Вл. МIRONENKO: Но на Западе есть различные группы художников, между которыми нет никакого диалога, хотя и те и другие занимаются современным искусством: каждый — своим. Западная культура очень дифференцирована и разобщена.

Е. Барабанов: Дело в том, что как у нас сложился свой образ Запада, так и там может сложиться образ некоего «советского искусства». И если будет диалог, то я боюсь, что это будет диалог этих нереальных образов.

Вл. МIRONENKO: Но диалога «вообще» быть не может. Вот возник диалог с Флэш Артом. Потом с каким-то другим конкретным институтом. И на таком уровне все и происходит.

Е. Барабанов: Может быть, тогда нам надо говорить о «мифе диалога»?

Вл. МIRONENKO: Конечно, диалог культур «вообще» невозможен! Ведь между нами и «левым» МОСХом или другими группировками здесь тоже нет никакого диалога.

В. Мизиано: Так это и замечательно, что мы за последнее время сумели избавиться от тотализирующего «видения культуры». Как в понимании нашей реальности преодолена элементарная дихотомия «мы» — «они», «свои» — «чужие», так и образ Запада стал артикулированнее и дифференцированнее. Мы научились понимать, что «истина — конкретна» и что «малое — прекрасно». Однако я хотел бы продолжить затронутую Женей тему методологического кризиса нашего искусствознания. И действительно, как писать о современном советском искусстве? Пользоваться методологией западного постструктурализма? Но меня также останавливает явная искусственность сопряжения явлений столь различного культурного генезиса. Писать на просторечье также невозможно. При этом известные аналогии нашего искусства с мировым художественным процессом явно бросаются в глаза. Следовательно, возможны и заимствования искусствоведческих методик. Но что стоит за внешними аналогиями? Какие именно заимствования оправданы? Короче говоря, все эти и многие другие исходные для любого исследования вопросы разрешимы только в серьезном обсуждении методологических проблем. Пока что остается удивляться, как у моих коллег, сформировавшихся в лучшем случае на искусстве конца—начала века, не возникает подозрения, что новейший материал предполагает совершенно иной язык описания. К сожалению, мы живем в эпоху, когда очень легко прославиться. Перед искусствознанием сразу открылись перспективы на три неосвоенных художественно-культурных пласта: на исторический русский авангард, сталинское искусство и неофициальное искусство последних тридцати лет. Все разбежались по этому Клондайку и озабочены только одним — ухватить слиток побольше и крикнуть погромче: «Чур, мое!» Подобный разброд чреват и профессиональной, и нравственной энтропией.

Е. Барабанов: Это не только проблема метода, но и проблема культуры. Практически никто Деррида и Бодрийяра не читал: они не переведены, не изданы. Их

книги, их идеи в нашей культуре никак не задействованы. Здешний менталитет необычайно низок, упрощен. Что же может делать в этой упрощенной ситуации художник? Вернуться к разговорам в узком кругу? — но круг уже разрушен. Опирается на критику как на институт? — его тоже не существует. А работать дальше без анализа своих идей опасно — возникают неясности, двусмысленности...

Вл. МIRONENKO: Контакты, ранее существовавшие между художниками в форме бесконечных разговоров об искусстве, сейчас практически отсутствуют. Сейчас возросла ответственность каждого художника за свою работу. Речь идет о профессионализме, в конце концов. Происходит резко очерченный процесс индивидуализации. Художники все больше ориентируются на свое собственное творчество и свои личные дела.

Г. Кизевальтер: Да, произошла прагматизация и дегуманизация нашего художественного мира. Но что нам делать для улучшения ситуации? Мне кажется, что большая доля ответственности лежит на журнальной деятельности, на критиках, — в плане подготовки культурной почвы и поднятия уровня менталитета. Ясно, что для этой работы потребуется много лет, но без «интенсификации» критики ничего улучшаться не будет. Художники могут устраивать периодические выставки, но они будут становиться достоянием того же узкого круга, что и раньше, а при этом надо отметить и некоторый спад интереса к выставочной деятельности здесь. Для расширения «круга» нужны массовые средства информации.

Е. Барабанов: Верно, но надо учесть, что критик тоже оказывается частью некоторого рынка; ему тоже заказывают статьи и тоже торопят. Очевидно, здесь нужны какие-то институты... Но, на мой взгляд, нужно и усиление выставочной деятельности — она явно недостаточна, если подвести итоги за год.

Вл. МIRONENKO: Сейчас, когда ритм жизни так изменился, художники просто не могут заниматься выставками, как раньше. Этим должны заниматься другие люди; должна появиться инфраструктура!

Е. Барабанов: Но что может здешний критик сказать, допустим, о работах Кизевальтера или МIRONENKO, когда он вместо выставки дома видит только репродукции в иностранных журналах, а это совершенно иное впечатление. Дома пока только «ниша», а эту нишу пора менять на полноценное культурное пространство, — и для этого нужна, конечно, и критика, и институализация различных форм деятельности, обеспечивающей нормальную жизнь искусства.

В. Мизиано: Мы с вами единодушно констатировали кризисность нашей ситуации. И все-таки вопреки всему мы должны что-то делать. Я говорю это без чеховского пафоса, но с холодной объективностью. Ведь каждый из нас естественно устремлен к профессиональной реализации, а это неизбежно подводит нас к необходимости создания новых институтов. Пусть это будут структуры жалкие и убогие, пусть еще напоминающие тот коммунальный быт, из которого мы вышли. Пусть! То, что получится, будет адекватно нашим сегодняшним возможностям. Я согласен с Володей, отметившим крайнюю индивидуализацию художественной среды. Но согласитесь, что индивидуализация сочетается у нас с моментами до слезливости сентиментальной ностальгии по катакомбам, по подпольному братству. Именно институционализация и поможет преодолеть эту болезненную раздвоенность, и поможет вернуть художникам творческую и психологическую цельность. Замечу в заключение, что я продолжаю верить в успех нашего диалога с Западом. Судьба дает нам огромную фору — эту огромную страну, чудовищную и изуродованную, но в силу исторических обстоятельств играющую исключительную роль в современном мире. Страну, наделенную громадным культурным наследием. Это и форя, и поддержка, и гарантия значимости того, что мы делаем. И будет непростительно, если мы не используем этот исторический шанс.

Декабрь 1989 г.

АЛЕКСАНДРА ДАВЫДОВНА ГРОМОВА-ДАВЫДОВА ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АРТИСТА

(Воспоминания о Михаиле Александровиче Чехове)

Летом 1923 года в петроградском театре «новой драмы», где я работала, был отпуск, и я приехала к моим родителям в Москву.

... Вижу себя идущей по Тверской. (Теперь это улица Горького.) Там, на Советской площади, — красный дом с белыми колоннами — 1-я Студия МХАТ, организованная в 1913 году К. С. Станиславским и Л. А. Суллержицким. Художественный театр находился в это время на гастролях за границей, и я пошла на конкурс в 1 Студию МХАТ. Я знала, что там была изумительная труппа.

В конкурсе участвовало 200 человек, и я одна была в тот год принята в театр. Когда я узнала, что принята, я была так счастлива! Солнце сияло надо мной. Я никого не знала из труппы великодушных артистов этого театра, столь отличавшегося от всего того, чем я жила и дышала в театральном Петрограде. Я сразу же стала ходить на репетиции и была потрясена тем, что увидела. Ведущая часть труппы состояла из жемчужин — так могу сейчас называть этих людей — талантливых, ярких и таких совершенно разных. Каждый из них горел своим особым блеском, каждый представлял особый мир. И среди них, как драгоценный алмаз, весь состоящий из миллиона граней, сверкал неповторимый Михаил Чехов. Пусть не покажется слишком восторженным мое определение — ведь действительно это было так!

Невозможно описать его тому, кто никогда его не видел. Я все время ощущаю, что трудно найти слова, чтобы описать это явление, называвшееся Михаил Чехов. Гениальным его считали все — и вся Москва, и Станиславский. Зрители устремлялись в театр смотреть Чехова. Родной племянник Антона Чехова, он — «сверхартист», звезда театральной Москвы, он — чудо.

Надо сказать, что я его себе никак не представляла до того, пока не увидела через несколько дней после поступления. Когда я подошла к двери довольно большой первой комнаты Студии, в которую входили сразу с лестницы, как раз в тот момент, когда она открылась, навстречу появился Чехов... Я сразу поняла, что это он... Странно, возник и остановился на пороге, увидев меня... (новенькую, незнакомую).

Небольшого роста, худой, какой-то легкий, немного широкий в плечах, изящный, смугловатый, несколько несимметричные черты лица, кончик носа немного вздернут. Бледный. У него большой лоб. Красивые светло-серо-голубые глаза, немного опущенные книзу в углах. Глаза детские, чистые, открытые и, вместе с тем, удивительно пронизательные, глядящие куда-то внутрь тебя... В этих глазах играют веселые искорки, они светятся... Темные волосы и хохолок надо лбом. Он молодой... У меня вдруг возникла мысль — «Таким мог бы быть Пушкин!»

Много лет спустя, в разговоре с известным доктором искусствоведения В. Я. Вилениным, на его вопрос, какое впечатление произвела на меня первая встреча с Чеховым, я рассказала ему то, о чем написала выше. Виталий Яковлевич с удивлением ответил мне:

— Вы знаете, очень интересна ваша мысль о том, что таким мог бы быть Пушкин. В 1936 году я заведовал литературной частью Художественного театра. Однажды ко мне пришла мало известная авторша и принесла пьесу о Пушкине. Она называлась «Дуэль». Пьеса показалась мне интересной, и я дал ее самому Константину Сергеевичу Станиславскому. Ему она тоже понравилась. Было распределение ролей. Напротив фамилии Пушкина рукой Станиславского было написано: «Ну конечно Миша Че-

хов». Экземпляр этот наверняка хранится в музее МХАТ.

У Чехова было удивительное свойство: он сразу становился близким и родным. В общении с ним вы тотчас бывали охвачены его обаянием. Вы «влюблялись» в него, так как от всего его существа исходила необычайная доброта и симпатия. По определению врачей, у него было «капельное» сердце. Руки небольшие, удивительно красивые и выразительные. Размер ноги его был 38. Благодаря своей стройности и пластичности он никогда не казался маленьким. А голос... Немного глуховатый, но мягкий и теплый, обладал миллионами красок. Он долетал до самых отдаленных уголков огромного зала и выражал все чувства, мысли и самые глубокие противоположности и тонкие нюансы в тех совершенно «полярных» образах, которые воплощал Чехов, окунаясь с чудесной легкостью, вдохновенно, в жизнь образа во всей его многогранности.

Я наблюдала его игру, стараясь постигнуть тайну его творчества. Сила гениальной интуиции помогала ему проникать в глубины человеческих сердец. Достаточно сказать, что многие ходили на «Гамлета» **пятьдесят раз**. Наряду с интеллигентными зрителями: профессорами, инженерами, учителями, в зале можно было встретить трамвайного кондуктора, рабочего, шофера. Он с первой секунды овладевал залом даже тогда, когда в качестве партнеров рядом с ним выступали самые знаменитые мастера театра (спектакли, объединяющие величайших артистов того времени, устраивались иногда в Большом театре). И все равно, весь зал ревел одно имя: «ЧЕХОВ!» И так было всегда.

Зрительный зал бывал ошеломлен волной воздействия, глубиной мыслей и чувств, стремительно льющихся со сцены. Зрители могли рыдать, а через минуту смеяться до крика... и снова плакать, переключаясь в глубины естества создаваемого им образа. И все он делал без напряжения, какая-то великая сила владения образом охватывала его...

Он обладал величайшим даром импровизации. В каждый спектакль вводил массу новых красок и элементов. Его юмор представлял собой невиданные масштабы разнообразия и неожиданностей. Вдохновение лилось в зал огненным звучанием, потрясавшим своей заразительностью, богатством красок. Так было и в трагических ролях, и в комедии. Это соединение трагического и комического открывало невиданные возможности фантазии, экспромта, их нельзя придумать заранее.

Многие из зрителей перезнакомились на его спектаклях и подарили бессменным исполнителям серебряные медали с цифрой 50 (у меня сохранилась такая медаль, подаренная В. А. Громову).

Хотелось бы, чтобы те, кто не видел чудо игры Михаила Чехова, поверили, что я не преувеличиваю.

Перед репетициями пьес, в которых был занят Чехов, мы всегда начинали с упражнений. Среди них были удивительно интересные и полезные для развития актерской техники. Одно из упражнений почти всегда было первым, оно называлось: «Мы — художники». Бодро и радостно выходил Михаил Александрович на середину большого фойе, где всегда происходили занятия. Из него было два выхода на две лестницы. Один, посередине, на первый этаж, где была раздевалка и вход в театр, другой — на второй этаж и ярусы. Через окна фойе видна Театральная площадь, а между ними помещались огромные роскошные зеркала. Вся труппа приглашалась на занятия и упражнения, за очень небольшим исключе-

нием приходили все и занимались с большим интересом, дружно и даже весело.

Итак, упражнение начинается. Михаил Александрович говорит:

— Мы сейчас под музыку будем ходить друг за другом вокруг этого зала. Самочувствие у каждого из нас такое: «Я отбросил от себя весь быт, в котором существую в жизни. Выключаю из мыслей своих и из души своей все мелкие заботы повседневности. Во мне живет одно чувство — Я — ХУДОЖНИК и готов к творчеству. От этого я как бы красивее, выше и чище... забыл все мелочи, которые иногда волнуют меня и которым предаюсь часто в личной жизни... Я — только творец, музыка помогает мне в этом самочувствии.

Первая репетиция, на которую я попала, была репетиция «Гамлета». Она началась после упражнения. Шло серьезное и углубленное обсуждение пьесы. Исполнители центральных ролей сидели за столом, остальные — в несколько рядов вокруг них. У спектакля режиссерская коллегия: В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан. Над ними — М. А. Чехов. В. А. Громов подробно записывает все высказывания.

М. А. Чехов говорит, что всю пьесу нужно прослушать как музыку, как мелодию. Надо интуитивно, по сценам понять и почувствовать, что каждая из них дает для сквозного действия. Надо подойти к Гамлету с одухотворенной логикой, как сказал В. И. Немирович-Данченко. Королевский двор — в пьесе — символ земного благополучия, величия... Одно присутствие Гамлета потрясает Короля. Все персонажи делятся на друзей и врагов Гамлета. Связь дружбы проходит через всю пьесу, выявляясь, главным образом, через Горацио. Двор, Король, Полоний — это препятствия на пути Гамлета к свету... Офелия стоит рядом с Гамлетом, она из его друзей, и в то же время, она — препятствие. Офелия — часть его души. Она написана, чтобы показать другой план. Как вы (люди земли) ни стараетесь испортить ее, она оторвется от земли, «сойдет с ума».

Гамлет отказывается от Офелии из-за своей миссии. Отказ от нее — это первый шаг тернистого пути. Гамлет любит Офелию любовью, прошедшей через отречение. Эту сцену можно назвать: «Отказ Гамлета от прекрасной земли».

Репетиция длилась весь день, и не было минуты, чтобы было неинтересно. Был момент, когда очень осторожно и тихо попробовали читать какую-то сцену: актриса Мария Александровна Дурасова (Офелия) пробует трепетно и тихо произносить слова, живя в атмосфере репетиции. Да, трепетно и тихо... и меня это восторгает. Это похоже на музыку...

Когда репетиция кончилась, я повернула голову и увидела сзади молодого актера с мягким милым лицом, серыми глазами и светлыми волосами. Он показался мне каким-то давно знакомым. Он сидел в серой курточке, очень серьезный, весь захваченный атмосферой этой репетиции. Я спросила его: «Который час?» Он ответил: «Половина четвертого». Так впервые я увидела Виктора Громова. Потом на долгие годы он стал моим верным и дорогим спутником.

Он был любимым учеником и другом Чехова. Год назад из Чеховской студии он был принят в Первую Студию. Чеховская студия была расформирована из-за того, что Чехов был необычайно загружен, репетируя роли Хлестакова в Художественном театре и Эрика XIV в Первой Студии одновременно. К моменту моего поступления, Михаил Александрович был уже директором и художественным руководителем Первой Студии, а с сезона 1924 года — МХАТа 2-го, находившегося вначале в помещении бывшего Незлобинского театра на Театральной площади.

Я наблюдала игру Чехова даже тогда, когда после премьеры «Гамлета» в 1924 году меня назначили в очередь с актрисой Л. П. Жиделевой играть роль актрисы-королевы в «Гамлете». Он не жалел себя! И нам говорил: «Ни-

когда не жалейте себя! Выходя на сцену и играя роль, сразу, с первого мгновения давайте весь творческий заряд, все свое вдохновение, и тогда вы увидите, что в вас таится гораздо больше творческого потенциала, творческих сил и возможностей, чем вы сами предполагаете».

Черты своего Гамлета Чехов видел не только внешне, но огненно чувствовал его внутренне. Он так и сказал: «Вначале я переживал ощущение огня... я помню и сейчас ритм жестов. Во сне я слышал голос Гамлета». Он обрисовал облик рыцаря. Он видел цвет его кожи (смугловатый) и легкие, странные морщинки на его лице, какие-то удивительные... Он даже пробовал петь голосом Гамлета. Гамлет шел на фоне черного бархата, световые лучи освещали отдельные сцены или действующих лиц.

Гамлет — Чехов был вне «амплуа». Это был страстный борец за правду, благородный рыцарь, мыслитель, огненно переживающий трагедию Эльсинора, несущий со сцены в зал пламенные чувства. Нельзя забыть, как после сцены с Духом, в ответ на слова призрака отца: «... Прощай... прощай... и помни обо мне!» потрясенный, воскликнул: «Клянусь! Я помню!»... Не в силах пережить услышанное, спускаясь с крепостной стены, со стоном падал Гамлет на площадку сцены. Как, встав потом, протягивал он вперед свой меч и говорил, обращаясь к Горацио и Марцелло: «Клянитесь! Клянитесь на мече о том, что видели, не говорить!...» Зрительный зал вместе с ним переживал эту волнующую волну и потрясение Гамлета.

В Гамлете он показывал предельное сочетание воли, мысли и чувства. Но не было в нем никакого физического напряжения. Не было «потных рук», как это бывает иногда у актеров во время темпераментных сцен. Играя актрису-королеву, я чувствовала на своем лице его руку: он показывал актерам, КАК надо играть в следующей сцене «убийства Гонзаго». Этот кусок репетировался на самом просцениуме, перед закрытым внутренним занавесом. Гамлет становился за моей спиной, поднимал руку и, положив ладонь на мой лоб, пальцами закрывал мне глаза, как бы усыпляя сознание королевы. Рука Чехова, касаясь моих век, была всегда легкой и сухой, никогда не дрожала. Это свидетельствовало о свободе его вдохновения во время игры.

Так же было и в сцене «спальня Королевы», когда впоследствии я играла с ним Королеву-мать в Париже. И в этой сцене, при огромном внутреннем накале, всё, что он делал, было необыкновенно легко и пластично. Стоя на коленях, он с благоговением смотрел вслед исчезающему явлению отца, которое в спальне Королевы звучало только в музыкальной теме в оркестре. Он нежно спрашивал мать, видит ли она его: «Смотри... смотри... как тихо он уходит»... Но мать не видела его, она отвечала, рыдая: «О, Гамлет... Гамлет... ты надвое мне сердце растерзал...»

Когда Гамлет умирал, он лежал на просцениуме, посреди сцены, на щите, который поддерживали воины. Он говорил, обращаясь к Горацио: «Ты остаешься жить в ничтожном мире этом, чтоб повесть рассказать мою...» Постепенно сцена заливалась ярким светом, и после паузы Гамлет произносил последние слова: «Конец... Молчание!» В зале слышались рыдания, на сцену неслась нескончаемая буря аплодисментов.

На премьере зал был переполнен зрителями, деятелями искусства, прессой. Помню, как писали о том, что за одну прядь волос на парике Чехова можно отдать весь театральный сезон, что, уходя после спектакля, не перестаешь думать о Чехове — Гамлете.

Несомненно, это был праздник театра!

Мощь искусства Чехова была в его великой, необъяснимой интуиции, с какой проникал он во все обстоятельства сценического действия. Помимо этого, он великолепно владел своим телом, легко и красиво двигался, был пластичен. Он мечтал поставить пантомиму с очень скупым и лаконичным текстом лишь в самых кульминационных моментах, «там, где нельзя не заговорить».

Он создал трагикомический образ нищенствующего алкоголика в рассказе Антона Павловича Чехова «Утопленник». Зрители слышали за сценой, еще перед его выходом, громкий, хриплый, надрывный, пьяный голос... Он появлялся на сцене раскачивающейся походкой, на полусогнутых ногах, делал какие-то нелепые движения, развязно и настойчиво выпрашивая деньги за свое умение изображать утопающего в сапогах и без сапог, униженно вымаливая папиросочку, одну затяжку... А мимика... Невозможно описать эту несчастную и смешную личность... Где же он... Чехов сам?... Его и найти-то невозможно в этом жалком и странном существе... И смеешься, и плачешь, глядя на него!...

А его Фрезер в «Потопе» Бергера! Биржевик. Почему-то еврей. (Причем евреем он стал на генеральной репетиции, внезапно — сам был удивлен.) Дословно он выразился так: «Я ухватил ритм еврейства в Фрезере».

... Возникла атмосфера биржи, с ее суетой, нервами, неудачами, и во всем этом человек с его горем, какой-то весь раздавленный... Когда перед зрителями появлялся бар со столиками, с хозяином за стойкой, негритенком Чарли, облупившимся появляющимся привычных посетителей, Фрезер — Чехов большими шагами расхаживал по бару, весь погруженный в мысли о биржевых операциях и о своем невезении. Биржа, находившаяся за стенами бара, где-то поблизости, царил во всем. Посетители, ежедневно встречаясь, давно привыкли к своим недружелюбным отношениям, они уже потеряли человеческий облик, сосредоточенные только на азарте наживы.

Но вот начался дождь, превратившийся в потоп. Погасло электричество, казалось, что это конец света... И тут, перед возможной гибелью, они постепенно делали ЛЮДЬМИ. Фрезер, смешной и жалкий маленький человек, становился большим человекишем. Он обращался к своему врагу Бире и говорил мягко и душевно: «Бир... Бир, послушайте... Бир, ведь я, как Я... (он делал здесь большую паузу, это была передаваемая интонация)... Никогда... никогда против вас ничего не имел»...

Хозяин бара Стреттон зажигал свечи. Взявшись за руки, дружно шли они все цепью вокруг бара, и Фрезер впереди всех. Тихо и торжественно звучали голоса, как бы навстречу смерти. Неожиданно дождь утих. Все приобрело свой прежний облик, зажглось электричество, зазвонил телефон. Грозная гибелью гроза прошла стороной...

Навстречу возвращающейся жизни Фрезер — Чехов восклицал: «Наступает новый день... новый день с новыми подлостями!»... Атмосфера любви и возникшей дружбы исчезала. Фрезер переживал здесь нечто гораздо более глубокое, чем горечь и разочарование. Смешной человек в помятом костюме с оттопыренными карманами, оскорбленный в лучших своих надеждах на добро и взаимопонимание между людьми, снова окунается в жестокую жизнь мира доллара. Слегка согнув ноги, вытянув шею вперед, стоя в профиль к зрителям, глядел Фрезер издали, широко открыв глаза, немея в ужасе, на холодное, непроницаемое лицо уже снова прежнего Бира.

Как описать душу этой великолепной по глубине, трагикомичности и гротеску фигуры? В Фрезере звучало нечто большее, вечное, мудрое и печальное... из глаз его струились слезы. Зрители, затаив дыхание, следили за всеми переходами его состояния. Это был стон души о потерянном, померещившемся рае. Пятнадцать лет не сходил этот спектакль со сцены. На него приходили повторно множество раз.

В чем же причина такого притягательного воздействия на зрителя? Думаю, в том, что каждый следующий спектакль Чехов играл **по-сегодняшнему**, все глубже, богаче, проникновеннее находя новые черты. Это был подлинно художественный образ. Зрители писали ему множество писем, делились мыслями, которые вызывала его игра. В «Потопе» Чехов допускал такую степень импровизаций, что партнеры задыхались от смеха и неожиданности. Он свободно вносил внезапные изменения в текст пьесы (однако никогда не нарушая мизансцены и не мешая партнерам).

Однажды, во время гастролей по Литве, в сцене ссоры с Биром, которому всегда на бирже везло, и Фрезер его за это ненавидел (Бира играл Хмара, Хозяина бара — Громов, я играла Лиззи), — когда в начале пьесы Бир в запальчивости стал обвинять Фрезера, что он содержит и наживается на публичном доме, Фрезер — Чехов до такой степени вспыл, что, задыхаясь от бешенства, заикаясь, вдруг выпалил: «А... а... публичный дом... публичный дом... говорите вы... так знайте, публичный дом... это... это... один перерасход!»

Ничего похожего в тексте не было. В зрительном зале стоял стон от смеха, а мы... мы не знали, как сосредоточиться и играть дальше.

Я не раз спрашивала себя: что это за волшебный миг, когда он, переступив порог сцены, полностью как бы выключается из своей личности и становится тем, кого играет? Впечатление было потрясающее! В этом сказывалось НЕПОСТИЖИМОЕ... было СРАЗУ...

Как охотник гонялась я за этим мигом и вот... однажды, как мне показалось, проникала в его тайну: тут дело в какой-то **решимости**, — надо суметь **РЕШИТЬСЯ**... решиться, как на некий огромный прыжок. Поняла также, что обыкновенному актеру прийти к этому возможно только постепенно, через многократное, целеустремленное, волевое **пробование**.

Однажды, перед выходом на сцену в «Гамлете», сосредоточившись и вживаясь в образ актрисы-королевы все больше и больше, поняла, что мне это удалось! (Это очень трудно выразить словами...) Испытала это счастье! Мне удалось решиться! Впервые **ТАК** сыграла эту роль с начала до конца!

Каково же было мое удивление, когда в какой-то момент, во время действия, когда уже сыграла и вышла за кулисы, Михаил Александрович вдруг подошел ко мне близко и серьезно сказал:

— Ты знаешь, что сегодня замечательно играла свою сцену?

Какую радость испытала я в эту минуту! Значит, он понял, что мне удалось **РЕШИТЬСЯ**!

Чехов очень любил людей. Был весь открыт навстречу людям. Он говорил, что хороший актер должен обязательно быть хорошим человеком. Когда актер действует на сцене, зритель всегда чувствует, какой он человек. Его глубокая любовь к людям вызывала в нем эту способность погружаться целиком в чужое «Я».

Я вспоминаю разные черты этого многогранного и до детски доброго человека. Вспоминаю, также, что он был очень смешлив. Как-то в сцене «Мышеловка» в «Гамлете» В. В. Соловьева, игравшая тогда королеву Гертруду, оговорила. У нее есть фраза: «Твои слова — язык безумия, Гамлет!...» Произнесла ее, Соловьева на полном темпераменте, обращаясь к Гамлету, воскликнула: «Твои слова — язык безумья, Гамлет!...» Все придворные, стоящие у трона, на котором восседали король и королева, буквально застыли, сдерживая душивший их смех... К счастью, Гамлет — Чехов в этот момент стоял на лестнице перед троном, спиной к публике, но надо было видеть, как потрясал Михаила Александровича смех...

Одиннадцать лет я наблюдала его творчество, с восторгом репетируя с ним и играя. Поняла и убедилась в том, что одновременно с полным перевоплощением в образ, в нем жило чувство острого и всеобъемлющего контроля не только над собой, что часто бывает у актеров, но нечто гораздо более мощное: над всем, что было вокруг него. Он ясно оценивал и игру партнеров, и то, как они сегодня живут на сцене, — он все замечал. Как будто рядом с ним стоял второй Чехов, который был дирижером во всем этом оркестре. Этот второй был **НАД** всем, что происходило не только в нем самом, с его образом, но и над всем спектаклем. Мощь его творческой фантазии создавала неповторимые и предельно убедительные образы. Он говорил: «**ВООБРАЗИТЬ** — значит **УВИДЕТЬ** в мире своей фантазии».

Когда Михаил Александрович присутствовал на репетиции, всегда создавалась атмосфера праздника и какая-то особая тишина. Очень редко обнаруживал он на репетиции результаты поисков в работе над своим образом. Чаше только легко намечал, пользовался репетицией для «накапливания»... Какое-то особое, бережное молчание сохранил он по отношению к своей роли, как будто боялся спугнуть нечто очень тонкое, как видение, как дуновение... Он двигался, выполнял мизансцены, но это все была лишь «наметка», какие-то легкие штрихи. Его творческое мечтание об образе было в это время скрыто, не выявлялось, не демонстрировалось.

Поэтому столь неожиданны для всех были его генеральные и премьеры. Его внутренняя лаборатория была в непрерывной работе, но в фантазии, в той сфере, где образы живут, как он выражался, «самостоятельной жизнью», там он задавал вопросы образу... ждал и, увидев какой-то жест, наклон головы, какую-то деталь, внутренне ощущал образ, и эти черты говорили ему нечто, из чего потом слагалось **целое**, для всех такое потрясающее, неожиданное... Внутренне он был весь огненный, горел и заражал всех вокруг этим огнем, как бы многоцветным. Недаром многие критики и театроведы, когда говорили о Чехове, употребляли слово «огонь».

Иногда это было мягкое тепло, льющееся со сцены в сердце зрителя, а иногда — расплавленная лава. И самое интересное было, что, играя с ним, все становилось талантливее. Спектакль с Чеховым и спектакль без Чехова — это были два разных театра. Тот, кто видел его в роли сенатора Аблеухова в спектакле, поставленном по роману Андрея Белого «Петербург», на всю жизнь запомнил свое изумление... Нет, потрясение ролью Аблеухова!

... Серый туман... осенний дождь... мокрые улицы Петербурга, по которым двигаются люди с зонтиками... Какой же будет Аблеухов?.. Все, кто могут, и свободные в этом спектакле, и исполнители, сидят в зале... Ведь это уже генеральная, так называемая черновая генеральная репетиция. Сейчас откроют занавес, и мы увидим Аблеухова. Никто ни разу не видел того, что сейчас возникнет, что родится на сцене, как живой образ... Тишина. Занавес открывается медленно.

Во время всего репетиционного периода Михаил Александрович ни разу не показал, **каким** появится его Аблеухов. Он только выполнял мизансцены и тихонько проговаривал текст.

... Посреди сцены огромный письменный стол. Он стоит прямо на публику. За столом кресло с высокой спинкой. В кресле сидит сенатор. Огромная лысая голова. Торчащие уши... Молчание... Когда он заговорил, раздался вдруг бас глубокий и низкий, откуда-то из недр этого существа. Это был образ из «мозговой» сферы. Сам Чехов определил ритмы жизни сенатора: «стаккато» жило в нем и в манере говорить, и в движениях (конечно не примитивно, не внешне, но внутренне, тонко, глубоко). Во всех этих неожиданных, глубинных, трагикомических контрастах в жизни этого образа, в течении мыслей, походке, во всем можно было уловить эту «скелетность» и ритмы «стаккато». Он как будто весь создан был из стучащих косточек... важен, смешон, жалок и одинок!..

Многие считали, что из всех вершин его творчества, пожалуй, Аблеухов был величайшим по сложности, по размаху, по глубине и тончайшему мастерству. Если Станиславский употреблял выражение «степень гениальности», то здесь «степень» была на грани фантастики, пронизывающей своим блеском! Не удивительно, что актер, обладавший такими взлетами вдохновения, хотел сам **познать** свое творческое я... Когда Аблеухов встал с кресла, он оказался в черном сюртуке, тонкий, прямой, с голым черепом...

Как-то, когда спектакль «Петербург» уже шел, Михаил Александрович высказал несколько мыслей по поводу современного театра и спектакля. Новая революционная действительность требовала пересмотра старых форм сознания. «В наши дни много говорят о проблеме театра, —

говорил он. — Театр должен быть современным, но увы — «современный» в устах говорящих есть лишь отражение их личных желаний и точек зрения. Современных театров ровно столько (в умах), сколько людей, осененных мыслями о современности... Каждый требует иллюстраций его собственных мыслей о современности».

Михаил Александрович считал, что из современности к театру идет требование ответить на запросы расширенного сознания. «Потеряны прежние точки опоры для суждений о жизни. Много убито предвзятостей, привычных суждений. Началась новая жизнь. Без взрывов в сознании невозможно найти в современности». Он говорил, что сознание идет, оно задает вопросы, много вопросов: «Зрительный зал стал не зрительный, а вопросительный. Он ищет глубочайших основ, лежащих за фактами жизни, — они нужны ему для построения новых мыслей, новых опор для практической новой жизни».

По мнению Михаила Александровича, новый театр не терпит натурализма, незначительных героев, глупого смеха. Он считал, что из этого выводил трагедия — в ней «глубина обобщений», есть силы, превосходящие личное. В комедии элементы почти те же.

Из этих высказываний Чехова видно, что в те годы его привлекали больше всего трагедия и комедия. В них он видел элементы новой жизни в искусстве. Но он говорил, что... «репертуар — это одна сторона, в театре есть и другая: есть **АКТЕР** — это большая проблема и трудная. Есть «амплуа», и актер, обычно, говорит, что он не может выходить за грани своего амплуа, так как он им ограничен. Но что такое «амплуа»? Чехов считал, что это «вместимость актерской души». Чем меньше вместимость души данного актера, тем уже его амплуа. У великих актеров диапазон широк, и он выходит далеко за рамки обычного понятия об амплуа.

Можно ли определить амплуа самого Михаила Александровича Чехова? Или Качалова, или Москвина? Любый артист, одаренный большим талантом, является «характерным» в самом глубоком смысле этого слова. И лишь актеры узкой душевной вместимости делятся на обычное понятие «амплуа». Чехов, говоря об «амплуа», не имел в виду внешние данные актера. «Впрочем, и внешние данные становятся странно подвижными, если развиты силы актерского сознания»...

В постановке «Петербург» А. Белого актеры учились расширять свое сознание и играть в этой пьесе не образы, только, не фабулу, быт, но играть «те причины живые, которые лежат за пределами того или другого героя» — Михаил Александрович говорил, что эта проба была первой и несовершенной — лишь попытка, но даже при этом намеке на новый метод игры... «Свидетельство зрительного зала во время спектаклей весьма поучительно и своеобразно: смех зрителей (странный, особенный) слышался там, где он мог бы не быть, если бы играли по-старому. Обостренность внимания там, где по фабуле интерес понижается и т. д. Много радостного можно почувствовать в зрителях, много почерпая я в зрительном зале во время спектакля».¹

Так скромно говорит Чехов о том, что он «почерпает» для себя в зрительном зале... После каждого спектакля роль Аблеухова сопровождалась нескончаемой овацией зрительного зала. Самые строгие критики потрясенные уходили из театра. 15.11.1925 года рецензент С. Блюм писал об Аблеухове — Чехове: «... Это мощный размах актерской стихии... Чехов стоит совершенно особняком в спектакле, заслоняя его собой...»

(Продолжение следует)

¹ Рукопись — личный архив В. А. Громова

Юрий Дружников (р. 1933: Москва) — писатель и историк. Окончил Московский педагогический институт, преподавал русскую и советскую историю и литературу, был журналистом, редактором отдела науки газеты «Московский комсомолец», членом Союза писателей СССР. Автор восьми книг и двух пьес, опубликованных в Советском Союзе, среди них два романа, сборник рассказов, две книги о воспитании детей. С 1977 года преследовался КГБ и заявил о желании эмигрировать. Был лишен возможностей печататься и выступать в своей стране. В 1987 году, после организации в Москве юбилейной выставки «Десятилетие изъятия писателя из советской литературы», получил возможность выехать.

На Западе опубликованы его рассказы и повести «Смерть Федора Иоанновича», «Конец командировки», «Тридцатое февраля», «Последний урок», а также статьи и эссе в газетах «Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», «Русская Мысль», «Новое Русское Слово» и др.

Почетный член ПЕН-клуба. Профессор Калифорнийского университета (США).

Публикуем отрывки из книги Юрия Дружникова «Вознесение Павлика Морозова». Это первое независимое расследование зверского убийства подростка, донесшего на отца, и процесса создания из мальчика самого известного советского героя, проведенное через 50 лет после трагических и загадочных событий. Книга написана в 1981—1987 гг., опубликована в 1988 г. в издательстве Overseas Publications Interchange Ltd (London).



Москва, центр. Бронзовый монумент герою-пионеру Павлику Морозову — единственный в мире и, кажется, в мировой истории памятник доносчику. За деревьями здание Совета Министров Российской Социалистической Республики. Эту и все современные фотографии для книги сделал автором.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

СУД НА СЦЕНЕ

24 ноября 1932 года в местной газете «Тавдинский рабочий» появилось крупно набранное объявление. Оно гласило:

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
25 НОЯБРЯ 1932 ГОДА В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА В КЛУБЕ ИМЕНИ СТАЛИНА
НАЧИНАЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД
УБИЙЦАМИ ПИОНЕРА МОРОЗОВА.
СУДИТ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ
ОБЛСУДА. ВХОД В ЗАЛ
СВОБОДНЫЙ.

Тавда — небольшой районный центр в тайге. Кривые улочки, покосившиеся дома, грязная железнодорожная станция, заполненная товарными вагонами с лесом. Вокруг редкие деревни, и среди них Герасимовка, где был убит Павлик Морозов. Полсутки езды поездом от Тавды — и попадаешь из Сибири на Урал, в его столицу Свердловск, перевалочную базу из азиатской части России в Европу. Но выехать из Тавды не просто. Это край лагерей принудительного труда. На станции, у поездов и сейчас милиция, люди в штатском с типичным выражением лица. Такой же была Тавда и полвека назад, в начале обычной сибирской зимы 1932 года. Но события тут происходили необычные.

Большой деревянный клуб имени Сталина на улице Сталина к этой дате спешно отстроили заново после пожара. Топоры стучали днем и ночью. Перед началом процесса в городе были организованы демонстрации трудящихся. Плакаты требовали смерти убийцам Павлика Морозова. На митинг перед клубом привели около тысячи детей, включая малышей из всех школ района. Дети тоже держали плакаты с требованием расстрелять обвиняемых. Для трансляции процесса военные связисты установили 500 репродукторов. Вокруг них собрались любопытные.

Переоценивать энтузиазм масс, о котором много написано в газетах, однако не следует. В неопубликованных записях участника зрелища, молодого корреспондента свердловской газеты «Всходы коммуны» Соломеина говорится, что все это было запланировано, приказано и организовано заранее. В деревни всей округи сверху спускалась разнарядка. Райком партии и райисполком рассылали телеграммы: «Провести митинг», «Выслать на процесс делегатов», «Организовать красный обоз с хлебом в дар государству». В телеграммах заранее указывалось, сколько людей собрать и сколько мешков зерна отпраздновать.

Накануне суда в Герасимовку прибыли агитбригады и духовой оркестр. Ларек торговал водкой без ограничения. После живой газеты (вроде устного журнала) и хорового пения югда веселье достигло максимума. объявили, что завтра показательный

суд. Вот записанный нами рассказ деревенского старожила Григория Парфенова. «Повезли нас рано утром на десяти подводах под красным флагом. Стояли морозы около тридцати градусов, и лошади бежали резво. Некоторые только по дороге узнали, зачем везут. Кто не хотел ехать, тому обещали бесплатный буфет».

Рассчитанный на 600 мест, зал клуба был набит тысячей зрителей. Сообщения газет о том, что в зале присутствовало две тысячи, были явно преувеличены. Тем не менее в проходах вплотную сидели на полу и стояли вдоль стен. В зале было много детей. Во втором ряду, перед судьями, посадили мать убитых мальчиков Павлика и Феди Татьяну Морозову с третьим сыном Алексеем на руках. Несмотря на лютый холод, зал не отапливался, но и не проветривался, чтобы не улетучилось тепло. В воздухе стоял смрад.

Зрелище, которое предстало зрителям, было настолько впечатляющим, что и спустя полвека очевидцы его не забыли и рассказали нам детали. На сцене медленно пополз черный занавес, открывая красные лозунги. На заднике висел портрет Павлика, нарисованный местным художником-любителем. Слева от портрета призыв: «Требуем приговорить убийц к расстрелу». Справа: «Построим самолет «Пионер Павлик Морозов».

На скамье подсудимых — охраняемые конвоем с винтовками пятеро: дядя Павлика крестьянин Арсений Кулуканов, бабушка Павлика Ксения и дед Сергей Морозовы, его двоюродный брат Данила Морозов и второй дядя Арсений Силин. Прочтешь лозунги, вывешенные на сцене, тогда и то по складам, один обвиняемый — школьник-переросток Данила Морозов. Трое других вместо подписи в протоколах допросы припечатывали, обматывая в чернила, большой палец правой руки; пятый, Арсений Силин, тоже не умел читать, но сам мог поставить закорючку пером.

За столом, накрытым кумачом, а сверху — более узким черным траурным покрывалом, расположилась бригада судей, присланных из Свердловска: председатель Загревский, народные заседатели Клименкова и Бороzdина; по правую руку — общественные обвинители: представитель Центрального бюро юных пионеров и газеты «Пионерская правда» Смирнов и представитель Уральского обкома комсомола Урин, прокурор Зябкин. Слева — адвокат Уласенко. Ход суда протоколирует секретарь Макаридина. Все они вместе именуются выездной сессией Уральского областного суда.

¹ Нам удалось найти след Загревского: он умер в 60-х годах. Одна из заседательниц отыскалась в Краснодаре, но категорически отказалась вспомнить, что и как было, и даже просто встретиться.

Наиболее подробно суд освещался ежедневно в местной газете «Тавдинский рабочий». По отчетам можно понять, что это не было судебное разбирательство в общепринятом смысле. Официально это был политический процесс. А на практике — клубное представление с распределенными ролями, антрактами и буфетом, закончившееся в последнем акте приговором.

Нам удалось получить «Следственное дело № 374 об убийстве братьев Морозовых, подготовленное Секретно-политическим отделом ОГПУ по Уралу», которое дальше мы будем называть просто «дело № 374». В нем имеется обвинительное заключение, подготовленное следствием для суда. Приговор суда был опубликован 30 ноября 1932 года в газете «Тавдинский рабочий». Для того, чтобы понять официальную трактовку убийства, приведем выдержки из обоих этих документов.

Из обвинительного заключения: «Морозов Павел, являясь пионером на протяжении текущего года, вел преданную, активную борьбу с классовым врагом, кулачеством и их подкулачниками, выступал на общественных собраниях, разоблачал кулацкие проделки и об этом неоднократно заявлял...»

Из приговора: «В селе Герасимовке, где до последнего времени ни партийной, ни КСМ ячейки (комсомола — Ю. Д.), и до сих пор, при наличии 100 хозяйств, нет колхоза, активное выступление пионера Морозова за выполнение проводимых кампаний... вызвало к Павлу дикую злобу со стороны родни...»

Из обвинительного заключения: «Кулаки боялись дальнейших доносов органам власти со стороны Морозова Павла, стали на путь угроз расправой пионеру Павлу Морозову. Кулуканов и Силин по отношению Морозова Павла говорили: «Этот пионер, сопливый коммунист, житья нам не дает, во что бы то ни стало его надо сжить со света».

Из приговора: «Данное убийство подготавливалось задолго до его свершения, и самый акт расправы... был не чем иным, как выполнением желанного, давно задуманного решения».

Из обвинительного заключения: «Кулак Кулуканов Арсений, узнав, что Павлик Морозов вместе со своим братом Федором ушли в лес за ягодами, с приходом к нему в дом Морозова Данилы 3-го сентября сговорил последнего убить пионера Морозова Павла и Федора, дав ему 30 рублей денег, одновременно попросил Данилу, чтобы он пригласил для убийства Павла и Федора своего деда Сергея Морозова, с которым Кулуканов раньше имел сговор...»

Из приговора: «Закончив бороньбу

после ухода от Кулуканова Данила отправился домой и передал деду Сергею разговор с Кулукановым. Морозов Сергей видя, что Данила берет со стола нож, ни слова не говоря вышел из дому и отправился с Данилой на дорогу, по которой должны возвращаться братья Морозовы. При этом, когда подсудимые вышли уже за деревню, Морозов Сергей сказал Даниле: «Идем убивать, смотри не бойся».

Из обвинительного заключения: «Поравнявшись с Павлом, Морозов Данила, не говоря ни слова, вынул нож, нанес Павлу удар в живот».

Из приговора: «Девятилетний Федя, заплакав, кинулся бежать в сторону, но был задержан Сергеем Морозовым и подбегавшим Данилой тут же зарезан. Убедившись, что Федя мертв, Данила вернулся к Павлу и еще несколько раз ударил его ножом».

Из обвинительного заключения: «Совершивши убийство, Морозов Сергей вытряс из мешка ягоды, набранные Павлом и Федором, и совместно с Данилой одели этот мешок на голову Павлу Морозову, а затем Морозов Сергей труп Федора оттащил несколько в сторону от дороги, в лес, то же проделал Данила с трупом Павла. Морозов Сергей и Морозов Данила, вернувшись из леса после убийства... обнаружив у себя на одежде пятна крови, переоделись в другое платье, заставив Морозову Ксению (жену Сергея) выстирать окровавленную одежду в целях скрытия преступления. Морозова Ксения, узнав о совершенном преступлении, замочила окровавленную одежду (штаны, рубаху), но отстирать не успела, т. к. при обыске в замоченном виде рубаха и штаны были изъяты».

Из приговора: «На следующий день Ксения Морозова, чего она сама не отрицает, узнала об убийстве Павла и Феде, но когда было приступлено к розыску последних, она, Ксения, данное обстоятельство скрывает».

Из обвинительного заключения: «Одновременно при обыске за иконами был обнаружен нож, которым совершено убийство».

Тщательное изучение имеющихся у нас секретных документов следствия, которое проводилось в течение двух с половиной месяцев, опубликованных материалов суда, показаний свидетелей и очевидцев обнаруживает многочисленные противоречия и неувязки в ходе следствия и судебного процесса.

Братья Павлик и Федя пошли в лес за клюквой, но когда, куда и кто знал о том, что они ушли, ни следствие, ни суд не выяснили. Суд не задал вопроса, почему в течение трех суток никто не начал искать пропавших детей. Почему не обратили внимания на вернувшуюся с воем из леса без детей собаку Морозовых?

Отдельные факты в цепи тех трагических событий существуют одновременно в нескольких вариантах, и суд не уточнил, какой вариант соответствует истине. Осталось невыясненным, когда точно было совершено убийство. В лесу, на месте убийства, не было сделано ни одного фотоснимка. Следователи вообще там не побывали, не видели трупов, не зафиксировали следов преступления и даже не описали места убийства. Участковый милиционер Титов один, без свидетелей, написал и подписал «Протокол подъема трупов». В протоколе, написанном от руки на одной странице, сообщается, что он составлен 6 сентября в 1 час дня в присутствии крестьян, подписи которых отсутствуют. Происшествие описано в протоколе приблизительно, деталей мало: «Павел лежал головой в восточную сторону, второй труп, Федора, головой в западную сторону». О Павле: «В левой руке разрезана мякоть и нанесен смертельный удар ножом в брюхо, в правую половину, куда вышли кишки, второй удар нанесен ножом в грудь около сердца». «Протокол подъема трупов» указывает, что ударов ножом было два, а раны три. Позже, после похорон, газета «На смену!» уточнит, со слов следователя, что Павлу нанесены не три, а четыре ножевые раны. Журналист Смирнов, обвинитель, на суде напишет: «После пятого удара ножом в грудь Павлик лежал мертвым». А коллега Смирнова Губарев через тридцать лет вспомнит показания свидетелей, что на теле Павлика судебно-медицинская экспертиза обнаружила 16 ножевых ран.

«Протокол подъема трупов» сообщает о Федоре: «Нанесен удар в левый висок палкой и правая щека испекшей кровью, раны не заметно. И ножом нанесен смертельный удар в брюхо, выше пупа, куда вышли кишки, и так же разрезана правая рука ножом до кости». Позднее писатель Губарев скажет, что Федор был убит не палкой, а ножом в затылок.

Судне установил, хотя и записал в приговор, что Павлик лежал в мешке. Свидетели, однако, утверждали, что никакого мешка не было, а была задрана рубашка и она была красного цвета. Но то не была кровь. Клюква, которую убийцы высыпали из мешка, дала обильный темно-красный сок. Этот сок и окрасил мешок и рубашку. Экспертизы ни этого мешка, ни одежды не было.

Очевидцы показывали: протокол был составлен милиционером Титовым не 6 сентября, а на самом деле позже, задним числом, когда приказали его составить. В деревне был

фельдшер, которого позвали родственники. В блокноте первого журналиста, прибывшего в Герасимовку, Соломеина, среди записей показаний очевидцев находим возмущенные слова дяди Павлика, Онисима Островского: «Ведь нужно только описать раны. Они не ограблены, не задавлены, вином не опились, а злоумышленно убиты». Фельдшер наотрез отказался заменять патологоанатома. И все же он был единственным представителем медицины, который видел трупы. Причину отказа фельдшера можно понять: время было такое, что он просто побоялся это сделать. Но ни следователи, ни суд его даже не опросили, хотя фельдшер мог наверняка сказать больше, чем было написано полуграмотным милиционером в «Протоколе подъема трупов». Суду было известно, что в деревню позвонили из Тавды и велели похоронить детей до приезда следователя, но суд не выяснил, кто отдал распоряжение срочно похоронить.

Свидетели на суде рассказывали о торжественных похоронах пионера. Очевидцы, однако, рассказывали нам, что грязная телега с трупами подъехала к деревне. «Уложили мертвых детей на пол, возле двери, безо всего, без одежды, — вспоминает последняя учительница Павлика Морозова Зоя Кабина. — Мать увидела мертвых своих детей и потеряла возле телеги сознание. Ее в бесчувственном состоянии положили на ту же телегу возле мертвых детей и всех троих отвезли домой».

Во втором издании Большой Советской Энциклопедии говорится: «Убийцы были пойманы». «Пойманы» предполагает погоню или хотя бы поиск скрывшихся от правосудия лиц. Ни следствие, ни суд, ни пресса не задали важного вопроса: почему убийца совершил преступление так близко от деревни и не пытался скрыть следов преступления? Ведь рядом было болото, трупы засосало бы, и списали бы вину на медведей, которых тогда было много. Суд не удивило, что никто из подозреваемых не собирался прятаться от ареста, а в этих диких местах легко было уйти в другую деревню к родне или просто скрыться в тайге.

В процессе следствия число арестованных увеличилось с двух до десяти. Одного выпустили на свободу до суда. Суд не смутило, что аресты проводились произвольно, без санкции прокурора и без всяких улик. Первым был взят молодой крестьянин Дмитрий Шатраков, который в тот день ходил на охоту с собакой и ружьем. За арестом Шатракова последовал арест его брата, затем отца и третьего брата. Основанием служил старый донос, что Шатраковы держали незарегистрированное ружье. «При аресте, — вспоминал очевидец, — их всех избивали...»

Сейчас трудно восстановить после-

² Обнаружен нами в архиве Свердловского историко-революционного музея в виде машинописной копии. Подлинник, возможно, в недоступном для нас архиве. В цитатах сохраняются орфография и стиль документа.

довательность арестов. Родственник матери Павлика Лазарь Байдаков рассказывал нам: «Напротив деда Сергея Морозова жил Арсений Силин, женатый на его дочери. Когда брали деда Морозова, Силина забрали тоже. Держали в амбаре. Бабушку не сразу забрали. Она первое время носила им еду через всю деревню». Однако Ксения Морозова тоже была арестована, забрали ее внука Данилу и мужа дочери — Арсения Кулуканова. Потом был арестован Владимир Мезюхин, из соседней деревни, случайно зашедший к Сергею Морозову. Если верить газете «Колхозные ребята», то и десяти оказалось мало. Газета писала, что к суду привлекаются «и другие герасимовские кулаки и подкулачники».

Даже во время суда появлялись новые обвиняемые. Сначала богатый крестьянин Анчов, которого газета «На смену!» охарактеризовала так: «Анчов — вождь, идейный вдохновитель всей группы. Нет никаких сомнений в его центральной роли в гнусном преступлении». Но больше об Анчове не упоминали. Позже назвали еще одного убийцу — Рогова. Во время одного из заседаний суда на сцене появился неизвестный в дубленом полушубке и объявил, что Иван Морозов, сын Сергея и отец Данилы, живший в соседней деревне, тоже арестован — за покушение на жизнь уполномоченного по хлебозаготовкам. Позже, чтобы притянуть Ивана к данному делу, его обвинили в подстрекательстве к убийству своего племянника Павлика и попытке уничтожить общественный скот. «Иван во всем признался», — рассказывала нам учительница Кабина, — но был ни при чем». Осудили его потом отдельно.

Дело об убийстве Павлика и Федора было связано с доносом Павла на отца и арестом отца. Между тем следствие даже не попыталось привлечь в качестве свидетеля находившегося в лагере отца Павлика Трофима Морозова — первопричину конфликта. Не допрошен он был и в суде.

Основными доказательствами вины подсудимых были цитаты из докладов вождей Сталина и Молотова о том, что классовая борьба на отдельных участках усиливается, и обвиняемые являлись иллюстрацией правильности их высказываний. Прокурор говорил о предстоящей пятилетке, в которой будет построено бесклассовое общество, а для этого остатки враждебных классов (он указал на обвиняемых) должны быть уничтожены. Общественные обвинители вообще не доказывали вины, они поднимали над головами толстые пачки писем и телеграмм от пролетариев Урала, пионеров, читателей газеты и др. с требованием расстрела подсудимых.

С подсудимыми судьи разговари-

вали на «ты». Ксения Морозова в отчетах из зала суда именуется «старухой», а оправданный Арсений Силин — «убийцей».

В распоряжении следствия имелось два вещественных доказательства убийства, найденных в доме Сергея Морозова: нож, вынутый при обыске из-за иконы, и штаны с рубашкой, испачканные кровью, но неясно, чьи — Данилы или деда — и с чьей кровью. Суд не потребовал экспертизы пятен крови. Не было психиатрического освидетельствования обвиняемых. Несмотря на все указанные пробелы следствия, суд не вернул дело на доследование.

Больше того, вместо реальных доказательств некоторые «улики» перекочевали в судебное заседание из сочинений журналистов. Так, «Пионерская правда» сообщила, что герасимовские кулаки обещали заплатить за убийство золотом. В обвинительном заключении золото не упоминалось. Но на суде, согласно газете «Тавдинский рабочий», тема вознаграждения возникла.

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Тебе Кулуканов обещал золото, а ты знал, что у него есть золото?

МОРОЗОВ ДАНИЛА. Знал (не отвечает, обещал ли, дал ли, взял ли. — **Ю. Д.**)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Скажи прямо, Данила. Вот все, что ты здесь рассказал суду, это правильно, или ты просто наговариваешь, лжешь?

МОРОЗОВ ДАНИЛА. Я говорю так, как было дело, мне нечего скрывать, раз виноват, то виноват».

Если верить отчетам о судебных заседаниях в газетах, обвиняемые охотно признавались в убийстве и изобличали друг друга. Бабушка, «высокая старуха в черном», обвинила деда и остальных. Дед тоже всех разоблачил, хотя и лаконичнее. Данила, обвиняя своих родных, держался весело. Однако присутствовавшая на суде бывшая жительница Тавды Анна Толстая заявила нам: никто из обвиняемых на суде не признался, что убил, и она отлично это помнит. Никто!

Свидетели обвинения (около десяти человек) тоже не приводили фактов, но требовали от суда применения к обвиняемым высшей меры социальной защиты, то есть смерти. Свидетелей защиты не было вообще. В процессе участвовал всего один защитник Уласенко, который во время очередного заседания вышел вперед и заявил залу, что он возмущен поведением своих подзащитных и защищать их отказывается. После этого адвокат демонстративно удалился, и суд закончился без него. Судья и прокурор требовали от маленького внука показаний против родных, и десятилетний Алексей Морозов, которого заранее научили, что говорить, требовал смерти своих деда и бабушки.

Этот процесс продолжался четыре дня. Приговор, зачитанный при громкой тишине зала, гласил: «Кулуканова Арсения, Морозова Сергея, Морозова Данилу, Морозову Ксению — признать виновными в убийстве на почве классовой мести пионера Морозова Павла и его брата Федора и на основании ст. 58. 8 УК всех четверых подвергнуть высшей мере социальной защиты — расстрелять». Дядю Павлика Арсения Силина по непонятной и счастливой для него логике оправдали.

Неизвестные крестьянам люди, стоявшие позади толпы, громко запели партийный гимн «Интернационал». Журналисты писали: гимн был подхвачен всем залом. Деталь эта весьма сомнительна: крестьяне вроде герасимовских вряд ли могли выговорить само название гимна.

Итак, без доказанной вины расстреляли трех глубоких стариков: деда в возрасте 81 года, его жену 80 лет, зятя 70 лет. С ними убили девятнадцатилетнего внука. Крестьянин Проккопенко уверял нас, что подсудимых расстреляли сразу. Их вывели к яме, велели снять хорошую одежду и изрешетили пулями. Об этом с подробностями рассказывали в деревне агитаторы из райкома партии.

Для чего этот суд был нужен властям? Кто такой был на самом деле Павлик Морозов? Что за подвиг совершил?

КАК СЫН ДОНЕС НА ОТЦА

Предки Павлика Морозова были, по бюрократическому определению, инородцами, то есть людьми нерусской национальности. И жили они в западной части Российской империи, в Белоруссии. Белорусами были мать и отец Павлика — по крови, месту рождения и документам. И сам Павлик был белорусом. Об этой детали можно было бы и не упоминать, если бы властям не понадобилось превратить его после смерти в русского. В печати начали подчеркивать, что Павлик Морозов — русский мальчик, «старший брат» и тем самым служит примером для детей всех других народов. Чтобы не оставалось сомнений, писатель Губарев в статье «Подвиг русского мальчика» («Комсомольская правда», 3 сент. 1957 года) заявил, что Морозов родился у русской матери, чтобы и мать героя соответствовала требуемым стандартам.

В начале века Морозовы среди тысяч других белорусов подались искать счастья в Сибирь. Русское правительство поощряло освоение тайги инородцами. Отправка белорусов в Сибирь была частью политики русификации — их отрывали от своей земли, от языка. Но — добровольно. По дешевому тарифу крестьян довозили

до места, давали на мужскую голову пособие 150 рублей (деньги по тем временам немалые) и каждую весну — семена. Весь этот район Сибири заселяли белорусы. На отведенный участок пришли в 1906 году сорок семей, самый старший из мужиков был Герасим Саков, по нему и назвали деревню Герасимовкой. Дед Павлика с семьей зарегистрирован в Герасимовке с 26 октября 1910 года.

Географически Герасимовка находится в центре России, однако была и теперь остается глухой окраиной. Места эти чаще именуют Зауральем или Северным Уралом, хотя они относятся к Западной Сибири.

В прошлые времена на этих землях жил мирный народ манси. Русские пришли сюда впервые в XVI веке под началом Ермака и с оружием в руках вытеснили мансийцев подчистую. От них остались лишь названия некоторых деревень. Потом белорусы жгли и корчевали лес и пространство, отвоеванное у тайги, засевали. До недавнего времени обугленные стволы, навевая тоску, толпились вокруг деревни. Их спилили лишь недавно. Постепенно строили избы, зимой отправлялись на заработки в Тавду, на лесозавод, где сейчас работают заключенные, на строительство железной дороги. «Тяжело доставалось народу. Многие умирали без времени», — вспоминает один из старожилов.

Герасимовка так и осталась деревней. В соседних селах построили церкви. «А мы иконы привезли с собой», — вспоминает Беркина, двоюродная сестра матери Павлика, — в церковь ходили по особому случаю, обычно устраивали молебны у себя.

— А вы какой веры?

— Какой все, такой и мы! Не басурманы же!»

Попавшие сюда белорусы были в большинстве православные. Старики рассказывают, что в те давние годы по деревням ездили коробейники, торговали бусами, ружьями, скупали пушнину. Бывало, грабили их в тайге. В Герасимовке, которая стояла в стороне от тракта, в полной глуши, было спокойнее, чем в округе. Да и люди перероднились за годы совместного противостояния суровости жизни. Деревня была тихая, непьющая, работающая. Кровожадность появилась в «классовой борьбе», когда пришел 1917 год.

Самым крупным его событием в большой семье Морозовых была не революция, а женитьба второго сына

Трофима на Татьяне, в девичестве Байдаковой. Это были родители Павлика Морозова. Татьяна переселилась к Трофиму из соседней деревни Кулоховка. Была она по деревенским понятиям уже в возрасте, ей исполнилось двадцать, а Трофиму двадцать шесть.

«Трофим был ростом высокий, красивый, — рассказывала нам одноклассница Павлика Матрена Королькова. — Татьяна тоже крепкая и сложная складно, а черты лица правильные, и можно сказать, она тоже красивая». Для родителей Татьяны свадьба ее была радостью. У них был один сын и пятеро дочерей, а девки, как известно, в крестьянской семье обуза. Молодые поставили избу рядом с отцовской, на краю деревни, у леса. Дед с бабушкой отдали им часть нажитого добра. Через положенное время у Татьяны и Трофима родился первый сын.

Дата рождения этого мальчика — 14 ноября, если полагаться на энциклопедию или на издание герасимовского музея, где об источнике сказано: «На основании записи о его рождении». Саму эту записку нам найти не удалось. Согласноobelisku, установленному на месте дома, в котором он родился, Павлик появился на свет 2 декабря. Старый и новый стили не помогают объединить эти даты, тем более что и год рождения, указанный там — 1918, — вызывает сомнения. Разные авторы пишут, что в 1932 году, в момент смерти, Павлику было 11, 12, 13, 14 и 15 лет¹. Даже мать не вспомнила дату рождения сына. Осенью по распутью Морозовым бы и верхом до церкви в Кулоховке не добраться, а тут ударил лютой мороз, и по льду легко проехали в телеге туда и обратно. В церковь внес его дядя Арсений Кулуканов, тот самый, который заплатил жизнью за крестника. Но теперь мы по крайней мере уверены, что он родился в деревне Герасимовка, а путаница с его местом рождения вызвана бесчисленными послереволюционными переименованиями.

Окрестили мальчика Павлом, а звали Пашкой. Никто при жизни его Павликом не называл. «Пионерская правда» некоторое время именвала его Павлушей, а затем ласково Павликом. Это подхватила вся пресса. Теперь и в деревне употребляют имя Павлик — ощутимый результат воздействия на граждан средств массовой информации.

Если верить книгам, в 1917 году приехали в Герасимовку из волости большевики и вместо старосты избрали на сходе сельский Совет. Крестьянин Лазарь Байдаков, однако, утвер-

ждает: «Сельсовет тут организовался только в 1932 году. Мужики уходили воевать кто за Троцкого, кто за Колчака. Советской власти никто не понимал». Города, что южнее и важнее, переходили от белых к красным, от красных к белым многократно, но Герасимовки это не касалось. Деревня сеяла хлеб, убирала, излишки вывозила на рынок.

В Герасимовке изредка появлялись отряды с винтовками, отбирали продукты, не оставляя и для малых детей. Летом и зимой добраться до районного центра на лошади требовался день. Весной и осенью дорога уходила в болотную топь. Уровень земледелия Советской России 30-х годов соответствовал Англии XIV века. Белорусы-переселенцы жили своим натуральным хозяйством. Русских они не любили и называли «челдонами».

Началась коллективизация, но здешних крестьян она не слишком беспокоила. Никто ее всерьез не принимал. У стариков была уверенность, что скоро все вернется на старые рельсы. Попытки организовать здесь колхоз терпели неудачу. Получалось — и это вызывало раздражение новых властей, — что глухая деревня живет вопреки всем постановлениям партии и правительства, вопреки призывам. Мужики научились обходить острые углы. С уполномоченными хитрили. В разгар очередного голодования за колхоз кто-то с улицы истошным голосом кричал: «Горим!.. Пожар!..» И все разбегались — снова не себерешь. В работу по обложению налогом власти вовлекали милицию, комсомол, отряды Красной Армии, учителей, библиотекарей, рабочих из города. Крестьяне скрывали, сколько они производили зерна. Некоторые пытались выполнять так называемые «твердые задания», но вскоре поняли норов власти: выполнишь задание, тебе его еще увеличат.

Почему маленькая Герасимовка ухитрялась сопротивляться могучему молоху террора, который начал перемалывать крестьянство целыми губерниями? Нам кажется, причин по меньшей мере две. Первая: сюда переселились люди особого характера, упорства. Вторая: герасимовцы полагали, что их не тронут — из этой глухомани, из края ссылок, гнать уже некуда. Но они недооценили советскую власть и ее принципиальное отличие от власти царской.

Сюда в начале 30-х годов начали ссылать крестьян с Украины и с Кубани. Количество ссыльных по сравнению со старыми временами увеличилось в тысячи раз. Строились лагеря, а пока они не были готовы, конвой просто приводил очередной этап и оставлял ссыльных в лесу. Не тронутая человеком тайга отбирала людей и сортировала их сама. Вскоре стали поступать ссыльные крестьяне



¹ Картотека Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина называет годом его рождения 1921-й, т. е. 11 лет; 12, 13, 14 и 15 лет — в «Пионерской правде» 15 октября, 2 октября и 5 декабря 1932 г.

из центральных районов России. Газеты писали, что эти районы после высылки кулаков успешно справляются с коллективизацией. Местное же, уральское руководство мотало на ус: значит, и нам надо высылать тех, кто мешает. Куда же высылать из традиционного места высылки? А есть еще край вечной мерзлоты. В герасимовских местах ситуация сложилась трагикомическая: привозили одних, вывозили других, таких же. Тех и других под конвоем. Такова была картина в стране, когда в Герасимовке, в семье Морозовых, произошел ссора.

Как жили Трофим и Татьяна Морозовы, теперь невозможно установить. У них родилось пятеро детей, один вскоре умер. Примерно десять лет супруги прожили вместе. Потом Трофим ушел к молодой жене Соньке Амосовой (по рассказу Соломеина), Лучше Амосовой (по рассказу учительницы Кабиной) или Нинке Амосовой (по свидетельству Морозовой). Путаница имен объясняется тем, что у Амосовых было четыре дочери, и все красивые. Нина (именно ее, как выяснилось, выбрал Трофим) была из них самая симпатичная, нрава веселого, вспоминает Королькова, и, возможно, это потянуло к ней Трофима.

Татьяна Морозова нам рассказала: «Трофим вещи забрал в мешок и ушел. Приносил нам сперва сало, а потом стал пить, гулять. Нинка, шлюха продажная, до него сто раз замуж сбежала. Ее все бабы ненавидели за то, что отбивала мужиков. После войны я в Тавду за документами поехала и там в милиции увидела Нинку, она тоже за чем-то пришла. Я при полковнике-женщине говорю ей: «Ах, дрянь ты продажная, немецкая. У тебя детки — от кого ручка, от кого ножка, от кого лапка, от кого жопка. А у меня все законные. Ты — гадина подлая, из-за тебя мои дети порастерялись, сучка!» И полковник-женщина молчала, не вмешивалась».

Так или иначе, Трофим ушел от Татьяны перед ссорой со старшим сыном и имел две семьи¹. Жил он то у сестер, то у новой тещи и домой возвращался все реже. Факт, что Трофим ушел из семьи, невероятный, крестьяне от жен не уходили. И если он это сделал — поступок такой говорит о многом и не в пользу его первой жены. Соломеин, который не раз останавливался в доме Татьяны Морозовой, вспоминает (запись осталась в его блокноте и не вошла ни в книгу, ни в статьи): «Неряха. В комнате грязно. Не подбирает. Это результат российской некультурности. За это не любил ее Трофим, бил».

Когда читаешь книги о драме в деревне Герасимовка, остается непонятной причина, побудившая мальчика донести на отца. «Отец из семьи ушел, — вспоминает одноклассник Павлика Дмитрий Прокопенко. — Лошадь и корову надо было кормить, убирать навоз, заготавливать дрова — все это легло на старшего. Мать — плохая помощница, братья малы. Павлику было физически тяжело без отца. И когда возник шанс вернуть его страхом наказания, они с матерью попробовали это сделать».

«Мать толкала сына предать отца, — сказала нам 50 лет спустя учительница Кабина. — Она темная женщина, досаждала мужу, как могла, когда он ее бросил. Она Павлика подучила донести, думала, Трофим испугается и вернется в семью». Родственники Морозова тоже считают, что так оно и было. Сама же Татьяна Морозова, отвечая на наш вопрос, отрицала свое участие в доносе: «Павлик надумал, я не знала, он со мной не советовался». Между тем на суде, как утверждают очевидцы, Трофим Морозов заявил, что это Татьяна подучила сына донести. «Скажу так, — резюмировал Прокопенко, — не уйди Трофим из семьи — ни доноса бы не было, ни убийства, и героизм Павлика неоткуда взять. Но этого печатать нельзя!»

Советские писатели, игнорируя реальные факты, подменили конфликт между супругами Морозовыми политической борьбой. Это важно иметь в виду, переходя к подробностям первого героического поступка Павлика — доноса на отца.

Процесс подготовки к доносу, то есть сбора сыном компрометирующих сведений об отце, подробно описан в литературе. Отец, председатель сельсовета, приходил домой поздно, выпивал с родственниками, иногда вечером работал дома. По описанию журналиста Соломеина, все получилось так: когда Трофим дома, то и Павел тут. Глянул осторожно в дверную щелку горницы, где сидел отец, и замер. Отец пересчитывал деньги. Павлик ничего не сказал матери. Только решил наблюдать за отцом. Но ведь в действительности такая слежка была невозможна. Трофим не жил в доме. Чтобы «исправить историю», Соломеин сдвигает уход отца от матери на время после доноса сына, а при переиздании книги развод родителей убирает совсем.

Трофим работал, читаем мы в книге Соломеина «Павка-коммунист». «Тихо-тихо, стараясь даже не дышать, Павка встал и на цыпочках подошел к двери. Из горницы доносились приглушенные голоса. Павка прильнул к замочной скважине». Сын хочет выяснить, откуда у отца деньги, и догадывается, что они — от «классовых врагов». Из-за ночных бдений пионер начинает плохо учиться, позорит свой

отряд, но ему не до этого. Он весь — в шпионаже. У поэтессы Хоринской в стихотворной биографии Морозова, когда Павлик прислоняет ухо к замочной скважине, слушает и запоминает, ночная сцена приобретает еще более драматический характер. Просыпается мать, осознающая государственную важность деятельности сына. Она говорит в рифму: «Опять не спишь, сынок? Скоро полночь ступит на порог». А сын поясняет читателям: «Врагом стал отец мой, ребята, не мог я отца укрывать!»

В чем же, по словам писателей, вина отца Павлика? Трофим Морозов, председатель сельсовета, давал справки ссыльным крестьянам, чтобы, пользуясь этими документами, они могли вернуться на родину. Крестьян этих раскулачили в основном на Кубани и привезли в ссылку на Северный Урал, на лесозаготовки. Писатель Губарев привел в газете «Пионерская правда» в 1933 году полный текст документа.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие гражданину... в том, что он действительно является жителем Герасимовского сельсовета Тавдинского района Уральской области и по своему желанию уезжает с места жительства. По социальному положению бедняк. Задолженности перед государством не имеет. Подписью и приложением печати вышеуказанное удостоверяется.

Председатель сельсовета Т. Морозов

Документ этот с начала и до конца — сочинение самого Губарева. Через пятнадцать лет он передал его в книгу. В первом издании отец печатал справки на пишущей машинке в количестве пятидесяти копий. Позже пишущая машинка из жизнеописания Павлика исчезла. Выражение «жителем Герасимовского сельсовета» меняется на «жителем села Герасимовка». Район тогда назывался Верхнетавдинским. Губарев убирает фразу о задолженности и добавляет дату: 27 июля 1932 года. Эта дата вообще делает всю сцену абсурдной. Морозов-отец был к этому времени давно осужден и отправлен в лагерь.

Между тем Губарев рассказывает, как Павлик украл у отца такое удостоверение, чтобы отнести куда следует. Если не для себя, а для дела коммунизма, то можно и украсть. Коллега Губарева — журналист Смирнов — излагает эпизод иначе. Отец разорвал бракованную справку. «Не успели затихнуть во дворе шаги, как Павлик соскочил со своей постели и подобрал клочки разорванной бумаги у стола. Зажав их в кулаке, он быстро улегся». Утром Павел разжал руку и стал разбирать клочки бумаги, чтобы восстановить текст. В первых публикациях авторы писали, что Трофим брал за справки деньги.

¹ Единственное упоминание о разводе отца с матерью, буйной свадьбе с новой женой и гулянке, продолжавшейся неделю, имеется в книге Соломеина «В кулацком гнезде». После этого пресса о разводе резонно умалчивала.

Позже слово «деньги» заменили на «толстые пачки денег».

Кому же и куда донес Павлик на отца? Из многих лиц, которым мы задавали этот вопрос, ни один не сумел вспомнить что-либо. Все приводили сведения, взятые из опубликованных впоследствии книг. У разных авторов место это носит разные названия. Павлик сообщил: в милицию (Бюллетень ТАСС), членом сельсовета (писатель Коршунов в «Правде», 1962), представителю райкома партии (Второе издание БСЭ), представителю райкома Кучину, иногда именуемому Кочинным (буклет Свердловского музея), инспектору милиции Титову (во многих источниках). По версии писателя Мусатова, мальчик сообщил директору школы, а тот — уполномоченному по хлебозаготовкам (журнал «Вожатый», 1962). Возможен также уполномоченный Тавдинского райкома партии Дымов, который немедленно сообщил куда следует, и уполномоченный без фамилии, который «молод, плечист, в белой рубашке с расстегнутым воротом, в скрипучих сапогах» (Губарев, журнал «Пионер», 1940). Один и тот же следователь ОГПУ носит в разных изданиях фамилии Железнов, Самсонов, Зимин, Жаркий и др. Можно прочесть, что Павел сообщил в следственные органы (журнал «Пионер», 1933), в ЧК (газета «На смену!», 1972). И еще два поздних варианта: Павлик рассказал людям («Пионерская правда», 1982) и — рассказал всем (сборник «Подвигу жить!»). Речь, повторяем, идет об одном-единственном доносе.

Журналист Соломеин при переизданиях книг место доноса менял трижды. «Паша... пошел в Тавду и рассказал о проделках отца». (Первая информация с места событий в газете «Всходы коммуны».) Его идею заимствовал поэт Боровин в книге «Морозов Павел», причем для операции им выбрана ночь:

Он спешит. Теперь он все расскажет.
Он бежит, спешит в райком.
И тайга теперь его не свяжет:
Он без отдыха бежит бегом.

Однако от сюжетного хода с Тавдой авторам пришлось отказаться. Дорога шла болотами, были броды через реки, а зимой дорогу заносило. К тому же туда и обратно около 120 километров — почти три марафонские дистанции. Пробежать их без отдыха трудно. Возможно, поэтому после Соломеина в газете «Тавдинский рабочий» написал туманнее: «Павлик сообщил куда следует». А в книге Соломеина Павлик доносит уже на месте в деревне — приезжему: «Один из Тавды. Военный. С наганом. Товарищ Кучин».

Все фамилии сборщиков доносов, перечисленные выше, оказались вымышленными, кроме милиционера Титова. ЧК (Чрезвычайной Комиссии) к тому времени в стране уже не су-

ществовало. Что касается работников ОГПУ, то они могли появляться в деревне под любыми названиями и чаще всего как уполномоченные райкома или райисполкома. Не случайно еще в 1932 году Соломеин записал в блокнот слова матери Павлика Татьяны Морозовой: «Когда приехал товарищ Гелеву (т. е. ОГПУ), Паша все сказал».

А может быть, мальчик сочинил письменный донос? «Писал. Писал Павлик сообщение в ОГПУ, — считает Прокопенко. — Люди в деревне всегда найдутся, которые подготовят: посади отца, отомсти за то, что вас бросил. Иван Потупчик, его двоюродный брат, хотел сам стать председателем сельсовета, вместо Трофима. Он и подучил Павлика, куда и как написать». Эту версию мы попытались уточнить у Ивана Потупчика, когда с ним увиделись. «Помогал ли я ему бумагу составлять, — ответил он, — не помню. Но написать это можно, если захотите».

Губарев в «Пионерской правде» вначале тоже написал, что Павлик донес письменно: «Дай-ка, Яша, чистую бумагу, — внезапно проговорил Павел, поворачивая на свет лицо... — Напишем в ГПУ». А потом переделал донос на устный. Татьяна Морозова в одной из бесед с ним сказала: «Павлик написал письмо чекистам и вложил фотографию отца...»

На наш взгляд, письменный донос не исключает устного. Встреча с уполномоченным могла состояться для получения дополнительных улик и с целью выяснить саму личность добровольного осведомителя для будущих отношений. «Павел пошел в сельсовет, — пишет Соломеин в первой своей книге. — За председательским столом сидел человек в военном. Когда все вышли, Павел подошел к столу: «Дяденька, я расскажу тебе...» Человек все записал и пожал Павлу руку. Писатель Яковлев дополнил Соломеина. Было учтено: кому и сколько давал отец бланков, у кого их брал. Павел якобы донес на многих сразу. Уполномоченный резюмирует: «Раз врагом нашим стал твой отец, и отца надо бить».

Заметьте: бить! Приговор отцу произнесен уполномоченным сразу после доноса ребенка.⁵ В журнале «Пионер» писатель Губарев рассказывал, как Павлик украл у отца из-под подушки, когда тот спал, портфель с документами. Проснувшись, отец умолял сына: «Не губи, родимый!» А сын ночью бежит сообщить, или, как тогда говорили в деревне, доказать.

Описания эти важны не для выяснения жизненной правды, а для того, чтобы понять, как в прессе реклами-

ровался донос мальчика на отца. Через тридцать лет после появления в печати первой книги Соломеин переписал весь эпизод в новых красках. Перед доносом Павел хитрил. В школе он стоял с книжкой в руках. «Он лишь для вида листал ее, с беспокойством и ожиданием поглядывал в окно. Увидев, наконец, что отец вышел из сельсовета и направился к дому, Павка быстро оделся и выбежал на улицу». Опасаясь, чтобы его не выследили так же, как он выследил отца, мальчик старался незаметно пробраться к уполномоченному, прибывшему в деревню: «Павка зачем-то оглянулся, подошел к окну, посмотрел на улицу, во двор и только после этого осторожно присел на скрипучую табуретку».

Со стороны Павла — жажда подвига, со стороны уполномоченного — ремесло. Тот слушал, переспрашивал, уточнял, записывал: Павлик сообщил, что он пионер, председатель совета отряда, и уполномоченный перешел к инструктажу: «А ты, председатель, языком умеешь держать за зубами?» — «Умею!» — твердо сказал Павка и почувствовал, как забило сердце. — «Добро! Договоримся, значит. Во-первых, мы с тобой будто что незнакомы. Ты сейчас приходишь ко мне, а к отцу. А я даже не знаю, что ты сын Трофима Морозова. Во-вторых, ты со мной не разговаривал, спросил только, не знаю ли я, куда ушел отец. Понятно? И если ты увидишь меня даже у вас дома — будто впервые видишь меня. Ясно?»

Теперь он завербован по всем правилам! И чувство принадлежности к особому клану лиц, обладающих властью над людьми, зовет его к новым подвигам. «Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, следуя им, по истреблению их от лица твоего...» Но это уже не из Соломеина, а из Библии (Пятая книга Моисеева, 12, 30).

Через три или четыре дня после доноса Павла отца арестовали. Арест происходил обычным порядком, но в книгах писателей тех лет все выглядело как в детективном романе. Соломеин в последней своей книге описывает: «Пришли старички в лаптях, помолились, купили справки, а потом взглянули друг на друга и, как по команде, сорвали с себя парики. «Ты арестован, Трофим Сергеевич Морозов», — услышал Павка знакомый голос...» А вот другое описание: подослали к Трофиму в сельсовет незнакомое переодетого милиционера. «Это ошибка, товарищи, вы что-то смешали!» — услышал Паша взволнованный голос отца, и ему захотелось крикнуть: «Не смешали, тятя, не смешали!» Татьяна Морозова рассказывала нам еще эффектнее: «Павлик скомандовал: «Взять его!» И энкаведисты бросились вперед».

На самом деле никого не подсы-

⁵ В дореволюционном Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (статья 128) особо оговорено, что доносы от детей на родителей не применяются, за исключением особо опасных преступлений. Взятки за получение справок такими преступлениями не считались.

дали, и Павлик не заслужил еще офицерского звания в НКВД, чтобы командовать. Просто пришли с обыском и забрали. Авторам официальной мифа пришлось туго: если Павлик Морозов сообщил отцу, что донес он, то разглашается секрет полиции, а если молчал, то как же прогрессивное человечество узнало, что мальчик совершил героический поступок? «Через кого только дознались? — восхищался писатель Яковлев в книге. — Вот какая власть нынче, ничего от нее не скроешь». Автор явно стремился польстить тайной полиции.

Через три месяца, худой, рваный, грязный, заросший (Трофим до этого брил бороду) отец был приведен в суд в Герасимовку пешком под конвоем двух милиционеров. Кормить преступника в деревне было негде, а он едва держался на ногах. Его вторая жена Нина Амосова уехала из деревни и вышла замуж за другого. К Татьяне и детям Трофим заходить не захотел. Охранники отдали его отцу с матерью под расписку. Здесь-то и возник вопрос, кто донес.

Павлик пришел в дом деда, где был отец. Трофим спросил его о доносе. Сын сперва отрицал свою причастность и дал вдоволь потерзаться в догадках. Насладившись, Павлик нанес удар, сообщив, что это благодаря ему будет суд. «Трофим заплакал, — записал Соломеин показание очевидцев. — Мороз (дед. — Ю. Д.) соскочил, раз Пашке в ухо, второй...

Пашка заревел и спросил:

— Что делаешь?

— Убью паразита!

Мужики отобрали Пашку и увели».

Выездную сессию суда проводили в деревенской школе. Местом заседания выбрали класс. Павлик на суде был скромн и величествен. Поэтесса 50-х годов Хоринская рисует его весьма довольным собой:

И мне задавали вопросы,
Как звать-величать, кто родня,
И судьи «свидетель Морозов»,
Как взрослого, звали меня.

Замечательная речь Павла Морозова на суде имеется у нас в двенадцати (!) вариантах. Полностью приведем неопубликованный текст из архива Соломеина, как самый первый по времени. Оставляем на совести Соломеина достоверность и грамотность оригинала.

«Дяденьки, мой отец творил явную контрреволюцию, я как пионер обязан об этом сказать, мой отец не защитник интересов октября, а всячески старается помогать кулаку бежать, стоял за него горой, и я не как сын, а как пионер прошу привлечь к ответственности моего отца, ибо в дальнейшем не дать поводу другим скрывать кулака и явно нарушать линию партии, и еще добавлю, что мой отец сейчас присвоит кулацкое имущество, взял койку кулака

Кулуканова Арсения и у него же хотел взять стог сена, но кулак Кулуканов не дал ему сена, а сказал, пускай лучше возьмет х...»

Койку отец взял у родной сестры, на нее он хотел постелить сена. Заметьте: в речи нет ни фальшивой справки, ни взятки, ни единой улики. Для доказательства вины отца он добавляет к интересам октября (то есть революции) кровать и сено. Потом, в книге, Соломеин, разумеется, вставит в речь фразу о справках, выданных за взятки.

С чьих слов записал Соломеин речь Павла, установить не удалось. Единственная документальная ссылка на слова мальчика имеется в деле № 374 об убийстве Павла Морозова. Это «Характеристика на убитых Павла и Федора», подписанная работниками сельсовета. Но и она не содержит улики: «... При суде сын Павел обрисовал все подробности на своего отца, его проделки». Опубликованная в газетах, журналах и книгах речь Павла на этом суде восходит к тексту, составленному Соломеиным.

Печать сталинской эпохи рисует сцену суда с показательным цинизмом. На крик отца «Это я... Я! Твой батька!» Павлик, по словам журналиста Смирнова, заявил судье: «Да, он был моим отцом, но больше я его своим отцом не считаю». Эти слова в реальной жизни повторяли миллионы людей, проходя через допросы. Говорят, Трофим упал, услышав отречение сына. Губарев в отчете, опубликованном в «Пионерской правде», отделил чувства от убеждений: «Не как сын, а как пионер». «Пионерская правда» пошла еще дальше, назвав Трофима «бывшим отцом»: «Вспомните речь Павлика на суде своего бывшего отца-подулачника».

Поэт Боровин в 1936 году зарифмовал один из вариантов речи Павлика на суде:

Дяденька! Отец мой, — начал

Пашка, —

Помогал продакам кулака;
Помогал врагам, давал им справки.
Прикрывал их, как бедняка.
Да, теперь в их лапы всякий знает:
Он в совет пролез не зря,
И, как пионер, я заявляю:
Мой отец — предатель Октября.
Чтобы все кулацкие угрозы
Не страшили нас бы никогда,
Я отцу — предателю колхоза —
Требуя сурового суда...

Приговор вынесли поздно ночью. Журналист Смирнов в «Пионерской правде» писал: «Отца осудили и сослали на десять лет». Такой же приговор указан в Бюллетене ТАСС. Соломеин в книге указал, что отец получил не ссылку, а «десять лет строгой изоляции (то есть лагерей строгого режима. — Ю. Д.) с конфискацией имущества». Однако в документах говорится только о ссылке. В 1938 году в книге о Морозове Смирнов

вдруг заявил, что отца осудили лишь на 5 лет. Дело в том, что в органах юстиции тогда были обнаружены «враги народа» и объявлено, что зря пострадало слишком много трудящихся. В соответствии с политикой данного момента писатель сбавил Трофиму срок.

За что был осужден Трофим Морозов? Почему приговор за подделку документов был столь суров? Отца Павлика официальная печать описывала черной краской. Писатель Анатолий Алексин в «Литературной газете» называл Трофима тупым, корыстолюбивым, ничтожным и жалким. Художник Дмитрий Налбандян в «Комсомольской правде» писал: «Звериный облик отца Павлика». Писатель Губарев, вначале находивший в нем нечто человеческое, через несколько лет в новых изданиях приписал Трофиму новые черты. Отец стал пьянчужой, а затем и вором: он крадет в ларьке конфеты и сам их ест, а Павлик гордо отказывается от угощения. Еще позже Губарев превратил Трофима в «хитрого и злобного врага».

Между тем Трофим, по герасимовским меркам, был незаурядной личностью, его до сих пор поминают добром, в отличие от его первой жены, которую в деревне не любят. «Трофим не только не пил, но и не выпивал, это все ложь, — говорила нам учительница Зоя Кабина. — Высок, с красивой шевелюрой, стройный, хотя и полноватый, он был значительным человеком». Трофим был смелым солдатом в гражданскую войну, в боях за советскую власть дважды ранен. Оставленная им жена Татьяна говорила нам: «Восемь раз Колчак ранил его, жалко, что в девятый не убил». «Грамотный, авторитетный, — вспоминает Н. И., бывшая герасимовская жительница, — его избрали председателем сельсовета не так, как сейчас выбирают, — единогласно и лишь бы не меня! — а с обсуждением достоинств, с надеждой, что будет справедливым старостой».

Писалось, что несколько кулаков вытолкнули его в председатели, чтобы он укрывал их, но это неправда. Выдвигали его на собрании всей деревней, и долгое время он устраивал как народ, так и новую власть. Прежний председатель сельсовета проворовался. Учительница Кабина предложила на собрании избрать председателем Трофима Морозова. До самого ареста она была с ним в хороших отношениях и, стало быть, вряд ли могла, как писалось не раз, посоветовать его сыну донести.

Трижды переизбирался Трофим председателем, значит, крестьяне в нем не ошиблись. Благодаря уму и гибкости он умел находить среднюю линию между грубым давлением сверху и упрямым нежеланием мужиков делиться своим хлебом с боль-

шевиками. Трофим требовал оброка от односельчан, то есть выполнения поставок государству. Положение его было нелегким. Прибывшие в деревню уполномоченные добивались от председателя сведений: сколько у кого земли, применяют ли наемный труд. Они общались об этом наверх, а оттуда поступали списки на раскулачивание. «Многих арестовывал он и отправлял в Тавду», — писал Соломеин в первой книге. Крестьяне тоже угрожали Трофиму, что могут донести на его отца, что тот, будучи надзирателем в тюрьмах, издевался над большевиками, и тогда, мол, Трофима снимут с должности. Донос висел в воздухе.

Вместе с тем председатель сельсовета не очень шел на откровенность с уполномоченными, сдерживал чересчур агрессивных, готовых забрать хлеб подчистую. Трофим хитрил, преуменьшал сведения о запасах хлеба, научился делать туманные обещания в расчете на то, что присланного представителя сменит другой, более покладистый. И не ошибался: менялись они часто. «Выступая на собраниях», — писал Губарев в «Комсомольской правде», — он ратовал за колхозы, а дома подсмеивался над тем, что говорил на собраниях».

Но настал момент, когда сдержанность Трофима начала раздражать присылаемых сверху уполномоченных, и его решили убрать. В приговоре суда об убийстве Павлика обстоятельства дела Трофима звучат так: «... будучи председателем сельсовета, дружил с кулаками, укрывал их хозяйства от обложения, а по выходе из состава сельсовета способствовал бегству спецпереселенцев путем продажи документов». Выходит, что он вышел из сельсовета до ареста! Мы не знаем, убрали ли его чиновники из района, или он сам отказался сотрудничать с советской властью. В любом случае именно конфликт с властями и послужил толчком к месту — заведению на него уголовного дела.

Рассмотрим поступок, за который его осудили. Тобольская губерния, куда входила Герасимовка, была постоянным местом ссылки. Сюда попадали осужденные разных категорий, но в конце XIX и начале XX века — в основном за экстремистскую деятельность. По количеству политических заключенных эта губерния до революции 1917 года занимала первое место в России, 12 апреля 1913 года большевистская «Правда» в статье «Бедствия ссыльнопоселенцев» писала: «Вместо ссылки получается казнь. Удивительно ли, что, несмотря на грозящую за побег каторгу, большинство старается бежать с места ссылки, часто предпочитая рисковать каторгой, чем медленно умирать в тундрах Сибири». Под влиянием ссыльных местные жители проникались ненавистью

к существующим порядкам и оказывали содействие их жертвам. Бежал отсюда каждый второй-третий».⁶

Разумеется, помощь беглецам местные жители оказывали чаще всего за деньги. Бежавшие без особых трудностей попадали за границу. В 1900 году журнал «Тюремный вестник» (№№ 6—7) сообщал, что сибирскую ссылку высочайшим повелением отменили, а точнее — сократили на 99 процентов как наследие прошлого (вроде пыток и телесных наказаний), вредное для края. Ссылались лишь наиболее опасные представители подпольных организаций, в частности большевики. Сталина, например, арестовывали семь раз, ссылали пять раз, бежал он из ссылки четырежды. В разгар репрессий праздновали 30-летие первого побега Сталина из сибирской ссылки.

Сосланные Сталиным в Сибирь крестьяне рвались на родину, не понимая, за что их привезли сюда. Число ссыльных поселенцев в советское время постоянно росло: в 20-е годы сюда везли казаков с Кубани, в 30-е — украинцев, в 40-е — латышей, и все время — русских. Находились и люди, готовые им помочь. Но то, что с точки зрения большевиков было гуманно вчера, ныне, когда они захватили власть, стало преступным. В народе такая перемена взглядов не могла произойти быстро: ссыльные для сибирских жителей оставались страдальцами. В этом смысле деятельность большевиков пропала даром.

Царское правительство сравнительно мягко наказывало тех, кто помогал ссыльным. Теперь на них обрушились репрессии даже более жестокие, чем на самих беглецов. «В спецпоселках комендатуры следили за людьми, — вспоминает учительница Кабина. — Исчезает человек — сообщают, идут с собаками. Из Герасимовки тогда тоже выслали человек двадцать, и летом сосланные бежали сюда с Севера, жили в лесу, в шалашах, им тайно носили еду». Один из лагерей ссыльнопоселенцев находился в двадцати километрах к северу от Герасимовки. Здесь от голода и болезней в болотах умирали тысячи людей, привезенных с юга России. Им терять было нечего: кто не бежал, погибал в тайге.

Теперь, при советской власти, организаций, помогающих беглецам, не осталось, но отыскиались добрые люди. Трофим Морозов не был борцом за светлые идеалы справедливости, и если он помогал голодным и умирающим вернуться домой, он рисковал сам. Если за справки беглецам он брал деньги, то есть взятки, то деньги эти были ему нужны главным образом на пьянки с районными уполномоченными — в расчете на то, что

они будут милостивей и оставят часть хлеба жителям. Одного не предвидел Трофим — сыновнего предательства. Но брал ли он взятки?

«За сельсоветом следило ОГПУ, а не Павлик, — говорила нам учительница Кабина. — Но суд не мог доказать вины Трофима Морозова, и тогда сын заявил, что видел, как отец этим занимался. Павлик врал, так как в это время отец с ними уже не жил, и мальчик не мог видеть, как тот подделывал справки. Могла знать его мать, Татьяна, да и то из сплетен». Это подтверждает и крестьянка Беркина: «У Трофима улик не нашли, и он бы отвертелся. А Павлик заявил, что отец брал взятки. Павлик не был свидетелем на суде, как пишут, они сами с матерью пришли. И Татьяна давала на суде показания против Трофима, то есть донесла она сама. Тогда Павлик тоже показал на отца, даже судья его остановил: «Ты маленький, посиди пока».

Итак, возможно, Трофим вообще не был виновен в том, в чем его обвиняли. По меньшей мере, его вина на суде не была доказана. Он уже не работал в сельсовете. Фальшивые справки выдавались за деньги теми, кто там продолжал работать. Пойманные с поличным, они под страхом наказания свалили вину на Трофима, сделав его соучастником.

Мы недооценили бы роль секретных органов, если бы предположили, что те полагались только на мальчика. Наивно думать, что за четырнадцать лет советской власти, к моменту суда, ОГПУ не завербовало в деревне взрослых доносчиков. Но донос мальчика на отца все же можно считать доказанным фактом. Сделан он был не по политическим причинам. Реальная причина доноса — жгучая ревность оставленной женщины, решившей отомстить бросившему ее мужу.

Отца Павлика отправили по этапу на Крайний Север. Герасимовцы вспоминают, что он написал письмо Татьяне и детям — не из ссылки, а из лагеря. После убийства детей Морозовых заведующий клубом, бывший по совместительству секретарем партячейки, сочинил Трофиму ответ от имени Татьяны, чтобы он, как враг народа, больше сюда, в Герасимовку, писем не слал: нет тут у него ни жены, ни детей. 28 ноября 1932 года газета «На смену!» сообщила, что Трофим погиб.

(Продолжение следует)

⁶ Ссылка и общественно-политическая жизнь Сибири 18-го — начала 20-го веков. Сборник. Новосибирск, 1978.

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА ПЕРЕД СУДОМ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Написанный в основном весной — летом 1918 года сборник «Из глубины» с подзаголовком «Сборник статей о русской революции» имеет, кроме прочего, интересную и характерную самостоятельную историю. Инициатива создания сборника принадлежала выдающемуся русскому ученому и общественному деятелю акад. П. Б. Струве. Сразу после большевицкого переворота Струве уезжает на юг страны, где принимает участие в формировании положившей начало Белому движению Добровольческой армии генералов М. Алексеява и Л. Корнилова, состоит членом Совета Добровольческой армии в Ростове. В феврале 1918 года, после того как Добрармия покинула Ростов и ушла в знаменитый «Ледяной поход» на Кубань, Струве возвращается в Москву и там, будучи на нелегальном положении, продолжает выпускать журнал «Русская мысль». Тогда же у него возникает идея собрать своих единомышленников для издания сборника статей, в котором было бы откровенно выражено отношение ведущих представителей так наз. «веховского» крыла русской религиозной интеллигенции к совершившемуся революционному крушению России и к большевизму.

Свою идею Струве изложил в письме близкому другу и соратнику С. Л. Франку, который с сентября 1917 года жил и преподавал в Саратовском университете. В ответном письме Франк не только выражает согласие на участие в сборнике, но и предлагает название для него — «Из глубины» (так же, но в латинском варианте, называется статья Франка в сборнике — «De profundis»), с которым Струве согласился.

Название сборника исполнено глубокого, религиозного в своем основании, смысла. Эти слова — начало 129-го Псалма: «Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас

мой. Да будут уши Твои внимлюще гласу моления моего...» (Псалтирь, СХХІХ). Для уяснения сокровенного смысла этого Псалма обратимся к толкованию на него св. Афанасия Александрийского (IV в.) — одного из самых авторитетных византийских Отцов Церкви. Св. Афанасий пишет, что песнь «содержит в себе молитву мучеников», и это толкование точно указывает на тот фон, который определял собою мысль русских религиозных философов и писателей менее чем через год после «торжества Зверя» (как назвал часть своей статьи в сборнике С. Аскольдов). Уже к лету 1918 года реки крови, проливаемой от рук гонителей новомучениками и исповедниками Российскими, превратились в море без берегов. Сама Россия, как живой духовный организм, виделась нашим философам мученицей, страдающей от «духов революции» (Н. Бердяев) и распинаемой одуревшим от этих духов народом.

Но этот же Псалом напоминает нам о том, что в христианском нравственном космосе отчаяние и уныние — тяжкие грехи, а одна из главных христианских добродетелей, вместе с Верою и Любвью — Надежда! «От стражи утренния, — заканчивается Псалом, — до ночи, от стражи утренния да уповаеи Израиль на Господа. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и той избавит Израиль от всех беззаконий его». Св. Афанасий Александрийский пишет об этих словах Псалмопевца: «На Господа должно надеяться и во время грустных обстоятельств. Ибо не только в утреннюю стражу, когда предметы видимы неясно, и обстоятельства наши сумрачны, но и при воссиянии истинного света, прозорливый ум приемлет от Бога примуждение радостного и освобождение от печального. Да уповаем же на Господа, потому что в Нем, как в источнике, и у Него милость; Он есть избавление и очищение...».

Такое понимание Псалма, давшего название сборнику, отвечало и умонастроению его участников. Например, С. Булгаков, принявший вскоре священнический сан, заканчивает свою построенную по принципу диалога статью так:

«Общественный деятель: Россия! О, моя Россия! Что с тобою сделалось?.. Что мне до всемирно / исторических перспектив, если в них видится мне разлагающийся труп моей России?.. Ведь Достоевский нам говорил, что она — жена, облеченная в солнце»... Нет, все погибло, если погибла Россия, вся история не уда-

лась, высыпалась в зияющую дыру.

Писатель: Зачем маловерствуете? Жива наша Россия, и ходит по ней, как и древле, русский Христос в рабем, поруганном виде, не имея зрака и доброты. Не тот, которого Блок показал, не «снежный и вьюжный», но светлый вертоградарь в заветном питомнике Своем, зовет Он тихим гласом: *Ма-ри-я!* и вот-вот услышит заветный зов русская душа и с воплем безумной радости падет к ногам своего Раввунн... Кроме этой веры, кроме этой надежды ничего у нас более нет...»

Кончается статья торжественным возгласом **«Воистину воскрес Христос!»**.

На предложение Струве откликнулись и другие философы и публицисты, среди которых, кроме уже названных С. Франка, С. Булгакова и С. Аскольдова, необходимо упомянуть П. Новгородцева, Н. Бердяева, Вяч. Иванова, А. Изгоева, С. Котляревского и др. К осени сборник был окончательно готов и сдан в типографию Кушнарера. Но как раз в это время, после неудачного покушения Ф. Каплан на Ленина, по стране прокатилась первая мощная волна большевицкого террора, и уже сверстаный сборник останавливается цензурой. В подвале типографии сборник пролежал до 1921 года, когда во время Кронштадтского восстания рабочие типографии самовольно выпустили книгу ничтожно малым тиражом. Но сборник не вышел даже за пределы Москвы, так как был немедленно конфискован и уничтожен большевиками. Насколько известно, на Западе в 30-х годах сохранилось только два (!) экземпляра книги — у Н. Бердяева и слеписта из Амстердамского ун-та В. Бекера. В России же сборник попал, естественно, в кодекс суперзапрещенных книг.

Можно сказать, таким образом, что голос собравшихся на страницах сборника русских философов и общественных деятелей не был услышан широкой русской общественностью, причем из-за внешних, посторонних причин, в отличие от, скажем, сборника «Вехи», которые не были услышаны русской радикальной интеллигенцией по внутренним причинам — из-за нежелания и даже неумения слышать. Так было до 60-х годов, когда сборник был переиздан в Париже со вступительными статьями Н. Полторацкого и Н. Струве. С тех пор сборник «Из глубины» широко известен, но труднодоступен для читателя в России, где он сейчас особенно ценен и актуален, когда мы пытаемся

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы публикуем первую статью П. Б. Струве не только потому, что он был издателем и редактором сборника. Струве заслуженно считался духовным лидером того направления общественно-политической мысли, которое было названо «веховством». Франк, например, в своих воспоминаниях о Струве называет его «самым замечательным человеком нашего поколения, самой выдающейся личностью русской общественной и научной мысли последних лет XIX века и первых десятилетий XX века».

В ближайших номерах редакция предполагает опубликовать статьи С. Франка, П. Новгородцева, С. Аскольдова, Вяч. Иванова, С. Булгакова, А. Изгоева, С. Котляревского из сборника «Из глубины».

восстановить насильственно прерванную связь поколений и освободиться от революционного морока.

Сборнику «Из глубины» в истории осмысления русскими философами путей России и русской интеллигенции принадлежит особое место. Этот сборник как по составу участников, так и по основным защищаемым его авторами принципам непосредственно примыкает к ряду ранее вышедших знаменитых сборников «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (1909). Эти три сборника представляют собой последовательное развитие критики мирозерцания русской радикальной интеллигенции. В «Проблемах идеализма» критикуются позитивизм и материализм, доминирующие в сознании интеллигенции, и предлагается выход на путях идеализма и метафизики. В «Вехах» глубоко проанализирован и оценен с религиозных позиций не изжитый окончательно до сегодняшнего дня «нигилистический морализм» (С. Франк) как основа мирозерцания русской интеллигенции, — как радикальной, так и либеральной, — нечувствие этой интеллигенции к абсолютным ценностям Бога, истины и красоты.

В сборнике «Из глубины» авторы еще углубляют критику, впервые прозвучавшую в «Проблемах идеализма» и «Вехах», но главное в нем не критика, но продолжающийся поиск положительных основ общественного творчества, поиск новых путей для оказавшейся в тупике России и ее интеллигенции. Это неизбежное основание авторы «Из глубины» находят в религиозных началах общественной жизни и культуры, в духовных основах общества. «Всем авторам одинаково присуще и дорого убеждение, — писал в предисловии к сборнику П. Струве, — что положительные начала общественной жизни укоренены в глубинах религиозного сознания и что разрыв этой коренной связи есть несчастье и преступление». Можно добавить, что совершившийся разрыв стал действительным несчастьем для России и, с другой стороны, преступлением апостолов материализма и революционности, подготовивших его.

Исходя из положения о религиозных, духовных корнях общественной жизни, веховцы ищут положительные идеалы в государственном, национальном, правовом, культурном началах. Таким образом, в лице после-

довательных веховцев (в отличие от тех, которые, как Н. Бердяев, пошли впоследствии в другом направлении) русская интеллигенция прошла путь от легального марксизма и революционного радикализма через классический либерализм к так наз. «либеральному консерватизму» (основные положения этого направления политической мысли были сформулированы в 20—30-х годах П. Струве, С. Франком, И. Ильиным и др.), в котором естественно сочетаются и взаимообуславливаются социальное творчество и приверженность традициям, свобода мысли и религиозное мирозерцание, утверждение человеческих прав и свобод с оправданием государственного и национального начала и т. п.

Я убежден, что классические образцы русской политической мысли смогут сыграть, наконец, свою роль в построении будущего российского государства — будущей России — национальной, прогрессивной, чтущей право и собственность, православной и свободной.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

«ИЗ ГЛУБИНЫ. СБОРНИК СТАТЕЙ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА *

Судьба сборника «Из глубины» особая: он впервые выходит свободно в свет полвека после того, как был составлен. В 1918 году, сверстаный, он был остановлен цензурой. В 1921 году, выпущенный самовольно рабочими, он был немедленно конфискован. За исключением статей Булгакова и Струве, появившихся отдельными изданиями в 1920 году, и недавно опубликованной статьи Бердяева, содержание сборника оставалось неизвестным.

Революция 17-го года перед судом русской религиозно-философской и религиозно-общественной мысли — таково, сведенное к одной фразе, значение сборника. Правда, не все мыслители, давшие морально-философскую оценку событиям, приняли в нем участие: к полноте суда о революции следовало бы присоединить свидетельства кн. Е. Трубецкого («Звериное царство и грядущее возрождение России»), Льва Шестова («Что такое русский большевизм?»), Льва Карсавина («Диалоги») и несколько особое мнение, как всегда одинокого и противоречивого В. Розанова («Апокалипсис нашего времени»).

Поразителен — в отличие от поэтов — полный consensus русских мыслителей в восприятии Революции: лишенная всякой созидательной силы, она для всех них, с самого начала, глубочайшая духовная катастрофа.

Авторы сборника исследуют русскую Революцию в трех измерениях: в ее прошлом, настоящем и будущем.

Нигде с такой ясностью и остротой не были вскрыты те особые свойства русской души и условия русской истории, приведшие к взрыву 1917-го года.

Нигде конечная обреченность большевизма не была так глубоко проанализирована и обоснована.

Нигде страшные проявления Революции не были так ярко и беспощадно, не столько описаны, сколько предвосхищены.

«Шигалевщине» и «Гоголевским духам», провиденным

Бердяевым с первых же месяцев Революции, суждена была долгая власть, принявшая неслыханные размеры. Менялись с годами взгляды некоторых авторов, в частности того же Бердяева, но революционная действительность оставалась поразительно верна их оценке и описанию.

Но не менее пророческим сборник «Из глубины» оказался по отношению к нашему времени.

По счастливой случайности, но вероятно в силу какой-то тайной необходимости, сборник появляется накануне 50-летия октябрьской революции.

Никакие чудеса техники, приуроченные к этому дню, никакие торжества и многочисленные брошюры, восхваляющие достижения Октября, не заглушают того глубокого кризиса, который переживает Россия сейчас. Как 50 лет назад — кучка мыслителей, так сегодня — широкие слои новой русской интеллигенции зывают из глубины. Призывом **сегодняшнего** дня — уже нашедшим себе отзвук — звучат слова В. Н. Муравьева:

«Покаяние русского народа совершится возвращением его через прошлое к будущему, что одно и то же. При свете древней истины, указующей грядущий путь, русский народ познает свою внутреннюю скверну, свой грех лживости, корысти, элчности и разделения».

«Познание своей скверны», через обращение к неизблемым истинам прошлого, уже началось, как показывают покаянные мотивы и защита древних ценностей у некоторых современных «советских» писателей.

Не к воображаемой молодежи, а к конкретному «советскому» юноше конца шестидесятых годов обращены слова П. Б. Струве, которым 50-тилетняя давность дает лишь большую силу:

«России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину, но ей важно, чтобы ты чтит величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего».

И не выразил ли Булгаков последней истины сборника о будущем России, когда, в своих Диалогах, устами светского богослова, сказал: «... в России имеет культурную

* Предисловие ко 2-му изданию сборника «Из глубины», Париж, УМСА-PRESS, 1967.

будущность только то, что церковно — конечно, в самом обширном смысле этого понятия?»

Этими убеждениями горят уже некоторые в теперешней России. Они найдут в сборнике подтверждение их правоты и вдохновение для их дела.

Многие мучительно вопрошают себя о смысле постигших Россию событий: сборник станет частью их спора и поможет разрешить недоумения.

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Сборник «Вехи», вышедший в 1909 г., был призывом и предостережением. Это предостережение, несмотря на всю вызванную им, подчас весьма яростную, реакцию и полемику, явилось на самом деле лишь робким диагнозом пороков России и слабым предчувствием той моральной и политической катастрофы, которая грозно обозначилась еще в 1905—1907 гг. и разразилась в 1917 году. Историк отметит, что русское образованное общество в своем большинстве не вяло обращенному к нему предостережению, не сознавая великой опасности, надвигавшейся на культуру и государство.

Большая часть участников «Вех» объединилась теперь для того, чтобы, в союзе с вновь привлеченными сотрудниками, высказаться об уже совершившемся крушении — не поодиночке, а как совокупность лиц, несмотря на различия в настроениях и взглядах, переживающих одну муку и исповедующих одну веру. Взгляд одних из нас направлен непосредственно на конечные религиозные вопросы мирового и человеческого бытия, прямо указующие на Высшую Волю. Другие останавливаются на тех вопросах общественной жизни и политики, которые, не будучи вопросами общественной техники, в то же время лишь через промежуточные звенья связаны с религиозными основами жизни. Но всем авторам одинаково присуще и дорогое убеждение, что положительные начала общественной жизни **укоренены** в глубинах религиозного сознания и что разрыв этой коренной связи есть несчастье и преступление. Как такой разрыв, они ощущают то ни с чем не сравнимое морально-политическое крушение, которое постигло наш народ и наше государство.

июль 1918 г.

П. С.

ПЕТР СТРУВЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Божиим попущением за бесчисленные наши всенародного множества грехи над Московским Государством на всей Великой Российской земли учинилась неудобьсказана напасть.

Из грамоты патриарха Гермогена.

Того всего взыщет Бог на вас, что вы своим развратьем с нами не в соединены, да и окрестные все Государства назовут вас предатели своей вере и отечеству; но и паче всего, каков вам дати ответ на втором пришествии перед праведным Судиею?

Из грамоты ярославцев вологжанам. (1612 г.)

I

Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором — таков непререкаемый морально-политический итог пережитых нами с февраля 1917 года событий.

Разыскание причин той поразительной катастрофы, которая именуется русской революцией и которая, в

Есть и такие, кто еще не позволяет себе ставить вопросов, в них, будем надеяться, сборник пробудит сознание.

Но и всем, русским или иностранцам, все еще завоороженным мифом социалистической революции или размышляющим о его распаде, сборник необходим, как осмысление происшедшего и происходящего, как пророческое слово о грядущем религиозном возрождении России.

Н. А. Струве (Париж. 1967)

отличие от внутренних кризисов, пережитых другими народами, означает величайшее во всех отношениях падение нашего народа, имеет первостепенное значение для всего его будущего. Конечно, судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями. Они определяются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти. Но всякие такие стремления вливаются в идеи, в них формулируются. Явиться могучей движущей и творческой силой исторического процесса страсть может, только заострившись до идеи, а идея должна, в свою очередь, воплотиться в страсть.¹ Для того, чтобы создать такую идею-страсть, которая призвана покорить себе наши чувства и волю, заразить нас до восторга и самозабвения, — мы должны сперва измерить всю глубину того падения, в котором мы оказались, мы должны прочувствовать и продумать наше унижение сполна и до конца. Это — важная очистительная работа самопознания. Отрицательного самопознания, смешанного из раздумья, покаяния и негодования, недостаточно, однако, для возрождения нации. Необходимы ясные положительные идеи и превращение этих идей в могучие творческие страсти.

Я хочу наметить, как я понимаю те реальные психологические условия, которые привели нас к национальному банкротству и мировому позору, и затем развить, какие идеи-страсти могут и должны своим огнем очистить нас и спасти Россию.

II

Обычное ходячее объяснение той катастрофы, которая именуется, и впрямь будет, вероятно, именоваться **русской** революцией (хотя, в известном смысле, право ее на этот все-таки **морально** значительный титул довольно сомнительно), прежде всего заключается в ссылке на невежество и некультурность народа. Однако, это объяснение не может несколько удовлетворить ни политика, который как действенный и ответственный участник событий обсуждает их реальный смысл, ни историка, который объективно анализирует их и сопоставляет с прошлым своего и чужих народов. Русский народ был гораздо более невежественным и некультурным в эпоху Стеньки Разина и Емельки Пугачева, чем теперь; он был тогда во всем своем составе, так сказать, **сплошь** менее культурен, чем в наше время. С другой стороны, вряд ли современный русский народ в массе своей менее культурен, чем были народы французский и английский в эпоху их подлинных и подлинно-великих революций. У нас как-то очень легко забывают, что «культурность» народных масс там, где она налицо и поскольку она действительно наблюдается, есть приобретение почти исключительно XIX в., и что для XVII и XVIII в. о культурности этих масс даже у самых передовых народов Запада речи быть не может.

Таким образом, ссылку на некультурность народных масс мы должны решительно отклонить как поверхностную и, сказать откровенно, просто глупую.

Родственна ей ссылка на «режим» («старый порядок» и т. п.). Между тем, один из замечательнейших и по практически-политической и по теоретически-социологической поучительности и значительности уроков русской революции представляет открытие, в какой мере «режим»

¹ Для борцов за освобождение крестьян мысль о нем не была просто «мыслью», а, как свидетельствовал Николай Тургенев в объяснительной (оправдательной) записке о своем участии в движении декабристов, «страстью».

низвергнутой монархии, с одной стороны, был **технически** удовлетворителен, с другой — в какой мере самые недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в «бюрократии», «полиции», «самодержавии», как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа, или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались именно порядками и учреждениями.

Революция, низвергая «режим», оголила и разнузда-ла Гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак, и советская власть есть, по существу, николаевский городничий, возведенный в верховную власть великого государства. В революционную эпоху Хлестаков, как бытового символ, из коллежского регистратора получил производство в особу первого класса, и «Ревизор» из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. Гоголевско-Щедринское обличие великой русской революции есть непререкаемый исторический факт.

В настоящий момент, когда мы живем под властью советской бюрократии и под пятой красной гвардии, мы начинаем понимать, чем были и какую культурную роль выполняли бюрократия и полиция низвергнутой монархии. То, что у Гоголя и Щедрина было шаржем, воплотилось в ужасающую действительность русской революционной демократии.

III

Явление русской революции объясняется совпадением того извращенного идейного воспитания русской интеллигенции, которое она получала в течение почти всего XIX века, с воздействием великой мировой войны на народные массы: война поставила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских идей. Извращенное же идейное воспитание интеллигенции восходит к тому, что близоруко-ревнивое отставание нераздельного обладания властью со стороны монархии и узкого круга близких к ней элементов отчуждало от государства широкий круг образованных людей, ослепило его ненавистью к исторической власти, в то же время сделав эту интеллигенцию бесчувственной и слепой по отношению к противокультурным и зверским силам, дремавшим в народных массах. Старый режим самодержавия опирался в течение веков на социальную власть и политическую покорность того класса, который творил русскую культуру и без творческой работы которого не существовало бы и самой нации, класса земельного дворянства. Систематически отказывая сперва этому классу, а потом развившейся на его стволе интеллигенции во властном участии в деле устройства и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства. Это отщепенство и есть та разрушительная сила, которая, разлившись по всему народу и сопрягшись с материальными его похотями и вожделениями, сокрушила великое и многосоставное государство.

IV

Генезис и генеалогия этого отщепенства были в свое время в общих чертах указаны мною в «Вехах». ² С этой точки зрения может и должна быть когда-нибудь написана связанная и цельная история России в XIX и XX вв. Здесь я не могу даже представить выжимки из такой обобщающей исторической работы, но хотел бы все-таки осветить некоторые решающие моменты этого процесса отчуждения и отщепления от государства русских культурных классов, приведшего к революционной катастрофе 1917 г. и последующих годов.

Владимир Ильич Ленин-Ульянов мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте

ее развалин кроваво-призрачную Совдепию потому, что в 1730 году отпрыск династии Романовых, племянница Петра Великого, герцогиня курляндская Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицына с его товарищами-верховниками и добивавшееся вольностей, но боявшееся «сильных персон» шляхетство, и тем самым окончательно заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов пред независимой от них верховной властью. Своим основным содержанием и характером события 1730 г. имели для политических судеб России роковой предопределяющий характер.³

Монархическая власть, самодержавие победило тогда конституционные стремления и боярской аристократии, сильных персон, и среднего дворянства, шляхетства. И как самодержавие победило эти общественные силы? Опираясь на физическую воинскую силу дворян-гвардейцев, позднейших лейб-кампанцев, т. е. опираясь на солдатчину (солдатеку), непосредственно заинтересованную в торжестве монарха над сильными персонами и шляхетством.⁴ При этом была использована, как известно, рознь между двумя, весьма важно и то, как были смягчены и преодолены конституционные стремления шляхетства. Достигнуто это было удовлетворением некоторых его весьма жизненных интересов. Переворот 1730 года не дал политических результатов, был государственным фиаско шляхетства, но его отражение в императорском законодательстве ближайшей эпохи несомненно и весьма существенно шло навстречу шляхетским интересам.⁵ Таким образом, самодержавие, отказав культурному классу во властном участии в государстве, вновь привязало к себе этот класс цепями материальных интересов, тем самым отучивая его от политических стремлений и средств и приучая к защите своих интересов, помимо постановки и решения **политического вопроса**.

Дальнейший ход политического развития России определился событиями 1730 г. Верховная власть в течение XVIII и XIX вв. окончательно осознала себя как силу, независимую от «общественных», сословных в то время элементов и отложившаяся в такую силу. А общественные элементы за это время одной своей частью привыкли государственную власть мыслить только в этой независимой от «общественных» элементов форме и всю свою психологию **приспособили и принизили** до такой государственности. Другой же своей частью они все больше и больше отчуждались от реального государства, ведя с ним постоянно скрытую, подпольную, а временами открытую революционную борьбу. Это отщепенство от государства получило с половины XIX в. идейное оформление, благодаря восприятию русской интеллигенцией идей западноевропейского радикализма и социализма.

Конкретными этапами политической истории России, развертывавшейся в указанном направлении, были восстание декабристов и освобождение крестьян.

Восстание декабристов было по существу попыткой — перевести шляхетские замыслы XVIII в. на язык передовой европейской политической мысли XIX века и осложнить и дополнить постановку политических задач проблемами социальными (освобождением крестьян).

Освобождение крестьян было уже в XVIII веке пос-

³ Кроме общих сочинений по русской истории, из которых особенно ценны соответствующий том (XIX) «Истории России» Соловьева и монография Костомарова об Анне Иоанновне, наилучший свод и обзор материалов о событии 1730 г. дают книга Д. А. Корсакова «Возвращение императрицы Анны Иоанновны». Казань, 1880 г.; статья П. Н. Милокова «Верховники и шляхетство» в сборнике «Из истории русской интеллигенции». СПб., 1902 г.; и брошюра М. М. Богословского «Конституционное движение 1730 г.». Москва, 1906 г.

⁴ «За самодержавие ясно и положительно стояли гвардейцы: они были облаканы императрицей и могли надеяться на еще большее к себе внимание, после того как послужат ей теперь в трудных обстоятельствах» (Костомаров). Гренадерская рота Преображенского полка, произведшая переворот 25 ноября 1740 г. и возведшая на престол Елизавету Петровну, получила наименование «лейб-кампании». Отсюда выражение «лейб-кампанцы».

⁵ Ср. Корсаков, стр. 297 и сл. Милоков, стр. 49—51.

² Статья «Интеллигенция и революция», перепечатанная потом в сборнике «Patriotica».

тавлено как проблема личного освобождения крестьян-рабов, создания мелкой крестьянской собственности и землеустройства, как условие рационального землепользования.⁶ Личное освобождение крестьян назрело уже во второй половине XVIII века, когда было отменено прикрепление дворянства к государству в форме обязательной дворянской службы, и потому оно **запоздало на целое столетие, а это запоздание отсрочило и затянуло до нашего времени постановку и решение двух других сторон крестьянского вопроса** — утверждение земельной собственности и упорядочение землепользования.⁷

Запоздание личного освобождения крестьян на столетие и, во всяком случае на полустолетие, было лишь выражением и следствием, в области социальной, той победы самодержавия над конституционализмом, которую русская монархия одержала в 1730 г. **Крепостным правом русская монархия откупалась от политической реформы.** А запоздание личного крестьянского освобождения отсрочило и прочное установление мелкой земельной собственности и землеустройство.⁸ Теперь для нас должно быть совершенно ясно, что русская монархия рушилась в 1917 г. оттого, что она слишком долго опиралась на политическое бесправие дворянства и гражданское бесправие крестьянства. Из политического бесправия дворянства и других культурных классов родилось государственное отщепенство интеллигенции. А это государственное отщепенство выработало те духовные яды, которые, проникнув в крестьянство, до 1861 г. жившее без права и прав, не развившее в себе ни сознания, ни инстинкта собственности, подвинули крестьянскую массу, одетую в серые шинели, на ниспровержение государства и экономической культуры.

До недавнего времени в русском обществе был распристрастен, даже господствовал взгляд, по которому в России освобождение крестьян, к счастью, не было предварено дворянской или господской конституцией. Этот народнический взгляд, как в его радикальной, так и в его консервативной (монархической) версии, совершенно превратен. Историческое несчастье России, к которому восходит трагическая катастрофа 1917 г., обусловлено, наоборот, тем, что политическая реформа страшно запоздала в

России. В интересах здорового национально-культурного развития России она должна была бы произойти не позже начала XIX века. Тогда задержанное освобождение крестьян (личное) быстро за ней последовало бы, и все развитие политических и социальных отношений протекало бы нормальнее. Народническое же воззрение, гоняясь за утопией спасения России от «язвы пролетариата», считало и считает счастьем России ту форму, в которой у нас совершилось освобождение крестьян. Между тем, теперь уже совершенно очевидно, что крушение государственности и глубокое повреждение культуры, принесенные революцией, произошли не оттого, что у нас было слишком много промышленного и вообще городского пролетариата в точном смысле, а оттого, что наш крестьянин не стал собственником-буржуа, каким должен быть всякий культурный мелкий земледелец, сидящий на своей земле и ведущий свое хозяйство. У нас боялись развести сельский пролетариат, и из-за этого страха не сумели создать сельской буржуазии. Лишь в эпоху уже после падения самодержавия государственная власть в лице Столыпина стала на этот единственно правильный путь. Но упорствуя в своем реакционном недоверии к культурным классам, ревниво ограждая от них свои прерогативы, она систематически отталкивала эти классы в оппозицию. А оппозиция эта все больше и больше проникалась отщепенским антигосударственным духом. Так подготовлялась и творилась революция с двух концов, — исторической монархией с ее ревнивым недопущением культурных и образованных элементов к властному участию в устройстве государства, и интеллигенцией страны с ее близорукой борьбой против государства. В этой борьбе интеллигенция, несмотря на грозное предостережение 1905—1907 гг., точно руководясь девизом: *Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo**, натравливала низы на государство и историческую монархию, несмотря на все ее ошибки, пороки и преступления все-таки выражавшую и поддерживавшую единство и крепость государства.

Только немногие люди, живо ощущавшие роковую круговую поруку между пороками русской государственности и русской общественности,⁹ тщетно боролись с безумием интеллигенции, и с ослеплением власти.

Торжество социализма или коммунизма оказалось в России разрушением государственности и экономической культуры, разгулом погромных страстей, в конце концов поставившим десятки миллионов населения перед угрозой голодной смерти.

В том, что произошло, характерно и существенно своеобразное сочетание, с одной стороны, безмерной рационалистической гордыни ничтожной кучки вожаков, с другой — разнузданных инстинктов и вожделений неопределенного множества людей, масс.

Таково реальное воплощение в жизни проповеди революционного социализма, опирающегося на идею классовой борьбы. Вожаки мыслят себе организацию общества согласно идеалам коммунизма как цель, разрыв существующих духовных связей и разрушение унаследованных общественных отношений и учреждений — как средство. Массы же не принимают, не понимают и не могут понять конструктивной цели социализма, но зато жадно воспринимают и с увлечением применяют разрушительное средство.

Поэтому идея социализма, как организации хозяйственной жизни, — безразлично, правильна или неправильна эта идея, — вовсе не воспринимается русскими массами; социализм (или коммунизм) мыслится ими только либо как раздел наличного имущества, либо как получение достаточного и равного пайка с наименьшей затратой труда, с минимумом обязательств. Раздел наличного имущества, равномерный или неравномерный, с признанием или непризнанием права собственности, во всяком слу-

* «Если я не умилюю богов, то преисподнюю всколыхну» (Вергилий, «Энеида», VII, 312). [Прим. ред.]

⁹ «Patriotica», предисловие: «Между пороками русской общественности и пороками русской государственности есть роковая внутренняя связь, своего рода историческая круговая порука».

⁶ Напомним, что и для Радищева крестьянский вопрос сводился, в первую очередь, к личному освобождению, а затем к утверждению крестьянской собственности на землю, за которую они уплачивали подушную подать. Таким образом ему предносилось постепенное осуществление реформы.

Запоздалый и, так сказать, слитный характер крестьянской реформы 1861 г. воспроизводит в ослабленной «государственной» форме пугачевское решение 1774 г. В силу этого в реформе 1861 г. центральное место получило наделение крестьян землей. Другие два момента — личные права и утверждение земельной собственности на основе землеустройства не получили надлежащего признания и выпуклости ни у власти, ни в общественном мнении. В эпоху подготовки реформы это особенно ярко сказалось в известной формулировке ее задач Юрием Самариным. Пугачевский манифест 31.07.1774 г., провозглашавший освобождение крестьян, ставил разом две задачи: уничтожение личной несвободы и земельное устройство (не в смысле землеустройства, а в смысле наделения землей) крестьян, первое в патриархальной «самодержавно-государственной», второе в социалистической «народнической» обрисовке. Манифест этот гласил: «Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне, и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, волею и свободой вечно казаками, не требуя рекрутских поборов, подушных и прочих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями и солеными озерами без покупки и без оброка, и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцев судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений и желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прочих и иных злодеев дворян странствие и немалые бедства» (цитирую по В. И. Семевскому, «Крестьянский вопрос», т. I (СПб., 1888 г.); самый манифест впервые напечатан в сборнике Грота «Материалы для истории пугачевского бунта». (СПб., 1875 г.).

⁸ Критическая история крестьянского вопроса еще должна быть написана с расчленением трех его основных проблем: личного освобождения, утверждения земельной собственности крестьян и землеустройства. В русской крестьянской реформе эти три основные проблемы были частью подменены, частью поглощены проблемой «наделения крестьян землей». Извращение всей крестьянской реформы идеей «надела» привело к аграрной революции 1917 г., изживая которую стране придется с огромными трудностями и жертвами.

чае ничего общего с социализмом, как идеей организации хозяйственной жизни, не имеет и есть не конструктивно-социалистическая, а отрицательно-индивидуалистическая манипуляция, простое перераспределение благ или собственности из одних рук в другие.

«Справедливое распределение» в смысле получения каждым гражданином достаточного и равного пайка с наименьшими жертвами в лучшем случае заключительный потребительный результат социализма. Без социалистической организации народного хозяйства этот результат безжизнен и висит в воздухе, есть чистейшее «проедание» без производства.

Таким образом, социализм, как идея строительства планомерной организации хозяйства, явился в русской жизни рационалистическим построением ничтожной кучки доктринеров-вожаков, поднятых волной народных страстей и вождельцев, но бессильных ею управлять. Социализм же, как идея раздела, или передела имущества, означая конкретно уничтожение множества капитальных ценностей, упирается в пассивное потребление, или расточение, «проедание» благ, за которым не видится ничего, кроме голода и борьбы голодных людей из-за скудного и непрерывно скудеющего запаса благ.

VII

Отвлеченное социологическое начало классовой борьбы, брошенное в русские массы, было ими воспринято, с одной стороны, чисто психологически, как вражда к «буржуям», к «господам», к «интеллигенции», к «кадетам», «юнкерам», к «дамам в шляпах» и к т. п. категориям, не имеющим никакого производственно-экономического смысла; с другой стороны, оно, как директива социально-политических действий, было воспринято чисто погромно-механически, как лозунг истребления, заушения и ограбления «буржуев». Поэтому организующее значение идеи классовой борьбы в русской революции было и продолжает быть ничтожно; ее разрушительное значение было и продолжает быть безмерно. Так две основные идеи новейшего социального движения, идея социализма и идея классовой борьбы, в русском развитии вошли не как организующие, созидательные силы строительства, а только как разлагающие, разрушительные силы ниспровержения.

«Класс» мыслится, с одной стороны, как категория, разряд, для выделения которого взят какой-либо объективный социально-экономический признак: занятие (профессия, например, земледелие), положение в профессии (хозяин, служащий, рабочий), вид и размер получаемого дохода (заработная плата, жалованье, процент на капитал и т. д., доход до 1000 руб., от 1000 до 2000 руб. и т. д.) и т. п. С другой стороны, класс мыслится как такой разряд людей, объективная характеристика которого необходимо совпадает с известным сознанием или устойчивой настроенностью практически **всех** принадлежащих к данному классу индивидов. Учение о классовой борьбе отправляется именно от предположения о необходимом совпадении объективной группировки, класса в объективном смысле, с психологическим единством, с классом в социально-духовном смысле. Между тем, и для научного исследователя действительности, и для практического политика одинаково важно помнить, что именно связь между объективным моментом и психологическим (наличность этой связи, ее степень, ее характер и реальные выражения) составляет содержание реальной проблемы классового расчленения и классовой борьбы в истории и политике. Ходячее (марксистское) учение о классовой борьбе и развившаяся на его почве фразеология оперируют с нерасчлененным на объективный и субъективный моменты, смутным понятием класса и потому подлинной проблемы не замечают. Поскольку учение о классах отправляется от факта борьбы между классами, как первичного явления, постольку оно бессознательно предполагает, что каждому классу, который есть группировка по тому или иному объективному признаку, необходимо отвечает сознание единства или, по крайней мере,

известная объединяющая настроенность этой группировки, противопоставляющая ее другим группировкам.

Но сознание такого единства, как психологический факт и фактор, есть субъективный момент, который в индивидуальном сознании может существовать независимо от наличности и степени связи между ним и моментом объективным. Поэтому психологический факт классового сознания может в тех или других индивидах предвзвешивать совпадение этого сознания с социальной настроенностью целой группы. И так бывает по большей части именно в тех случаях, когда классовое сознание и опирающаяся на него классовая борьба принимает резкие, отчетливые формы. Это значит, что конституирование класса, как социологической величины, происходит путем психического внушения известного классового сознания определенной объективной группировке лиц, классу, как разряду. Поэтому с полным правом можно утверждать, что не наличность класса, как объективного разряда, порождает классовое сознание, а, наоборот, наличность классового сознания объективно конституирует класс, как социально-психическое явление, как социологическую величину. Это утверждение, которое я постоянно развиваю и иллюстрирую в своих чтениях по истории хозяйственного быта, есть лишь иное выражение того положения, что именно связь (наличность, степень и характер связи) между классом, как объективным разрядом, и классом, как социально-психическим единством, есть проблема научного исследования.¹⁰ Вне такого расчленения понятия класса учение о классовой борьбе есть плохой публицистический трафарет, пригодный лишь для демагогического употребления.

Вообще созидательных потенций нет и не видно в русской революции. И это было неизбежно, ибо в нашей революции 1917 г. идеи играли роль случайных украшений, орнаментальных надстроек над разрушительными инстинктами и страстями. Социалисты (коммунисты) желали воспользоваться этими инстинктами и страстями, как рычагом социализма, а массы воспринимали идею социализма, как санкцию своих стремлений, не желая вовсе ограничивать этих последних во имя идеала.

При этом вскрылось глубочайшее внутреннее противоречие, присущее обеим идеям: социализма и классовой борьбы, как реальным социально-психическим силам.

Идея социализма есть, с одной стороны, идея надиндивидуального устройства хозяйственной жизни, требующего от индивида подчинение его интересов, целей и действий интересам, задачам и жизненным отправлениям общественного целого. Социализм, как идея или начало известного строя, диктует индивиду самоограничение. С другой стороны, сознательным или бессознательным психологическим предположением социализма, как массового вероучения, является осуществление интересов и целей индивида. Пафос социализма, и именно революционного социализма, для масс лежит в осуществлении благополучия, и прежде всего материального, индивидов, это пафос чисто-материалистический и в то же время индивидуалистический, или атомистический. Таким образом, ре-

¹⁰ В качестве примера «классовых» образований, сложившихся на наших глазах и иллюстрирующих мою основную мысль, можно привести класс т. н. «младших (академических) преподавателей» (пользуясь указанием, сделанным мне Д. М. Петрушевским). Приват-доценты, ассистенты, лаборанты существовали многие десятилетия, но лишь после революции 1905—1906 гг. они себя или, вернее, их вожаки осознали их, как особое социально-психическое единство и противопоставили т. н. старшим преподавателям. Это явный случай социального подражания и его роли в процессе классового расчленения, ибо не может подлежать сомнению, что класс или группа младших преподавателей обособилась по образцу других классово-профессиональных группировок и притом в связи с особыми чисто-русскими приемами мышления (такой группировки нет на Западе). В средние века процесс дробления цехов и возникавшие в результате его цеховые распри, которые суть «формально» случаи групповой борьбы внутри других более широких группировок, иллюстрируют ту же мысль. Дифференциация цехов далеко не всюду отвечала дифференциации самой промышленности: в первой был элемент чисто-психологический, который в известном смысле можно было бы охарактеризовать как «искусственный», тем более, что часто цеховое дробление восходило генетически к фискальным соображениям власти, стоявшей над цехами.

альные психологические мотивы «социалистических» масс находятся в глубочайшем противоречии с отвлеченным идейным смыслом социализма, как идеей устройства общества и подчинения индивида интересам общественного целого.

То же следует сказать и о принципе классовой борьбы. Класс есть отвлеченная категория, в которой выражается реальное психологическое содержание совершенно не коллективного, а чисто индивидуального чекана. Говорят «классовая борьба», а ощущают как реальный мотив и жизненное задание, отстаивание индивидуальных интересов. Совершенно так толпа, производящая погром, хотя и является коллективом, быть может, даже организованным, движется в своем погромном действии индивидуальными мотивами захвата и обогащения. В этом глубочайшее отличие производящей погромы толпы, хотя бы она и была видимым образом «организована», от воинской части, спаянной не общностью индивидуальных мотивов, а единством независимой от лиц коллективной воли, выражающейся в дисциплине. Вот почему идея классовой борьбы могла подвинуть к разрушению армии и ее дисциплины, на разрушение экономической культуры в погромном вихре и так жалко неспособна и бессильна создать даже красную армию и заложить основы хозяйственной организации общества на принципе социализма. Это и значит, что идеи социализма и классовой борьбы, как идеи революционные, имеют над русскими массами силу и власть, только как индивидуалистические и разрушительные, а не как коллективистические и созидательные.

Это противоречие им присуще, это проклятие тяготеет над ними, как идеями революционными, ибо вообще самое понятие революции есть понятие отрицательно-разрушительное и с потенциями созидательными, т. е. со строительством жизни, просто сопрягаться не может. Строительство жизни может быть только эволюционным и, как коллективное действие, может и должно быть основано на возбуждении мотивов не индивидуалистических, а коллективистических. Как это на первый взгляд ни кажется парадоксальным, но «буржуазное» общество и «буржуазные» социальные формы (государство, войско, церковь и т. п.) гораздо больше проникнуты духом коллективизма (если угодно, социализма), гораздо более выражают начало обобществления и общественного действия, чем воинствующий революционный социализм, глубоко проникнутый материализмом и индивидуализмом (атомизмом). Это та же разница, которая существует между внешней войной и войной гражданской. Первая объединяет классы и индивиды в общем действии, объединяет, апеллируя к моральным мотивам, к личному самоограничению и самопожертвованию ради целого. Вторая разъединяет классы, отрицая целое и солидарность его частей. Но так как класс есть практически понятие чисто психологическое и субъективное (Ленин и Раковский принадлежат к классу пролетариев потому только, что психологически себя к нему прикомандировали), то грань между лицами различных классов проводится их чувствами: люди сознают себя принадлежащими к различным классам в меру взаимной вражды. Классы создаются враждебными чувствами личностей, а потому гражданская война разъединяет общество, делая его членов врагами между собой.

IX

Принципиально, по существу понятие нации есть такая же категория, как и понятие класса. Принадлежность к нации прежде всего определяется каким-либо объективным признаком, по большей части языком. Но для образования и бытия нации решающее значение имеет та выражающаяся в национальном сознании объединяющая настроенность, которая создает из группы лиц одного происхождения, одной веры, одного языка и т. п. некое духовное единство. Нация конституируется и создается национальным сознанием.

Нет никакого сомнения в том, что русская революция есть первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей. Я говорю «интернационализм» и «классовая идея» и совершенно сознательно ставлю эти понятия в один ряд. Интернационализм может быть двух типов: интернационализм мирный или пассивистский, призывающий нации к примирению и объединению во имя какого-то высшего единства, и интернационализм воинствующий или классовый, призывающий к расчленению мира не на нации, а на классы, враждебные друг другу. Первый интернационализм может быть так или иначе оцениваем в своих конкретных обнаружениях и стремлениях. Принципиально он ставит себе великую моральную задачу, и наивысшим, по духовному содержанию, образцом такого интернационализма было христианство, с его идеалом всеобщего церковного объединения. Методами этого интернационализма является проповедь духа любви и братства людей во Христе. Политические и социальные цели ему сами по себе совершенно чужды.

Другой смысл имеет воинствующий классовый интернационализм. Он кровно связан с идеей классовой борьбы и с настроениями гражданской войны. Внешняя война, как я уже сказал, отличается от гражданской в самом существенном: по своему моральному смыслу эти два вида войны прямо противоположны. Внешняя война объединяет людей, принадлежащих к одному и тому же народу; гражданская война, являющаяся лишь обостренным выражением классовой борьбы, их разъединяет. Внешняя война ограничена во времени, она должна так или иначе иметь окончание; гражданская война в той или иной форме мыслится как нечто постоянное или, по крайней мере, длительное. Отчего идея классовой борьбы с такой легкостью завладела душой русского народа и опустошила русскую жизнь? Объясняется это некоторыми стародавними моральными пороками, гнездившимися в нашем народе, междуклассовым и междучеловеческим недоверием и недоброжелательством, часто разгоравшимся до ненависти. Революция порвала в русском народе старые связи, объединявшие людей, связи национальные, государственные и религиозные, и не создала вместо них никаких новых. Идея классовой борьбы в русской бытовой атмосфере оказалась силой только разлагающей и разрушительной, отнюдь не сплачивающей и не созидающей.

Интернационалистический социализм, опирающийся на идею классовой борьбы, изведен Россией и русским народом, он испытан теперь на практике. Он привел к разрушению государства, к величайшему человеконенавистничеству, к отказу от всего, что поднимает отдельного человека над звериным образом.

Эта отрицательная школа, пройденная русским народом в революционную эпоху, дает нам в то же время положительные уроки и ставит творческие задачи перед народным духом. Эти положительные уроки и творческие задачи должны быть претворены в жизненное дело.

X

Жизненное дело нашего времени и грядущих поколений должно быть творимо под знаменем и во имя нации. Нация, как я уже сказал, есть формально такое же понятие, как класс. Национальное сознание так же образует нацию, как сознание классовое — класс. Нация — это духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общностью культуры, духовного содержания, завещанного прошлым, живого в настоящем и в нем творимого для будущего. Но в то время как классовый признак приурочивается к скудному социально-экономическому содержанию, не имеющему ни моральной, ни какой-либо иной духовной ценности, признак национальный указывает на все то огромное и нетленное богатство, которым обладает всякий член и участник нации и которое, в сущности, образует самое понятие нации. «В основе нации всегда лежит культурная общность в прошлом, настоящем и

будущем, общее культурное наследие, общая культурная работа, общие культурные чаяния».¹¹

Таким образом все задачи нашего будущего сходятся и объединяются в одной: воспитание индивидов и масс в национальном духе. Эта задача есть задача воспитательная, но всякое подлинное воспитание (и самовоспитание) — не только подготовка к жизни, а и сама жизнь и жизнедеятельность. Поэтому та задача, о которой говорю я, не есть какая-либо просто подготовительная работа: она имеет значение жизненное и в этом качестве окончательное. Русская нация и ее культура есть стихийный продукт всей нашей жесткой и жестокой истории.

Теперь она должна стать любовно-сознательно творимой стихией нашего бытия, той высшей ценностью, от которой, как от мерила, должны исходить и к которой должны приходить бесчисленные поколения русских людей. Для того, чтобы очистить место любовно-сознательному творчеству национальной культуры, русские образованные люди прежде всего должны освободиться в своем духовном бытии от того ложного идеала, разрушительное действие которого на народный дух и народную жизнь теперь окончательно познано. Это классовый интернационалистический социализм. Рядом с этим они должны отделаться от преклонения перед какими-либо политическими и социальными формами. Ни классовые интересы международного пролетариата, ни те или иные политические и социальные формы (например, республика, община, социализм) не могут притязать на какое-либо признание в качестве высших идеалов или ценностей. Национальная культура не подчинена каким-либо классовым интересам и не может быть замкнута в какую-либо определенную политическую или социальную форму. Место всякого класса в народной жизни определяется его участием в национальной культуре, и всякая политическая и социальная форма для того, чтобы оправдаться в истории, должна показать себя, в данных исторических условиях, наилучшимместилищем для национальной культуры, т. е. для духовного содержания, значение и смысл которого выходит за всякие классовые рамки и превосходит всякие политические и социальные формы.

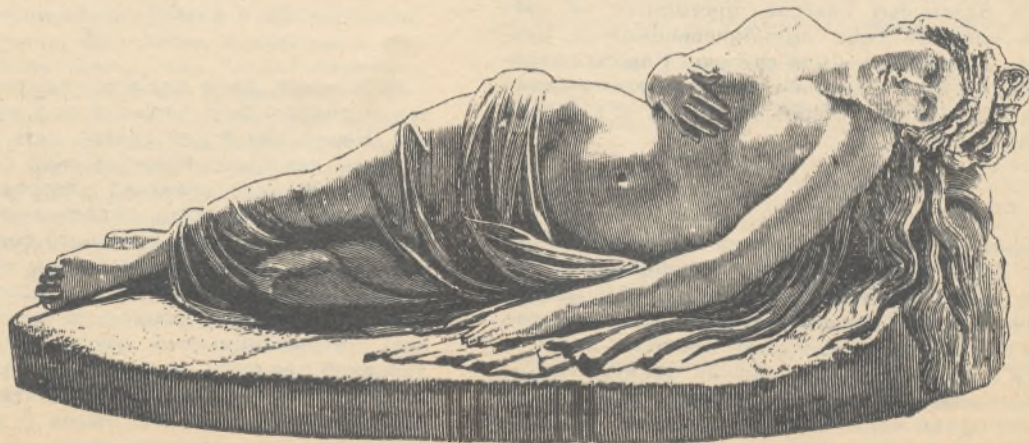
В том, что русская революция в своем разрушительном действии дошла до конца, есть одна хорошая сторона. Она покончила с властью социализма и политики над умами русских образованных людей. На развалинах России, пред лицом поруганного Кремля и разрушенных ярослав-

ских храмов, мы скажем каждому русскому юноше: России безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину, но ей важно, чтобы ты чтит величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего, чтобы благочестие Сергея Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра Великого, героизм Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими святынями, творилась и поддерживалась Россия, как живая соборная личность и как духовная сила. Ими, их духом и их помощью мы только и можем возродить Россию. В этом смысле прошлое России, и только оно, есть залог ее будущего. На том пепелище, в которое изверством социалистических вожаков и разгулом соблазненных ими масс превращена великая страна, возрождение жизненных сил даст только национальная идея в сочетании с национальной страстью. Это та идея-страсть, которая должна стать обетом всякого русского человека. Ею, ее исповеданием должна быть отныне проникнута вся русская жизнь. Она должна овладеть чувствами и волей русских образованных людей и, прочно спаявшись со всем духовным содержанием их бытия, воплотиться в жизни в упорный ежедневный труд. Если есть русская «интеллигенция», как совокупность образованных людей, способных создавать себе идеалы и действовать во имя их, и если есть у этой «интеллигенции» какой-нибудь «долг перед народом», то долг этот состоит в том, чтобы со страстью и упорством нести в широкие народные массы национальную идею как оздоровляющую и организующую силу, без которой невозможно ни возрождение народа, ни воссоздание государства. Это — целая программа духовного, культурного и политического возрождения России, опирающаяся на идейное воспитание и перевоспитание образованных людей и народных масс. Мы зовем всех, чьи души потрясены пережитым национальным банкротством и мировым позором, к обдумыванию и осуществлению этой программы.

«Быти нам всем православным христианам в любви и в соединении. И вам бы... помини общее свое... А нашим буде нерадением учинится конечное разоренье Московскому Государству... который ответ дадим в страшный день Христова», — в этих словах бесхитростной грамоты нижегородцев к вологжанам 1612 г. и в других аналогичных документах Смутного времени, в совершенно других, менее сложных, но, быть может, не менее грозных исторических условиях была уже возведена страсть и народу спасительная сила национальной идеи и духовно-политического объединения во имя ее.

Сим победиши!

¹¹ Ср. «Patriotica», стр. 103, где в пояснение этих мыслей я указываю: «Это было ясно еще в классической древности, где эллинизм было широкой национальной идеей, не умещавшейся в государственные рамки. С успехами «в мышлении и красноречии» Исократ связывал самую идею эллинской культуры (ἡλιενισμός): «Эллинами называются скорее те, кто участвует в нашей культуре, чем те, кто имеет общее с нами происхождение».



«ЭНТРОПИИ ВОПРОКИ»: ВОКРУГ СТИХОВ ТИМУРА КИБИРОВА

Поэма Т. Кибирова «Л. С. Рубинштейну» была прочитана автором этих заметок сначала в той ее части, которая печаталась в «Атмод» (21 авг. 1989), и уже затем полностью («Третья модернизация». № 7 1988.). Заметки написаны в промежутке между двумя чтениями, т. е. именно о газетной публикации. Знакомство с полным текстом не изменило **оценку** и не потребовало обязательно выстроить разговор «по порядку», но потребовало, разумеется, проверки сказанного. Дополнения же пришлось сделать минимальными — по отношению к полному тексту непропорционально краткими, а по отношению к автору (все чаще упоминаемому критиками в последние месяцы) и самой поэме несправедливо беглыми. Они помещены в виде постскриптума.

* * *

Стихи современного автора в газете (если она не является специально литературной) относятся обычно к разряду сугубо второстепенных текстов. Таковы же они чаще всего и по художественному своему достоинству, на которое, впрочем, издатели и читатели в этом случае не слишком рассчитывают. Публикация на газетном листе стихов, которые были бы фактом не только печатным, но и действительно литературным, — редкость. Появление Тимура Кибирова в «Атмод» — нечто большее, чем прорыв искусства в газету. Возьмемся утверждать, что поэма «Л. С. Рубинштейну» — один из ярчайших поэтических откликов на события последних лет, адекватное и сильное выражение глубоко травмированного, мятущегося и мучимого комплексами самосознания нашего общества.

Достаточно полный учет сегодняшней стихотворной продукции, конечно, затруднителен, но, насколько можно судить, поэзия до последнего времени продолжала смиренно ассистировать публицистике. Так — у опытных риториков Евтушенко и Вознесенского, что неудивительно, но так и у Кушнера — чистого лирика, отдающего дань злобе дня. Сила Кибирова (если говорить пока не входя в глубь текста) в решительном отрыве от всего, что могло бы быть подведено под обыденное понятие публицистического или гражданского. И именно поэтому написанное им будет иметь подлинное гражданское значение — в самом точном и высоком, сейчас заново обретаемом, смысле.

Отрыв этот не надо понимать как выбор литературной стратегии или преодоление определенного стереотипа. Его речь не программна и не рационалистична, а органична, истоки ее всецело лирические. Но перед нами, по-видимому, та разновидность лирического дара, которая не признает различий между поэзией герметической и всем открытой, интимно-личной и социально-ориентированной, «высокой» и «низкой», между балагурством частушки и утонченной духовностью, — ибо поэтическое слово живет всюду и всюду растет стих. В другом очень важном отношении Кибиров тоже «поверх барьеров»: прошлое и настоящее поэзии для него единый поток, отнюдь не раздвоенный на классику и модернизм или традицию и современность. Космос **всей** предшествующей русской поэзии и хаос сегодняшней речи в равной степени дороги и нужны ему.

Черпая из обеих стихий, он сумел ввести лирическое стремление в твердые, но и гибкие рамки большой словесной работы. Эмоция обнажена, речь то и дело срывается в крик — призыв «тельник на груди рванем» вполне последовательно реализуется, — но каждый вопль, каждый вульгаризм и самый мат, как ни странно, оказываются глубоко культурны, а культура и традиция не только остаются здесь неврежденными, но приобретают новую энергию и краски в столкновении с низовым словом. Кибирову удалось тот синтез искусства из языкового и литературного материала, о котором мечтает всякий пишущий. Наиболее

впечатляющим художественным результатом поэмы стал и, можно думать, останется в литературе и читательском сознании образ двуединой — культурной и варварской — России.

Но часть читательской аудитории, вероятно, задета и раздражена употреблением в печати табуированной (обсценной) лексики. Среднеинтеллигентный читатель может посчитать обращение автора к ней покусением на мораль, а читатели, к интеллигенции не принадлежащие и более или менее свободно прибегающие к мату в быту, — нарушением неких «правил игры», согласно которым литература должна «говорить красиво», не должна воспроизводить «некультурное» и т. д. (при том что одновременно выдвигается требование правдоподобия — чтобы было «как в жизни»). Понятно, что в таких ситуациях оценка произведения, чтобы быть беспристрастной, не должна совпадать с мнением тех групп читателей, которые исходят из незыблемости табу самого по себе, а не из собственно эстетических соображений.

С точки зрения чисто литературоведческой, обращение писателя к любому слою лексики и фразеологии в равной степени правомерно — вопрос может заключаться лишь в том, какова их **художественная** функция в произведении и, далее, какова художественная действительность. Постольку, поскольку речь идет об искусстве, — устраняются элементарно-этические, элементарно-педагогические запреты (в ряде других социальных сфер необходимые), как тематические (т. н. натуралистические описания, секс и др.), так и языковые. Тем самым проблема этической оценки уже неотделима от проблемы оценки эстетической, а эта последняя в современном обществе существует не кодифицированно (такое-то искусство хорошо, а такое-то дурно), но лишь как подвижное, колеблющееся, диалогическое соотношение неограниченного количества частных суждений, исходящих от любых потребителей искусства, от специалистов (критика) и от самих художников (если они высказываются о своих или чужих произведениях, выступают с манифестами и т. д.). Очевидно, что эстетическая оценка не может основываться на том или ином отношении к той или иной группе лексики — иначе она будет заведомо несоразмерной, будет игнорировать художественную конструкцию в ее сложном **целом** или даже вообще игнорировать конструктивный аспект, подменяя его аспектом **материала**, из которого строится произведение. Если целое квалифицируется негативно, то лексическая сторона сочинения может быть лишь одной из ряда причин такой квалификации. Если же оценка целого позитивна, то она либо распространяется на язык — именно такова моя оценка поэмы Кибирова, — либо полностью (что делает всю оценку внутренне противоречивой и в сущности подрывает ее) или частично не распространяется, но тогда неприятие какой-либо лексической группы должно квалифицироваться только как частный изъян данного сочинения.

В любом случае важно напомнить об относительности такого рода запретов и о подвижности, изменчивости их (от полного соблюдения до полной отмены) в истории культуры. Не касаясь здесь глубинных корней возникновения их в архаических обществах, напомним еще, что народная культура — фольклор, карнавал (в смысле М. М. Бахтина) — всегда проявляла повышенный интерес к игре с табу, к ритуальному или чисто художественному нарушению запретов, в частности языковых. Это относится и к русскому мату.¹ В развитых письменных культу-

¹ К сожалению, его почти не изучали у нас в течение десятков лет. Недавняя работа: Смолицкая О. В. Семантика мата и проблема семантического ядра частушки // Русская альтернативная поэзия XX века. Изд. МГУ. М., 1989.

рах действуют, по-видимому, во многом сходные механизмы. Так, в русской литературе XVIII в. был признанный мастер obsceneй рукописной поэзии Иван Барков. Умелый стихотворец, писавший в разных жанрах, переводчик Горация и Федра, филолог, он прославился именно «срамными» сочинениями, которые, как писал Карамзин, включая его в свой «Пантеон российских авторов» (1802), «хотя и никогда не были напечатаны, но редкому неизвестны». Как видим, Карамзин, создавший в России литературную культуру сентиментализма и начинавший в это время свою грандиозную «Историю Государства Российского», относился к произведениям Баркова без всякого ханжества и не считал, что они недостойны литературы и порочат имя автора. Примеры из текстов, опубликованных уже в виде литературного наследия, могут дать лишь слабое представление о Баркове. «Ода кулашному бойцу» была написана в т. н. ирои-комическом роде, но содержала и множество obsceneй слов и строк. Цитируем эту юмористику ломоносовских времен:

Вино на драку воспаляет,
Дает оно в бою задор,
Вино . . . разгорячает,
С вина смеясь крадет вор.
Дурак, напившись, — умнее

и т. д.

В подражание Баркову Пушкин написал в Лицее поэму «Тень Кораблева»; совершенно непристойны «юнкерские» поэмы Лермонтова; вообще, табуированные язык и ситуации (главным образом сексуальные) составляют особый слой на границе литературы и быта, причем некоторые виды литературного и социального поведения (иногда, в частности, идеологическая и политическая оппозиционность) предполагают демонстративное обращение к этому слою. Говоря словами А. Полежаева, «И сквернословие летает На пылких юноши устах» (из поэмы «Сашка», частично obsceneй и вызвавшей гнев Николая I; автор был отдан в армию). Оно летает и в поэме Вас. Пушкина «Опасный сосед» (1811), вызвавшей восторг современников; правда, мат был представлен только одним словом — зато педальировалась непристойность сюжета и антуража:

«Ни с места, — продолжал Сосед велеречивый, —
Ни с места! Все равны в борделе у б . . .
Не обижать пришли мы честных здесь людей.
Панкратьевна, садись; целуй меня, Варюшка;
Дай пуншу; пей, дьячок». И началась пирушка!

< . . . >

Купец почувствовал к Варюшке вожделенье
(А б . . . , в том спору нет, есть общее имя),
К Аспазии подсев, дьячку он дал толчок

и т. д.

«Сосед велеречивый» — Буянов попал потом в «Евгения Онегина». «Сквернословие» самого Пушкина хорошо известно. Эта линия его речи идет от лицейских вещей, уже упоминавшейся «Тени Кораблева» или такой жанровой картинке, как «От всеобщей вечер идя домой . . .» («В чужой п . . . соломинку ты видишь, А у себя не видишь и бревна» — следует учитывать и кощунственный характер стихотворения, связанный не только с упоминанием церковной службы, но главным образом с пародированием в цит. строках евангельского текста — см. Мтф. 7, 3—5; Лк. 6, 41—42), — через дружеские послания последующих лет («Здорово, Юрьев, именинник . . .», «Мансурову») и письма периода ссылки (они, как неоднократно отмечалось, имели литературное значение) — к таким стихотворениям зрелой поры, как «Рефутация г-на Беранжера» (политического назначения куплеты с рефреном, заканчивающимися строкой «Ты помнишь ли, скажи, е . . . мать?») и «Сводня грустно за столом . . .» (своего рода контрастный pendant к «Опасному соседу»).

А вот как звучит «Русский бог» П. А. Вяземского — это

звучание 160-летней давности особенно любопытно, потому что здесь такие же куплеты 4-стопного хорея и с такой же рифмовкой, что и у Кибирова:

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.

Бог грудей и ж . . . отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.

< . . . >

К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть нестати,
Вот он, вот он русский бог.

Стоит поучиться у двух предшествующих нам веков русской поэзии спокойному и нелицемерному отношению к бранной экспрессивной речи, умению читать фривольные сочинения в художественном ключе, избегая нерассуждающего порицания.

Историк литературы, как и историк общества, — это «пророк, предсказывающий назад». Но в некоторых ситуациях литературовед имеет возможность сделать кое-какие предположения о будущем. Фундаментальная прозаизация поэтического языка в XX веке, очевидное стремление художественной прозы к использованию всех без исключения наличных лексико-фразеологических ресурсов, с оперативным введением разного рода речевых новаций (иногда играющих роль зауми), тенденция к «стенографической» передаче живой речи без условно-литературных приемов ее обработки (что также может давать «заумный» эффект), активность в последние два-три десятилетия молодежной культуры и андерграунда — все это позволяло предвидеть, что конвенциональные области «неприличного» в литературе будут все более сужаться и, в частности, такая глубоко укорененная, широко используемая экспрессивная лексическая группа, как русский мат, проникнет в печатные художественные тексты. Действительно, творчество, скажем, Высоцкого, Петрушевской, Вен. Ерофеева настолько расширило представления о «литературной свободе», в том числе языковой, что запрет на obscene лексик в печати, на подмостках и на экране начинает ощущаться как эфемерный, да и фактически уже не всегда соблюдается.² Кибиров лишь реализует (достаточно умеренно) то, что потенциально существует в литературном процессе, а в русской эмигрантской литературе и активно используется.

Возьмем два примера из рассказа Сергея Довлатова «Представление». В первом obscene слово имеет предметное значение, во втором — чисто коммуникативное.

1) «Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный экз. Он скрежетал наручниками и громко пел:

² Характерна ситуация вокруг нового фильма Киры Муратовой «Астенический синдром». Признанный как специалистами, так и Госкино значительным произведением, он, однако, пока не появлялся на экранах из-за одного наполненного матом эпизода, в связи с чем, помимо обычных предложений о купюрах, обсуждалась возможность ограниченной демонстрации фильма. Прогрессом, во всяком случае, явилось заявление одного из ведущих работников главлита: «Хотя эти выражения называются нецензурными, к цензуре они никакого отношения не имеют». См. материалы под калымбурным заглавием «Поле брани» — «Комс. правда», 22 дек. 1989, с. 4; ситуация вообще продуцирует каламбуры — ср. заметку Г. Симановича: «Шах» и мат. — «Сов. культура», 27 янв. 1990, с. 9 («Шах» здесь — председатель Госкино А. И. Камшатов). Затем Госкино разрешило прокат фильма только в клубах.

— А я иду, шагаю по Москве...

— Повело kota на блядки, — заворчал дневальный».

2) В лагере замполит Хуриев ставит одноактную пьесу «Кремлевские звезды», «Ленина играет вор с ропчинской пересылки, Потомственный шипач в законе. Есть мнение, что он активно готовится к побегу...». В роли Дзержинского — Цуриков, по кличке Мотыль, из четвертой бригады. По делу у него совращение малолетних». Хуриев ведет репетицию: «— Поехали... Входит Дзержинский. А, молодое поколение?!

Цуриков откашлялся и хмуро произнес:

— А, блядь, молодое поколение?!

— Что это за слова-паразиты? — вмешался Хуриев».

В обоих случаях автором найдены ходы, позволившие усилить комический эффект по сравнению с тем, что дало бы само по себе столкновение мата с «литературой». В (1) таким ходом является инверсия речевых примет: уголовник выступает носителем не блатного, а литературного (и официализированного посредством кино и радио) репертуара, тогда как мат — обценный вариант (исконный? новация?) идиомы «повело kota на мясо» — исходит от «представителя закона»; дальнейший диалог (перебранка) и показывает полную тождественность этих персонажей. В (2) усиление достигнуто за счет нарушения границ бытовой ситуации — невинная реплика «начальника», конечно, не правдоподобна, а чисто условна.

Особый интерес представляет использование мата в нехудожественных или несобственно-художественных текстах. Так, М. М. Пришвин в дневнике 1931 г. сопоставляет «барское» философское nihil, интеллигентский нигилизм — с бытовым «ни х...!», которое «живет в улыбающемся оскале русского народа. (...) Иногда это бывает в улыбке Максима Горького, на каком-то снимке видел где-то я, Ленин и Сталин так улыбаются («ни х...!»). Пришвин касается еврейской темы, «скифства» и набрасывает анализ этого «ни х...!», «чтобы понять, почему же из него выходит не скифия анархическая, а военный социализм... не Блок, а Сталин».⁴ Таким образом, обценное речение наделяется неким метафизическим смыслом, описывающим существенные свойства национальной психологии. И не трудно увидеть, что Кибиров остро чувствует как раз эти свойства, работает именно с этой семантикой.

Хотелось бы, наконец, конкретнее сказать о самой поэме Кибирова (а не по поводу нее), подтверждая и мнение, выраженное в начале этих заметок, и только что высказанное.

В замысле поэмы первостепенное значение имеет один «большой» параллелизм, а затем и отождествление: Россия — и российская словесность от Пушкина до советской официальной песни недавнего прошлого. Блестящая цитатная техника автора обеспечивает прочность, игровую насыщенность и тонкость стихотворной ткани. 12-й фрагмент (первый в публикации «Атмоды»⁵) построен на пародировании поэтизмов прошлого века (вплоть до «прелестницы младые») и анакреонтической ситуации дружеского пира под знаком Вакха и Киприды; два начальных стиха последнего катрена напоминают даже о Державине («На прогулку в Грузинском саду»). Последняя строка могла бы оказаться таким же невинным локально-комическим ходом, каким был выше «шашлык», но в следующем, 13-м фрагменте выясняется, что она имеет композиционное значение, переводя текст в другой эмоциональный регистр.

Но не только эмоциональный: сказав «мы в России», поэт начинает разрабатывать пространственно-моторную семантику, создавая (квази) панораму отечества с некой движущейся точки зрения. «Белеющие березы» из «Родины» Лермонтова намекают на то, что Кибиров варьирует тему «странной любви» к России, развитую в этом стихотворении. Но у него она приобретает черты трагического гротеска. Трагическое (любить Россию — пропасть) заяв-

лено в первой же строфе, гротескное открывается в нарастающем хореическом движении. Исследователи указывали на семантический ореол движения, сросшийся с пятистопным хореем после «Выхожу один я на дорогу...». Кибиров демонстрирует моторные возможности четырехстопного. Кульминация фрагмента — 6—7-й катрены. Здесь средствами сначала чисто вербальными (нагнетение слов и фразеологизмов, не соединенных во фразы, причем интонационный строй строфы препятствует пониманию их как номинативных предложений) и фоническими (внутренние рифмы) создается иллюзия быстрого движения. К моторной семантике приобщена и обценная лексема, занимающая промежуточное по своему грамматическому статусу положение между словом и фразеологизмом, — ср. рядом стоящее в стихе составное слово «марш-бросок» и идиому «елки-палки» в предыдущем. Затем семантика движения получает и более непосредственное выражение в ряду топонимов — имен собственных (находчиво подсутнут в этот ряд отнюдь не топоним «Иван-чай»), с «железнодорожным» намеком «Львов — Хабаровск, Кушка — Выборг» и т. д. Но поэт не мог обойтись без исторической и, еще более того, фольклорно-литературной тройки (и такового же, за вычетом фольклора, фельдъегеря). Мрачный заключительный аккорд фрагмента трехзвучен: цитата из песни, две идиомы, связанные внутренней рифмой, — и две строки из пушкинских «Бесов».

В 14-м фрагменте «русский путь» продолжается. Слуховая память помогает оценить цитатный зачин и этого «жаворонка» из песни, тысячи и тысячи раз исполнявшейся по радио и на всевозможных парадных концертах от Кушки до Выборга (не полностью, кажется, вышедшей из репертуара и теперь). «Это все мое, родное» — из той же или такой же песни, где была опять-таки на десятилетия застрявшая в ушах строка «И все вокруг мое», возглашавшаяся певцом с запредельной убежденностью. В этом смысле следующий стих поэмы, увенчанный матом, лишь воздаст должное официальной песенной лирике и эпике; выражение, употребленное поэтом, часто и используется в быту для суммарного обозначения такой речи (и отношения к ней слушающего), которая ощущается как фальшивая, «ненастоящая», как болтология. Но подлинное обаяние Кибирова в том, что именно эти строчки, казалось бы целиком издевательские, скрывают в себе очередное признание в любви к России. Обценная идиома таит чистой воды сентимент: «это все», уродливое, глупое, ложное, страшное, — оно на самом деле «мое» и «родное». Хотя бы уже в силу одного того, что был Пушкин, любивший эти пространства, ужасавшийся им и написавший о них стихи (а за ним Гоголь с «птицей-тройкой» и вопросом о том, «что значит это наводящее ужас движение»). Цитаты из «Зимней дороги» идут здесь же и в следующей строфе. Они начинаются со словечка «то», и, приравнявшись к нему, поэт затевает на три строфы игру с перечислениями, а заодно и с грамматическими значениями «то» (союзными и местоименными). Перечисления эти — несомненно, те же «версты полосаты» из названного пушкинского стихотворения.

Начало 15-го фрагмента — острый пародийно-частушечный параллелизм первого катрена и реплика 5—6-го стихов, аккумулирующая опыт пролетарского интернационализма (и точно попадающая в сердцевину наивно-великорусского сознания), — явно претендует на статус «крылатых слов» и в этом качестве должно в будущем облечься «домашней семантикой» и войти в интеллигентскую речь. После таких острот можно было и закруглить куплет, но следует новое усиление — и новый эмоциональный переход. Начинается плач — четыре с половиной строфы, которые открыто и сполна показывают нам специфический феномен, возможный лишь в этой литературоцентрической культуре: отождествление России с ее литературой. Плач выдержан в том же синтаксисе перечисления, что и пространственные 13—14-й фрагменты, — отождествление физически ощутимо. А «чучмек обычный» уже перекидывает мост между словом родной ему литературы и тем, которое согласно евангелисту Иоанну было в начале.

³ Довлатов С. Представление и другие рассказы. New York, 1987, с. 70, 75, 80.

⁴ «Октябрь». № 1, 1990, с. 157—158. С нетерпением ждем реакции И. Р. Шафаревича и его коллег на эти рассуждения.

⁵ В первых двух стихах этого фрагмента — опечатка, нарушающая метр: «видел» вместо «видал».

Со «Словом за душою» и надо читать беспощадный 16-й фрагмент. Игровая энергия поэта неиссякаема. И что особенно замечательно: он играет отнюдь не только островами, цитатами или созвучиями и диссонансами ловко табуемых идиом. Вполне в простоте молвит он начало этого фрагмента: «Ты читал газету «Правда»? Что ты, Лева! Почитай!» — а кажется, ничего смешнее нельзя и придумать. Но не скажешь и жесточе, чем в третьем катрене; вот где стих рывками рифм, концевых и внутренних, «поэзией грамматики» (вариантность окончаний на 'ие, 'ье') оставляет публицистику далеко позади (походя припечатывая лозунг «ускорения», не продержавшийся, кажется, и года). «Не движение, а гниение, обнажение мослов» — ведь это та самая мысль, которая то в вопросительной, то в утвердительной форме, но в обоих случаях в восклицательной огласовке мучает всех в России. И, однако, в следующей строфе Кибиров еще раз удивляет — тут поистине «диалектика души» homo soveticus'a или во всяком случае русско-советского интеллигента: ядовитая издевка и надрывная жалость.

Вот это ведение, понимание и чувствование, знание себя и «наших» дает поэту право на убийственную кульминацию последних четырех строк фрагмента. Тем, кто не станет вникать в то, насколько органично и убедительно она возникает, как устрашающе замедляется вдруг ход стиха — «Все проходит. Все конечно. Дым зловещий. Волчий ров», затем снова бросающегося вперед, в выкрик, чтобы упасть в финале, как в волчий ров, — тем, кто вообще не хочет входить в художественные резоны, тоже стоит вслушаться в речь Кибирова, не торопясь оскорбляться. Другой поэт (он не употреблял грубых выражений) — Яков Полонский писал когда-то:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Нервом был поющий Высоцкий. В том же смысле Кибиров — нерв сегодняшнего дня. Это уже очень много. А он еще помнит советскую старину и в 17-м фрагменте, верный своему стилю насмешки и сострадания, так же играючи внушает читателю (по крайней мере своего поколения и старше) ностальгическую эмоцию. Снова Пушкин (песенка Мери из «Пира во время чумы» плюс «Пророк», вещающий в газете «Правда») и советская песня. «Силовом развлеклись тенниски и кителя», «шли нахимовцы в кино», «В теплых бурках управдом» — детали на зависть любому прозаику.

Итак, движение или гниение? Надежда, как ни странно, — в этом тараканье немолчных хорейских колокольцев пушкинского происхождения. Благодаря Кибирову начинает казаться, что культурный инстинкт столь же неистребим и дееспособен, сколь инстинкт жизненный. И может быть, способен спасти Россию культуры от России варварства. А родных варваров — тех, что «бьют баклуши. Бьют кого-то. Нас пока еще не бьют», — умиротворить Словом, «энтропии вопреки».

Р. С. Полному тексту предпослан эпиграф из чеховского «Студента» — сразу подтверждающий нам, что вся матерщина Кибирова сугубо культурна, что, как бы ни грубил стихотворец, его неистовства происходят в у т р и русской поэзии и ею санкционированы. Он это хорошо понимает и на резонанс ее стен рассчитывает.

Следить за цитатной игрой — слишком приятное занятие, чтобы позволить себе вновь предаться ему после того, что уже было сказано. Добавим только, что цитатная техника Кибирова доведена до естественности владения родным языком — он сыплет цитатами, как поговорками, или скорее как частушками, — жанр, который его стих постоянно имеет в виду, то упираясь прямо в него, то отдаляясь.

Другое подтверждение относится к тому, что традиционная присутствующая в русском литературном сознании кол-

лизия лирического и гражданского счастливо не существует для Кибирова. Поэма начинается с настойчиво нагнетаемых вариаций на вечную тему — «все проходит» (с ее вечными ответвлениями — осень, «на печальном склоне лет»). Это — лирика, но лирика редкого — трагикомического — строя; она то звучит инфантильно-обриутски, то шибает вульгаризмами, а то и рифмует «сердец» с обценным словечком. С начала поэмы три с лишним десятка четверостиший нанизаны на абсолютно традиционный, но хорошо остранный тематический стержень. Однако 6-й и затем 7-й фрагменты поворачивают в другую сторону: перед лицом приближающегося конца поэт столь же остро, как себя, видит живущих рядом и конец «кавалеров-ветеранов» ощущает с такой же горечью:

Сердце влажное огромно.
Сон осенний. Нету слов.

Улыбайтесь, дорогие!
Не смущайтесь. Ерунда!
Мы сквозь листья золотые
Вас полюбим навсегда.

Вот почему удастся потом — в главках, которые опубликованы в «Атмоде», — гротескный пролет по России, предвосхищенный в полном тексте пронзительными куплетами, пародирующими Твардовского («Теркин») и Окуджаву:

И оркестр зовет куда-то,
Сердце тискает и мнет.
Эх, какой мы все, ребята,
добрый в сущности народ!

Ух, и добрые мы люди!
Кто ж помянет о былом —
глазки вон тому иуде! . . .
Впрочем, это о другом.

(Цитировать Кибирова опасно — затягивает, как в воронку, и хочется выписывать дальше).

Чуждый всякой монументальности пересмешник построил поэму, достойную склоняемой им на все лады максимы «Все проходит», одинаково убедительно применяя ее и к себе, и к «замполитам ПВО», и к той казавшейся непобедимой земной власти, что ныне «лежит в параличе». Это — большая форма (даже с «отступлениями», несмотря на отсутствие фабулы), сложенная на фундаменте универсальной темы и классического метра из острот, цитат, ругательств и сентиментов.

Русские сентименты (мы употребляем это слово без негативной или иронической окраски, какая закрепилась за ним в современной речи) свое настоящее развитие и завершение получают после мемуара о советской старине. Развиваются они — и здесь перед нами одно из любопытнейших свойств сочинения Кибирова — в серию морализирующих, трогательно-учительных, «катехизических» тирад (20-й фрагмент) в духе самого отчаянного непротивления соотечественникам: «Пусть навалом и нахрапом Наседает отчий край . . .» Будь этот суицидальный пафос вложен в прозаический публицистический текст, он вызвал бы разочарование и даже протест как выражение эпигонского народопоклонства. Но со стихами не спорят, и в надрывных хорях Кибирова он звучит в ключе всеобщего конца — последним прости традиционного российского интеллигентского народолюбия, в котором уже ничего не осталось от просветительского оптимизма и надежд на союз книжки с почвой, а только жалость к «сырым, малым». Под их-то удар поэт, травмируя евангельский призыв, предлагает подставить щеку. В свою очередь переиначивая одно пушкинское высказывание, заметим здесь: плохая социология, зато какая поэзия!

Но курс поэтический этики на этом не кончается, а переходит непосредственно в религиозное обоснование. В финале поэмы оказывается, что евангельские реминисценции стоят не в ряду со всеми прочими, а над ними — на той ценностной высоте, откуда поэт только и ждет спасения от пустоты и энтропии. (Становится понятен и выбор в качестве эпиграфа чеховского пассажа, где говорится:

«... что происходило 19 веков назад, имеет отношение к настоящему»). Как и в «Лесной были» («Атмода», 27 марта 1989), Кибиров заканчивает словом веры. После плачей следует проповедь. Прямое введение ее в поэму — решение весьма рискованное. Три последних катрена 22-го фрагмента с их судорожно-освобождающими, кошунственно-набожными эмфазами — единственное место, где стихотворная ткань натягивается до предела, угрожая разрывом, так что на неказистой самодельной странице «Третьей модернизации» хочется нарисовать значок вставки, — какие-то еще слова надо бы найти в поддержку найденным.

Так или иначе, но быстрый акцентированный поворот сыграл свою композиционную роль и потому оказался все же художественно действенным. Совершив его, поэт выходит в подлинно выстраданный христианский катарсис, которым завершается этот центонный и сквернословный путь по России. Так же ли смело пройдет поворот читатель, или остановится, или давно прошел его сам, или, наоборот, далек от всего, что находится за ним, — не столь здесь важно. Важна способность этого слова передать самый феномен веры, живой и конкретной: «На гусиной нашей коже Агнца Светлого клеймо».

«Я ни в чем не виноват!» — настаивает поэт в начале и конце поэмы. Действительно, бранясь или умоляя верить, он только делает то, что сам же точно определяет:

Пишем в книжки записные
по-над бездной роковой.

Р. Р. С. Все нетривиальное побуждает к сравнению. Гротескная российская панорама, по-видимому, создается в современной поэзии не только Кибировым и, может быть, начинает приобретать значение некоторого жанрового императива. Один из фактов, наталкивающих на эту рабочую гипотезу, — новейшие стихи Иосифа Бродского «Представление» («Континент» № 62, 1990). В плане предлагаемого сравнения их можно рассматривать, схематически говоря, как развертывание в более сложном строфическом построении пространственно-перечислительной семантики, аналогичной той, которая лежит в основе кибировских куплетов типа «То березка, то рябина, То река, а то ЦК, То эзка» и т. д. Каждая новая маска (кроме первого «человечка») абсурдизированного «Представления» появляется анафорическим образом: «Входит Пушкин в летном шлеме... Входит Гоголь в бескозырке... Входят Мысли о Грядущем... Входят Мысли о Минувшем... Входят строим пионеры...» и т. д. — пока не следует заявление автора: «Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену!»

Последняя фраза описывает, по-видимому, тот социальный импульс, который заставляет двух русских поэтов в разных концах мира рисовать несколько сходные картинки родины. Ср. «Набросок» Бродского (вошло в «Часть речи») с такими строчками, как «Се вид Отечества, гравюра», «Се вид Отечества, лубок» и в концовке: «Пушай Художник, паразит, другой пейзаж изобразит». «Другой пейзаж», хотя и с элементами прежнего (и будущего), дан в «Пятой годовщине» (вошло в «Уранию»).

Продолжая сравнение, можно было бы показать, как, кроме движения на сцену (оно же путешествие во времени), в разных эпизодах «Представления» возникают пространственные смыслы (например, там, где «Входят Герцен с Огаревым», дается, по ассоциации с их клятвой на Воробьевых горах, вид Москвы сверху). Стилистическая же близость, сходство в отборе лексико-фразеологического материала, в фактуре стиха особенно ощутимы благодаря общности метрической: «И мерещатся в тумане пролетарии всех стран» (Кибиров) — «Пролетарии всех стран маршируют в ресторан» (Бродский); «Со свинчаткою в кармане ходит-бродит Угомон» — «Бродят парубки с ножами»; «Е-моё, товарищ Лёва! Е-моё и ё-твоё» — «Прячься в логово свое, волки воют «Е-моё». Очень показательно сходство в манере игры с классическими цитатами, в частности сопряжение их с советскими песенными текстами. Ср. у Бродского:

... и вбегают в избу к тятю
выгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати.

Что попишешь? Молодежь.

Не задушишь, не убьешь

(в последних двух строчках пародируется т. н. «Гимн демократической молодежи», постоянно гремевший по советскому радио начала 50-х годов).

Общественность у Бродского выходит за пределы ограниченного словаря собственно мата и захватывает типовую фразеологию (в значительной мере относящуюся к сексуальной сфере) полублатной улицы — той, которую Маяковский объявлял безъязыкой, но которая на самом деле неистово изобретательна в общенном красноречии.⁶ Ахматова недаром говорила о *poésie maternelle*.⁷ Этим перлам Бродский уделяет еще большее внимание, чем Кибиров. Кибиров их авторизует, Бродский (во всяком случае здесь) скорее объективирует и коллекционирует.

«Представление» состоит из 16 строфических пар, каждая из которых (кроме последней, немного видоизмененной) включает большую и малую строфы (формальные характеристики читатель увидит сам):

Входит Мусор с криком: «Хватит!» Прокурор скулу квадратит.

Дверь в пещеру гражданина не нуждается в «сезаме». То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит, обливаясь щедрым недрам в масть кристальными слезами. И за смертной чертою, лунным светом залитою, челюсть с фиксой золотом блещет вечной мерзлотою.

Знать, надолго хватит жил
тех, кто головы сложил.

«Хата есть, да лень тащиться».

«Я не блядь, а крановщица».

«Жизнь возникла как привычка
раньше куры и яйца».

Малые строфы не имеют непосредственной тематической или семантической связи с большими, но два последних (коротких) стиха 8-стишия выполняют роль трансформатора. Внутри себя малые строфы распадаются на отдельные реплики, которые и создают «словесный портрет» толпы, являясь вместилищем общенной речи и чем-то вроде хора на этой сцене; впрочем, сюда же включены и вполне «литературные» сентенции (ср. в цит. тексте реминисценцию ахматовского «Жить — это только привычка»), приобретающие от такого соседства особый колорит. Эта лирическая контрабанда выходит на свет только в финале, когда в «представление» возвращается «я» (показавшееся было в зачине), и даже с «сердцебиением». И если оба поэта, о которых мы говорим, в совершенстве владеют языком толпы, то и «колыбельная», которой завершается «Представление», сравнима с экклезиастическими вариациями Кибирова, тем более что в обоих случаях стихи о конце спроецированы на панораму отечества:

От любви бывают дети.
Ты теперь один на свете.
Помнишь песню, что, бывало,
я в потемках напевала?

Это — кошка, это — мышка.

Это — лагерь, это — вышка.

Это — время тихой сапой
убивает маму с папой.

Прим. ред. Читатели, наверное, уже заметили, что материалы раздела «Публицистика» не всегда соответствуют сложившимся представлениям об этом жанре. Однако история появления на этих страницах литературоведческой статьи примечательна. Редактору газеты «Атмода» Алексею Григорьеву грозил суд за публикацию отрывков из поэмы Т. Кибирова, в которых использовалась ненормативная лексика. В ходе дознания потребовалась литературоведческая экспертиза. Одним из тех, кто любезно согласился участвовать в экспертизе, был Евгений Абрамович Тоддес. Так появился этот текст. Могу добавить, что выяснением вопроса, совершил ли редактор акт хулиганства, занималась следователь по особо важным делам прокуратуры Латв. ССР.

⁶ Ср. в одном из лагерных диалогов, записанных А. Д. Синявским: «— А вы зачем ругаетесь? — Да это у меня так — для красноречия» (Абрам Терц. Голос из хора. London, 1974, с. 18).

⁷ Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989, с. 40.

ТРЕТЬЯ ЛИТЕРАТУРА

*Двух станов не борец,
А только гость случайный*

М. Волошин



Толстой и Тургенев охотились на фазанов неподалеку от толстовской усадьбы в Тульской губернии. Дадаизм родился в кабачке «Вольтер». Французские сюрреалисты встречались в кафе на Монмартре. Русский символизм, долгие годы ютившийся в петербургской «Башне», накануне революции перебрался в модный подвальный ресторан «Бродячая собака». Официальная советская литература (именуемая далее Первой) размещается в Союзе советских писателей в Москве на Воровского, 52. Члены этого Союза — пропагандисты государственной идеологии, ибо литература в Советском Союзе с 1917 года низведена до роли слуги партийных интересов. Диссидентская советская литература (упоминаемая далее как Вторая) была представлена в «Континенте», журнале, публикуемом на нескольких языках и возглавляемом бывшим членом Союза советских писателей В. Максимовым. Литература в «Континенте», в полном согласии с советской ментальностью и эстетикой, рассматривается как идеологический инструмент.

Где же найти Третью русскую литературу, которая не отождествлялась с казенной идеологией, не принимала бы также эстетику, легко сводимую к политическому измерению? Литературу, заряженную энергией эксперимента, свойственной русскому символизму, супрематизму, футуризму, европейским сюрреализму и экспрессионизму (а также их американским производным)? Литературу, которая, вместо того чтобы обслуживать политические идеологии, трансцендировала бы их? Эта Третья литература лишена гражданства в Советском Союзе, ибо она отвергает императив идеологии. Однако не утвердилась она и на Западе, несмотря на то, что существует уже более четверти века — факт парадоксальный для нашего времени мгновенных и всеохватывающих коммуникаций. Она остается невидимой, словно льдинка, переброшенная из одного стакана воды в другой. Это заставляет нас поставить философский вопрос: какова природа жидкости в обоих стаканах?

Забавно видеть двух противников, Первую и Вторую литературы, работающими в общем контексте, разделяющими близкие эстетические позиции и одинаковое неприятие неидеологического искусства. Картина проясняется, когда мы сравниваем две знаменитые фигуры — советского поэта Евтушенко и диссидентского романиста Солженицына. Первый десятилетиями отождествил себя с советской идеологией, второй — с антисоветской, но оба они рука об руку работали в общем направлении — идеологизированного искусства. Солженицын, как бы поразительно это ни звучало, сегодня — ревностный сторонник такого провинциального явления, как «деревенский реализм», и заклятый враг литературного авангарда.

Третья литература пришла на Запад с последней волной эмигрировавших из СССР писателей и художников, волной, которую пресса преподносит лишь как европейскую и политическую. Литература эта предприняла несколько отчаянных попыток вырваться из подполья, публикуясь в альманахах, антологиях и периодических изданиях в США и Европе — главным образом на скудных средствах издателей. Эти публикации включают: «Аполлон-77», иллюстрированный альманах, изданный художником Михаилом Шемякиным (Париж, 1977); «Гнозис», литературный и философский журнал, издававшийся Аркадием Ровнером и Викторией Андреевой (Нью-Йорк, 1978—1981); «Эхо», литературный журнал, печатавшийся двумя писателями — Владимиром Маразиным и Алексеем Хвостенко (Париж, 1979—1984); «Ковчег», другой литературный

журнал, издателем которого был молодой прозаик Николай Боков (Париж, 1979—1981).

Этот тоненький ручеек изданий так никогда и не превратится в половодье, ибо большинство этих публикаций появилось на русском языке и было доступно лишь специалистам. Специалисты же эти, в основном, были заняты переводом, анализом, интерпретацией и популяризацией звезд идеологического небосклона — массы наводящей скуку продукции брежневской эры вроде деревенского и околдеревенского реализма, столь близкого сердцу двух упомянутых выше знаменитостей.

Для человека постороннего Третья русская литература — неисследованная и до сих пор едва доступная территория. Она ждет своего Колумба и может обернуться чем-то таким же неожиданным, чем обернулась Америка для этого первооткрывателя. Очертания этой земли сейчас неясны, взгляд воображаемого картографа скользит поверх «великих теней» прошлого — Толстого, Достоевского, Чехова, — привычно выхватывая или «размещая» вместе с этими рельефными фигурами тех, кто пришел позже: Гуля, Берберову, Елагина, Аксенова, Максимова, Ржевского, Филипова, Алешковского. Исследователь любопытный и скрупулезный должен полагаться на мнение «экспертов», либо советских, либо западных. Советские путеводители русской литературы далеко не аутентичны: они похожи на карты метро, где можно увидеть помпезные станции, украшенные мраморными монументами и аркадами, тогда как все остальное изображено небрежным пунктиром. Но настоящее «подполье» (слово, введенное в литературный обиход Достоевским), предстает как постоянный центр притяжения, на котором основаны даже храмы массовой литературы.

Диссидентская литература, составлявшая только часть, была одобрена и завоевала признание Запада. В конце 1960-х — начале 1970-х годов западные средства массовой информации уделяли диссидентам значительное внимание, ибо они представляли неслыханный в СССР феномен: политическую оппозицию. Путь писателя к этим средствам, как правило, был иным: некоторым нужно было получить Нобелевскую премию, чтобы «Нью-Йорк Таймс» посвятил им колонку. В случае с русскими диссидентами все было наоборот: их творчество часто считалось заслуживающим публикации даже до того, как журналист увидел рукопись. Достаточно было услышать, что цензоры сочли эту рукопись не подходящей для публикации в Советском Союзе.

Продолжая нашу картографическую метафору, мы можем сказать, что ландшафты русской литературы напоминают лунные. Освещенная поверхность демонстрирует острейшие контрасты, — но не черные и белые, а красные и антикрасные. Партийный лозунг «кто не с нами, тот против нас» — основа, на которой покоилась советская литература. Это означает просто, что все не красное должно быть серым. Диссидентские издания на Западе фактически усвоили тот же подход. Если они и публикуют иногда «неполитические» работы, то лишь для демонстрации какого-то специфического вида советского неконформизма, а не для того, чтобы представить литературу *per se*, чья ценность и значение лежат за пределами борьбы красного с антикрасным. Ситуация, при которой критерием литературных достоинств считаются пропагандистские качества, будь то советская или антисоветская пропаганда, — неестественна. Писатели последних трех десятилетий, чьи философские и эстетические ориентиры выходят далеко за пределы ограниченного спектра — красного и серого, — в отличие от диссидентов не сражаются за право на самовыражение, они осуществляют его в своем щедром само-

отверженном творчестве, забиваемом со всех сторон мощными идеологическими глушилками.

Третья литература формировалась в русском подполье на плоском фоне официальных, бюрократических, идеологических писаний с их подавляющим дидактизмом, насильственным оптимизмом и беспощадным «гуманизмом». Она возникла в обществе, где механическая коммунальная справедливость заменила правду личности, где лояльность «едиственно верной» идеологии была императивом для искусства. И она провоцировала локальные ситуации прорыва искусственной изоляции российской культуры от европейского и русского духовного наследия.

«Для нашего поколения был важным открытием момент осознания степени нашего отклонения от культурной нормы. Это и определило интенсивность тяги к культуре, к религии, — говорит московский поэт и художник Евгений Жигалов, — это было особое советское искусство, целая техника выискать в ждановских статьях имена и проштудировать все, что можно было достать, от корки до корки. Таким образом вырабатывалось обостренное чутье того, что важно, потому что все важное и значительное пряталось. И это развитие, звериное ненасыщаемое чувство голода по культуре, по полноте, по завершенности. Мы, как Линней, должны были восстанавливать по кости целое. Вырабатывалась особая чуткость, как у лагерника вырабатывается повышенное ощущение дома».

Чтобы отыскать источник Третьей литературы, надо вернуться в поздние 50-е и ранние 60-е годы, когда проницательному наблюдателю стали заметны перемены в литературном облике столиц: десятилетиями нависавший двухцветный — серый и защитный — потолок вдруг поднялся, открывая глазу иной, более богатый спектр идей. Это было время выхода задавленных духовных энергий — напряженного общения, поиска. Время мощных интро- и ретроспекций — аскетическое и богемное одновременно, проявившее себя в религиозных подвигах, и творческих откровениях. Время органическое, пластичное, живое. Синтетическое и синкретическое по своей направленности. Потом они все разойдутся. Одни уйдут в профессионализм, другие в религиозность, третьи — в гнозисные поиски, оккультно-эзотерические разработки, продолжая оставаться верными голосу своей Музы. В 60-х все еще были вместе: художники, писатели, музыканты, философы, «очарованные странники», духовные мастера и подмастерья. Глядя на это время ретроспективно из начинающих декадентствовать 80-х, можно поражаться его молодой упругой энергии, его alertности, чуткости, восприимчивости. Поразительна была щедрость, с которой знающие делились с непосвященными, поразительна была готовность непосвященных слушать знающих и следовать за ними.

Шли через книги. Через музыку. Через церковь. Через наставника. Через друга. Через дома, салоны, круги, группы. Для многих именно богемная жизнь была и средой общения, и духовной питательной средой. В одном из бывших доходных домов, что у Борисоглебского переулка, рядом с Цветаевским домом, был салон Фрида. «Всегда нужно было, чтобы был кто-то один, кто не боялся, — говорит Дмитрий Авалиани. — И старушка Фрида не боялась. В комнате на 20 человек набиралось человек 40. Читали по кругу. Пахло это суровой богемией».

В салоне Аиды Тапешниковой, где собирались звезды «барачной поэзии», художник Зверев — спонтанный гений — выдавал свои ироничные каламбуры:

Чист, как чекист,
Кристален, как Сталин.

Был круг Крапивницких в Лианозово. Круг отца Дмитрия Дудко. В каморке Веры Лашковой в Вороньей слободке ютились «смоги» — самое молодое общество гениев с его трагически урезанной судьбой. Был легендарный Южинский. Был круг художника Бориса Козлова. Круг Маковского — Сабурова — Шленова — Йоффе — Авалиани. «Ахматовские сироты»: Бродский — Бобышев — Найман — Рейн патронировались самой Анной Андреевной в Питере, возводя ей пожизненный культ. И там же на про-

тивоположных энергиях функционировал салон Аранзона, где все держалось и оркестрировалось вокруг хозяина дома. «У него был дом, воздух которого располагал оставаться и беседовать. Ведь поэзия — это и есть беседа», — говорил Дима Авалиани, московский ходок по петербургским домам. В Петербурге жил-был и есть Борис Понизовский — человек-оркестр, всегда собирающий вокруг себя аудиторию. Был известен питерский дуэт: Кривулин — Охупкин. И были и остались одинокие волки Игорь Бурихин и Лена Шварц.

Круги пересекались. Были места, где встречались все. В Коктебеле это был дом Волошина. В Москве «Плзень», где можно было встретить и клавесиниста Андрея Волконского, и поэта и переводчика Бодлера на чувашский Геннадия Айги, и гениального полуслеплого художника Владимира Яковлева. В те времена была еще «Ленинка», где встречались и общались практически все. Сейчас она фактически закрыта для рядового читателя. В 60-х годах бывшая Румянцевская библиотека сыграла огромную роль в создании фантастически богатого, интеллектуально и творчески насыщенного климата. Там можно было прочесть Рамачараку, Бёме, Успенского, Кришнамурти, Рериха, Владимира Соловьева, Лопухина, встретить живого мага, интеллектуала-мистика или последователя «четвертого пути». Душа выходила из обморока беспамятства и узнавала себя в самых разных религиях Востока и Запада. Тогда формировалась третья культура, стремившаяся включить многообразие форм художественного и религиозно-духовного опыта, делая тем самым реальный шаг в сторону универсальности, вселенскости, на которые всегда претендовало русское сознание. Это были бродильные круги — среда, аккумуляировавшая и генерировавшая творческую энергию. Творческое подполье, давшее в 60—80-х годах расцвет метафизическому искусству. «Тогда все было замешано на метафизике», — говорит московский поэт и художник Евгений Жигалов. Идеология не определяла этого творческого поля, а скорее воспринималась как интеллектуальная периферия, область окаменевшего мышления и сфера тенденциозного знания или неистины.

Для тех, кто впитал Лао Тзе, «Дхаммападу» и Библию, советская жизнь с ее «культурными» проблемами была несуществующим миром беспамятства и абсурда. В их глазах этот мир имел еще одно измерение — ночного кошмара — сна наяву, источника образов муки и ада. Вполне сознательно встретили они Ничто атеизма и бунтовали против духовной нищеты нигилизма.

Дети войны — бледные большеглазые мальчики, столь не вписывавшиеся в коллективные портреты одинаково подстриженных одноклассников, создали экзотический мир Третьей литературы, который по его интересу к сверхреальности («тоске по ноуменальным вещам», по словам В. Варшавского) может быть назван метафизическим реализмом. Другие названия, используемые для этого направления: «московско-ленинградская метафизическая школа», «фантастический реализм», «магический синкретизм» и т. д., также подчеркивают установку на сверхреальное, которая сама по себе резко меняет ракурс видения, систему ценностей и самую концепцию реальности.

Отталкивание Третьей литературы от Первой и Второй не означало отрицания или борьбы с ними. Речь шла о возвращении реального масштаба идеологизированной реальности этих двух литератур, об их соотносительности с большим космосом. Советские или западные реалии включались в контекст Третьей литературы в трансформированном виде, и художник не отождествляется с гипнозом реальности.

Первая и Вторая литературы для Третьей — эта область дидактизма, интеллектуальной инерции, отсутствия художественного риска — отталкивается не только от двух литератур, но также от своих собственных периферийных модусов. Из них можно выделить три наиболее четко выраженных.

Прежде всего — это дискурсизм, прямолинейная духовность и дидактизм при отсутствии эстетического риска и смелости. Таковы стихи поэтов, решившихся быть доб-

рыми и духовными, но не отважившихся на эстетический риск.

Следующая периферийная позиция связана с эпатажем и ориентацией на скандал. Это — писатели, взявшие на себя роль «плохого мальчика», в который раз эксплуатируя несколько затасканную демоническую модель и калькулируя реакцию обывателя.

И, наконец, третий периферийный модус связан с нерелексивным поэтическим формализмом и антиметафизическим пафосом. Воюя с прямолинейной духовностью, эти писатели словно не предполагают иных ее форм, противопоставляя ей слепоту агностицизма.

Все эти три модуса не причастны к главной интенции Третьей литературы — тоске по заумному состоянию вещей.

Но там, где хоть один из этих модусов выходит на уровень «тоски по ноументальному», высвечивая фактуру явления и определяя вертикальный вектор, там литература перестает быть периферийной.

Эстетическая позиция материализма опирается на очень ответственную и древнюю концепцию творчества. Одной из ближайших по времени рефлексий ее, вслед за символами, была разработанная в «Розе мира» Даниила Андреева Концепция вестничества. Согласно этой идее, писатель воспринимался как Вестник, визионер, обладатель высокого знания, объемлющего, по формуле пушкинского «Пророка», горние, земные и подземные миры.

Материализм в определении Андреева — это «реальное видение различных уровней реальности, имеющих различную сущность и участвующих в битве космических сил». Широкая эстетическая амплитуда, заложенная в этом определении, дала возможность для самоопределения в направлении метареализма писателям самых разных манер. При этом если у Д. Андреева явно преобладают теософские обертона, то в литературной практике 60—70-х присутствует самый широкий спектр идей — от традиционных классических до дзенско-гурджиевского парадоксализма.

Искусство в этом контексте может пониматься как путь¹, либо как форма жизнестроительства, либо как «вечное ученичество у мастера всех форм и кристаллов»², либо как подвижничество, служение, любовь. «В поэзии, как и в жизни, не по ученичеству (или же по вечному ученичеству) — я самоопределяюсь по любви»³, — пишет Игорь Бурихин.

Между жизнью и искусством, художником и личностью стирается непроходимая граница. Уровень восприятия и понимания художника соотносится с уровнем его бытия (в терминологии Гурджиева), определяемого по динамической эволюционирующей или (в плачевных ситуациях) инволюционирующей вертикали его сознания. Искусство в метареализме старается превозмочь рабство данности и избежать социальных и психологических ловушек, составленных теоретиками и практиками социального и психологического реализмов. Оно чурается прямолинейной дидактики и не служит двум господам: идеологии и коммерции. Незыблемая формула Некрасова — одного из идеологических столпов утилитарного искусства: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — здесь теряет свою однозначную императивность. В искусстве возобновляется прерванный диалог с Богом. Оно становится Богоцентричным. Ему возвращается вертикальная память.

Память в этом контексте означает и платоновское воспоминание — анамнезис, и протопамять, Премудрость Божию. Творчество осознается как соучастие в вечном творении мира — в воле, разуме, и созидательной энергии Творца, а не понимается как инструмент социальной борьбы и социального же самоутверждения. Концепция чело-

века динамична. Она строится исходя из метафизической антропологии, ставящей задачу преодолеть разрыв между человеческим и Божественным, достичь областей метасознания — заглянуть за «непрозрачные завесы».

Лестница соединяет человека с небом. Человек не сводится к дарвиновской животной или марксистской классовой парадигме. Не помещается он и в один из смертельно враждующих между собой кланов — христиан, иудеев, мусульман и т. д. Он соотносится с архетипичным космосом, становится частью традиционного пейзажа, построенного на соответствии между принципами и приложениями, на платоновой модели мира:

«Запомни путь слетевшего листа

И мысль о том, что мы идем за нами», — выразил Леонид Аранзон идею следующих друг за другом космических фаз и нерасторжимой связи миров.

По стенам вдоль палат
подсвеченных луной,
теней бесшумный сад
раскрылся предо мной.
Безлистый сад теней,
потусторонний сад...

Сад проступал, как пот,
по белизне стены,
похожий на погост,
на длинный свет луны.

Без гнезд, без птиц, один
на глубину палат,
как слабый негатив,
впотьмах качался сад.

Знобил кусты апрель,
и в паузах меж снов
из окон до дверей
сад длился, как панно.

И различал сквозь сны,
как отделясь от них,
за кирпичом стены
гудел живой двойник.

Один на всех калек
один — на тьму палат,
размноженный, как след,
потусторонний сад.⁴

Концепция реальности оказывается многомерной, емкой, полнозначной. Физический план теряет свою назойливую очевидность, появляются просветы в метафизическую сферу — через память, интуицию, воображение.

«Многозначность» и «иерархичность» являются основными характеристиками эстетического пространства в метареализме. Причем диапазон изображения безграничен, он представлен от самых низших состояний реальности до великого Ничто, Иного, Ино-Бытия, Невыразимого:

Где нету ничего, там есть Иное

Святое Ничего там неубывное есть,⁵ — пишет Леонид Аранзон в одном из стихотворных посланий к другу.

Только душа мать
смотрит в свою ночь
вьется в себе без форм
бедствует косится на память,⁶ —
горько рефлексит Игорь Бурихин.
Я увиделся с Богом
чуть светлеет в уме тишина
чувствует смерть
ударами смеха
Тихо сыплется сыплется
хрупкое дерево сна



¹ См. ст. Аркадия Ровнера «Искусство как путь», «Оккультизм и йога», Асунсион, 1975, № 65.

² Аркадий Ровнер. «Ход королем», Нью-Йорк, 1989, стр. 54.

³ «Гнозис», № 5—6, Нью-Йорк, 1978, стр. 190.

⁴ Леонид Аранзон, «Сад», «Гнозис» № 5—6, Нью-Йорк, 1979, стр. 154.

⁵ «Гнозис» № 2, Нью-Йорк, 1979.

⁶ «Гнозис» № 5—6, Нью-Йорк, стр. 148.

какая природа согрела
каплей сознания мой прах
ласкать это тонкое тело
и думать о дальних мирах
смотрю на тебя из ничто
как будто рожден по желанью
как будто особым ключом
доверено мне мирозданье
на меня снизошло озаренье
чуть светлеет в уме тишина
и чуткости тонкая веточка сна
трепещет под смехом уничтоженья,⁷
— пишет один из московских поэтов Илья Бокштейн,
в «тонкой веточке сна» которого мы узнаем «дольней лозы
прозябанье» из пушкинского «Пророка».

О «великом стремлении устремиться и сорваться ввысь
подальше от земли»⁸, — пишет петербуржец Анри Волохон-
ский, взгляд которого заострен знанием. Его продвижение
по горней тропе к небу упруго и ритмично, как ритуальный
знак барабана:

Кожа неба — шкура бубна
Слово неба — гомон водный
В темя Бога свергнут Гангом
Темя Бога — школа танца.⁹

Картина космоса в концепции метареализма расширяет-
ся. Геоцентризм и антропоцентризм перестают быть един-
ственными самодостаточными и само собой разумеющи-
мися точками отсчета.

Писатель стремится приблизиться к области «нечелове-
ческого», или внечеловеческого, ставя задачу преодоления
нижние аспекты человеческого — физического и истори-
ческого человека со всеми предрассудками, претензиями и
ограничениями.

Акцентируется художественный интерес к изображению
различных аспектов трансцендентного: космологической
судьбы человека, реальности «по ту сторону трансцендент-
ного», или области «нечеловеческого сознания» у Мамле-
ева, системы экстерм — у позднего Ильи Бокштейна, му-
зыки сфер — у Анри Волохонского, великого произвола
у Г. Джамали и Игоря Дудинского, Логоса-Голоса —
у Игоря Бурихина.

Область трансцендентного становится магнитным цент-
ром и главным объектом внимания художника-метареа-
листа. «Практически чисто эстетической позиции среди
нас не было ни у кого, — говорит Евгений Жигалов. — Все
хотели с вертикали простреливать высокие сферы».

А я хочу шагать

Такой теневой стороной,

Чтоб в сумерках богом стать

С длинной, как дым рукой, —

писал поэт *per se* Станислав Красовицкий. Позже он по-го-
голевски сожжет все поэтические мосты, отправляясь в дол-
гое странствие во спасение души. Только благодаря уси-
лиям любителей поэзии сохранились его стихотворения.
Впервые они были напечатаны в независимых русских
журналах на Западе: у Николая Бокова в «Ковчеге» (Па-
риж), Владимира Маразмизина в «Эхе» в Париже, в «Анто-
логии «Гнозиса» в Нью-Йорке.

В конце 70-х Николай Боков, талантливый прозаик и
издатель, также бесповоротно решит для себя альтернати-
ву: искусство или метафизика — и выберет путь практиче-
ской метафизики в православном монастыре, написав:
«Господь мощной дланью оторвал меня от литературы».
Хотя еще года за два до этого он с присущим ему задорным
ерничеством ответил на вопрос издателей «Гнозиса» по
поводу судьбы метафизического искусства как на Западе,
так и на Востоке: «Зачем же телегу ставить впереди
лошади?» — столь императивной была власть метаэнергий
над судьбами этого литературного поколения.

В том как будто бы заложен неразрешимый внутренний
конфликт. Его природу хорошо выразил Анри Волохонский

в ответе на анкету журнала «Гнозис» о своей эстетической
концепции: «Она — противолитературная — желательно,
чтобы живая интонация происходила от музыки сфер, а не
от душевных неудовольствий. Претензии на истинное пи-
сательство только удваивают ложь».¹⁰

Таким образом, мы видим, что существует известное
напряжение между «только литературой» (включая сюда
утилитарную и особенно обличительную литературу) и
метареализмом, слышащим дыхание большого космоса за
поток «душевных неудовольствий» или безвыходно
замкнутым в своих противоречиях социальным космосом.

Этим, видимо, можно объяснить и ту степень безразличия
к судьбе Третьей литературы, которую единодушно прояв-
ляли обе — Первая и Вторая — литературы в течение
почти трех десятилетий ее существования. Эстетическая
предсказуемость социально ориентированных литератур
делает их невосприимчивыми и враждебными к явлениям
иного художественного порядка.

Не включаясь в существующий контекст, Третья литера-
тура ориентировалась на такие различные художественные
явления, возникшие на пересечении искусства и метафи-
зики, как супрематизм, сюрреализм, экспрессионизм, сим-
волизм, футуризм.

В противоположность копиистам-натуралистам писате-
ли Третьей литературы не были рабами данности и знали,
что художественный объект есть проекция состояния ху-
дожника и что, когда дзен-буддистский мастер демонстри-
рует призрачность реальности, рука его проходит через
стол, как сквозь сигаретный дым, но когда этот стол нужен
для чаепития, он снова обретает вес и плотность.

Подобно супрематистам, они понимали чистые формы,
буквы, цвет, линию как эманацию Первоисточника по ту
сторону идеологического, психологического и космического
планов.

Подобно экспрессионистам, они слышали пульсацию
формирующих реальность энергий.

Сюрреалисты помогли им овладеть техникой прорыва
в мир ноуменального. Они разделяли страх сюрреалистов
перед заранее заготовленными схемами и окончательными
решениями. Их печальной привилегией была свобода от
духовных ассоциаций, свобода, к которой сюрреалисты
могли только стремиться. Атеистический нигилизм, ко-
торый они вынесли из своего детства, вырвал их из кон-
текста западной и восточной традиций и привел к мучи-
тельному осознанию факта духовной смерти.

Их увлекли авантюра метафизического риска, голово-
кружительная магия шанса, разрыв в ткани детермини-
ческой реальности, через который является мир иной ре-
альности, где соединяется далеко разведенное и разрывает-
ся привычно связанное. Но если сюрреалисты заземлили
свое головокружительное эстетическое открытие на Фрей-
де и Марксе, разрушив мифологический контекст и найдя
мнимое разрешение в революционной диалектике, то пи-
сатели Третьей литературы резко выключили себя из по-
литического контекста, заняты сложной работой по внут-
ренней трансформации реальности. Они отвернулись
от бронзовых идолов революции, от безнадежно мертвой
официальной культуры в поисках тех полуугасших уголь-
ков традиции — религиозной, мистической, художествен-
ной, — что все еще тлели в немногих чудом уцелевших оча-
гах. Эта традиция была жива в мягкой созерцательности
ландшафта, в тяжелой мудрости архитектуры московского
Успенского собора, в классической чистоте петербургских
дворцов и проспектов, в отчаянии Толстого, в пророчестве
Достоевского, в музыке Скрябина — в живописи и поэзии
или в памяти друзей и близких. Но подлинность и тайную
мудрость традиции они дополнили страстью к экспери-
менту.

Подобно символистам, они ясно осознавали храмовый
характер искусства и прозрачность реальности. В отличие
от символистов, они не были служителями в храме, ибо

⁷ «Гнозис», № 5—6, Нью-Йорк, стр. 166.

⁸ Ibid № 5—6, Нью-Йорк, стр. 169.

⁹ Ibid № 5—6, Нью-Йорк, стр. 170.

¹⁰ Ibid, стр. 194.

в их времена храм оказался разрушен, и они остались наедине с тайной. Через собственную судьбу, через «личный опыт встречи с Абсолютом», «роман с Богом» они попробовали вырваться в миф, ибо без мифа нет опыта вечного, а есть только провинция времени. Символисты задали им движение к мифу или к «объективной истине существования» и стремление к творческой реализации этой истины.

Вживание в старый миф и творчество нового происходили одновременно. К мифу шли с разных сторон. Игорь Бурихин — через опыт гностических откровений раскола и духовной поэзии начала века (Клюев, Кузмин); Анри Волохонский — через древнюю и средневековую мистику и алхимию, холод классицизма и иронию обериутов; Юрий Мамлеев — через пародию на оккультный жанр и готику, пробиваясь сквозь «темноту падения» к «последней тайне» Абсолюта; Елена Шварц — рисуя, ломая себя в непростанной алхимической пытке, опыте, где над колбой сошлись лбами Гете и православная аскетика; Аркадий Ровнер — населяющий промозглые московские переулки и дворники ожившими фигурами из колоды Таро, постоянно ищущий ситуации для встречи с мистическим шансом; Леонид Чертков — крупно и просеивающий в памяти следы знания и знаки, предшествующие трубным звукам судьбы; и, наконец, Илья Бокштейн — непрекращающийся грандиозный эксперимент мифотворчества, картография непрерывного внутреннего паломничества в открытые в своем «Я» эпохи, страны, планеты, — эпифания самовозгорания души.

И в стенах воздвигнутого ими мифа, и в ауре его уже живет и утверждает себя новое время, новый эгрегор, где литература, как она и была всегда, начиная с первого Слова, проявляет себя как космическая энергия, гравитационно поворачиваясь к архетипическому.

Но где-то с другой стороны, путем преданности идут счастливы, которым миф открывается в его первоначальной ясности и глубине. Поэтому так гармоничен и привлекателен поэтический мир двух московских поэтов Леонида Иоффе и Степана Дремина — с заглядом первого на библейский горящий куст и с тоской обоих по классическому пейзажу. Тоска по цельности и по традиции была бы в них не столь привлекательна, если бы это не была цельность, искушенная историей, проверенная эстетически и религиозно. А рядом с ними гулко, значительно звучат строки петербургского поэта Олега Охупкина, моделирующего в своем голосе звонкие интонации высокой духовной поэзии.

Разделяя многое со своими предшественниками, это искусство видело себя продуктом иной космической ситуации, выполняло другую задачу и несло в себе иное знание. Еще в 1918 году поэт Вячеслав Иванов, покидая Россию, сказал: «Я не могу жить в мире, из которого ушли идеи», — имея в виду утрату обществом связи с духовными принципами, руководящими космосом.

Писатели Третьей литературы остро слышали катастрофу — прерванное духовное и культурное возрождение России начала века. Разрушение русской культуры, крушение социальной пирамиды — писатели Третьей литературы увидели в ее космическом значении и восприняли стоически гибель мифа:

И если все это не верь
и колебаний смысла строфы —
во мне останется сто «р»,
сто «р» от слова
к а т а с т р о ф а, —

писал в 1959 году Валерий Дунаевский, тбилисский поэт этого направления, прямо со школьной скамьи пересевший на мифотворческий корабль Хлебникова и, пересечая на нем области страдания в лабиринтах Мордовии, выявивший в своей поэзии рисунок боли, мудрости и освобождения.

Прямыми предшественниками Третьей литературы были обериуты с их неконвенциональной метафизикой и парадоксальной логикой. Именно обериуты дали им пример смелого синтеза формотворческой энергии футуристов со стремлением постигнуть иероглифический знак времени,

свойственным символистам. Особенно важен был опыт Александра Введенского, создавшего новый поэтический язык, в котором части хаотического, нового мира переплавились в видение нового космического порядка. В поле влияния поэтической системы этого поэта оказались такие разные поэты Третьей литературы, как Станислав Красовицкий, Леонид Аранзон, Анри Волохонский и др. Влияние его было не прямым, а проходило теми незримыми поэтическими «воздушными путями», которые знают и слышат только поэты. Пересечение было и в главных темах, таких как борьба с произволом времени, с дурной бесконечностью множественности, преодоление раскола с Единым, готовность на встречу с экзистенциальной ситуацией — со смертью («На смерть, на смерть держи равнение, поэт и всадник бедный»).

И в концепциях: противопоставление разума и Логоса («Разум не понимает мир»), недоверие к рассудочным моделям и конвенциональному мышлению.

И в поэтической манере: в смелой метафоричности, в смысловых сдвигах, обратной перспективе, фокусирующей внимание на внутренних событиях. Традиция метафизической поэзии нашла в их творчестве продолжение и новое парадоксальное выражение.

В Москве подходами к метареализму были «барачная» поэзия — российский вариант «дада» — и «шизоидная» позиция.

«Барачная» поэзия 1950-х — Крапивницкого, Уфлянда, Головина, Кавенацкого — ставила себе задачей достичь той же цели, что и дадаисты, а именно: разрушения культурных стереотипов современных им форм художественного выражения. Используя абсурд, бесстрастный сарказм и прозаизмы, эта поэзия пыталась создать новую поэтическую реальность, которая может быть определена, цитируя Василия Кандинского, как «область нового уродства» или, по Андре Бретону, как «новая форма красоты». Эстетическим клише они, подобно дадаистам, предпочитали изображение идиотизма, злобного автоматизма и убожества жизни. Их стихи были прозаически заниженными, банально зарифмованными и ритмически монотонными. Они интересовались болезненной фантазией и элементами непредсказуемого поведения.

Мой дядюшка намерен спать:

Вообразил в квартире вдруг,

Что не чиновник он, а дятел,

И в стену носом тук да тук.

(Владимир Кавенацкий)

Или другой пример трезвого безумия, ужасающая фактологичность двух обнаженных строк:

У метро у Сокола

дочку мать укокала.

(Евгений Головин)

В московской «шизоидной» поэзии 1960-х, Илья Бокштейн, Евгения Жигалова, Валентина Никитина, был провозглашен предельный субъективизм видения. «Шизоидные» поэты жадно приняли в свою поэтическую практику и в свою жизнь новый поток реальности, первоначально введенный сюрреализмом: мир сна, головокружительную близость подсознания, имитацию болезненного Эго и стремление освободиться от оков рации.

«Шизоидная» поэзия была эхом так называемых «шизоидных настроений» 1960-х годов, истерического взрыва, «игры в дурака», божественной эксцентричности, за которыми стоял опыт личного страдания. Эта поэзия была отмечена свободным и причудливым потоком ассоциаций и заменой так называемого нормального, «здорового» видения фрагментарным:

Восковое личико в окне.

За окном кирпичная ладошка.

Штык трубы с лицом помятой кошки

Штейнеровской молится луне.

Шевелится потихоньку крыша

Словно плащ монаха, что под ней.

И страна, притихшая, как хвост межстенной мыши,

За диваном ждет чуланых новостей.

(Илья Бокштейн)

За этой поэзией стоит свобода поэтического рисунка и причудливость самовыражения при полном доверии себе в своих смелых смещениях «здорового видения».

Исследуя творческие возможности так называемого больного сознания под маской «шизоидности», они, вслед за сюрреалистами, вышли к концепции «широкой дезориентации», включавшей в художественную реальность необъятную область неведомого.

С ломки объекта и словесного сдвига в стихах Красовицкого начинается новая московская поэзия 60—70-х годов. Он владеет сюрреалистическим секретом трансформации объекта.

Пышна голубоглаза

пред ним стоит задумчивая ваза.

Он говорит, ее лаская груди:

ведь мы с тобой уже давно не люди.

Текущие очертания предметов у него меняют формы, переходя из одной в другую. Случайное становится определенным, определенное — размытым. Человек видит себя в Божественном, Божественное оказывается человеком:

Калитку тяжестью откроют облака,

И Бог войдет с болтушкой молока...

или, напротив:

а я хочу шагать

такой теневой стороной,

чтоб в сумерках Богом стать

с длинной, как дым, рукой.

Его стихам присущи грация, непосредственность, чистота поэтического рисунка. Сюрреалистическая метафора, усиленная им с остротой живописца, сближает далекие реалии, и в его стихах всплывают черный цветок пистолета и красный цветок смерти, и линия руки продолжается в линии гор:

... Говорите хотите про это,

Про цветы запоздалого лета,

Про цветы утомленные рук,

Но я слышу тревожный звук —

Вырос черный цветок пистолета.

... И когда подойдет мой срок,

Как любимой не всякий любовник,

Замечательный красный шиповник

Я себе приколю на висок.

Метафоричность его мышления выразилась в живописном решении главной темы.

Он свободно владеет искусством метаморфозы, внимателен к продолжению, изменению, переходу одной формы в другую. Его поэтические решения неожиданны и свежи. За ними нет груза привычных ассоциаций. Поэту свойственны стремительность и импрессионистичность восприятия. Он не связан «вечными темами», традиционным видением. Образы его появляются будто бы впервые.

Спим-то не спим мы. Веки

Сомкнулись, брови срослись.

Одна рука на Казбеке,

Третья уходит ввысь...

Когда он оказывается один на один с традиционным контекстом, он умеет точной метафорой или смелой инверсией сделать ее неожиданно современной, сняв пыльный налет привычных ассоциаций:

Хорошо пистолет имея,

Развернув локтевой костыль,

Застрелиться в пустой аллее,

Потому что все это пыль, —

где «локтевой костыль» — и зрительный образ, и метафора для искаленности, инвалидности, незавершенности человека.

А в стихотворении «Белоснежный сад» речитативная вязь из «Слова о полку Игореве» вплетается в сложную иконографию времени:

А летят по небу гуси да кричат

В красном небе гуси дикие кричат,

Сами розовые красные до пят,

А одна не гусыня —

белоснежный сад.

А внизу, сшибая гоп на галоп,
Бьется Игорев рать прямо в лоб,
Сами розовые красные до пят
Бьются Игоревы войски да кричат:
«У татраков оторвать да поймать,
Тртацких девок целокам полонять,
Тртачки розовые красные до пят
А тртацкая царица —
Белоснежный сад».

Дорогой ты мой Ивашка дурачок,
Я еще с ума не спятил, но молчок.
Я сижу порой на выставке один
С древнерусския пишу стихи картин.
А внизу от Москвы до Костромы
Все меняется, меняемся и мы,
Все краснеет-кровоает вся подряд.
Но в душе еще белеет
Белоснежный сад.

Бокштейн — это антипод Красовицкого по головной, никогда не насыщаемой жажде понимания. Этот невысокий, постоянно бормочущий стихи человек с лицом Босха и будто заблудившейся походкой — автор нескольких тысяч стихотворений и большого, рождающегося тут же в разговоре с вами романа.

Поэт начал в русле так называемой «шизоидной поэзии» — сюрреалистического вызова профанической трезвости и буквальности. И пришел к экстремической поэзии, требующей особых ключей для своего прочтения и объединяющей поэта с визионером, исключающей возможность учитывания профанического суждения.

Я надел легковветренник белый,
На котором струится волна,
И душа моя смотрит на тело,
Будто в теле теперь не она,
Будто кто-то другой ее бросил
В мой задумчиво-нежный

тростник.

И тростник холод тоненько

просит:

«Отпусти, ты ошибся, старик».

«Экстремическая поэзия» использует систему поэтических кодов, расшифровке которых посвящена значительная часть его сверх-романа. Не останавливаясь подробно на этом романе — фантастической мистерии с сотнями действующих лиц, — приведем из него несколько двустроичий о смерти, представляющих собой своеобразные коаны:

Ждет меня смерть —

Жду ее конца.

Ты смотришь на меня —

Вижу: меня нет.

Я думал, смерть — вершина пирамиды,

Оказывается, она — ее основание.

Смерть — зло,

Иначе бы ее создатели погибли.

Илья Бокштейн — поэт непрерывного творчества. Это ум, пробующий сочетать персонификацию метафизических принципов с лиризмом, которому часто тесно в его системе. Он, человек фонтанирующего, захлебывающегося воображения, создал свои космологию и мифологию, теорию чисел и звуков. Погруженный в метаморфозы собственного сознания, он вступает в диалог со всеми традициями. В его поэзии слово предоставлено планетам, титанам, материкам, траве, двери и даже скрипу двери и запаху травы.

Монах и странник спорили об истине,

что лучше — размышлять или идти.

Монах ответил: погоди,

Позволит ли твой путь уйти

от смерти?

Творчество Ильи Бокштейна интересно плотным вхождением в метафизику. За ним опыт философско-медитативной и оккультно-эзотерической поэзии.

Роальд Мандельштам был первым ломким от смелости голосом новой петербургской поэзии. Его отважный имажинизм



низм и уверенное эстетство в 50-х годах дали дыхание петербургской поэзии 60—70-х годов. Однако голос этот рано оборвался.

У петербуржца Леонида Аранзона с его гулкой сконцентрированностью и самоуглублением, с пейзажами души, зеркально продолженными во внутренних резонирующих пространствах интериоризация метафизического и поэтического контекстов произошла столь интенсивно, что он сам вошел в миф и остался в нем, таинственно уйдя из жизни в возрасте 31 года. Он отправился в горы в экспедицию и не вернулся — то ли самоубийство, то ли несчастный случай, то ли убийство, но по силе притяжения к смерти, по постоянному возвращению к ней в стихах и в жизни — скорее первое: «Был он, особенно к концу жизни, очень красив», — пишет о нем Анри Волохонский.

В своем последнем стихотворении, написанном незадолго до смерти, поэт торжественно просветлен и спокоен. Он будто бы уже вышел из привычных форм жизни и медленно уходит от нас:

Как хорошо в покинутых местах!

Покинутых людьми,

но не богами.

И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой

холмами,

И дождь идет, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой

холмами...

Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем

за нами.

Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идем

за нами.

Кто наградил нас, друг, такими

снами?

Или себя мы наградили сами?..

Аранзон в своих стихах идет от внутреннего эксперимента, беспощадно наблюдая границы, где кончается сфера нашего «я» или где наше «я» становится вторым, третьим. Большинство его стихотворений написаны в том состоянии, когда видны переходы и связи между вещами, далеко отстоящими друг от друга. Поэт обладает даром объединять, связывать то, что разделено в прагматическом сознании. Проецирование себя со стороны, расширение личности, смещение планов — вот черты, определяющие его поэтику.

Внутренняя амплитуда его состояний очень резка — от небытия к интенсивному ощущению жизни. И здесь он часто пользуется древней символикой — душа — бабочка, сад — рай, хол, дерево. Напротив, в его «потусторонних» прогулках — атмосфера разряженная, гулкая.

Аранзон жил в замкнутом кружке близких дому людей, в котором были тесные, даже несколько душевные отношения — понятные только здесь шутки, намеки, ассоциации, стихи, адресованные друг другу. Участвуя во всем этом, Аранзон оставался, тем не менее, поэтом внутреннего уединения, погруженным в созерцание «пейзажей своей души».

Цветок воздушный без корней,
Вот бабочка моя ручная,
Вот жизнь дана, что делать с ней?

В его стихах, как, впрочем, и в чертах его лица, всегда чувствовался отзвук «зазеркалья», того смещенного мира, который мучительно тревожил поэта.

А я становлюсь то тем, то этим,
то тем, то этим,

чтобы меня заметили,
но кто увидит чужой сон?

Я вышел на снег и узнал то,

что люди узнают

только после их смерти.

И улыбнулся улыбкой внутри другой:

Какое небо! Свет какой!

Желание проснуться, выйти из сомнамбулического оце-

пенения действительности — его настойчивая тема. В одном из сонетов — излюбленной форме поэта — он передает парадоксальное столкновение состояний — сон бессонницы и сон пробуждения, показывает, как предметы в комнате становятся частью сна, свет рождает звук, и как печаль, покинув человека, еще живет в чертах его спящего лица.

В часы бессонницы люблю я в кресле спать

И видеть сон неотличимый

От тех картин, что наяву мной зрими,

И просыпаясь, видеть сон опять.

Большой медитативный опыт дает поэту как бы двойное зрение. Парадоксальность состояний в его поэзии всегда внутренне оправдана.

Ему свойственны большая интенсивность вхождения в себя и такая степень концентрации, при которой, как на негативе, проступают иные сады, холмы, небо:

Чем не я этот мокрый сад

под фонарем, брошенный кем-то

возле черной ограды?

Мне ли забыть, что земля внутри

неба, а небо — внутри нас?

Аранзон, безусловно, петербуржец — в его холодных, неторопливых, размеренных ритмах чувствуется дыхание одного из прекраснейших городов мира.

Анри Волохонский живет в более определенных духовных категориях. Среди его знакомых — художники, поэты, знатоки петербургских древностей и книг. В его стихах счастливо сочетаются элементы куртуазной и философской лирики, усложненные символика и синтаксис с чистотой и ясностью мелодического рисунка. Трудно однозначно определить поэтическую манеру Анри. В сонете «Ксения» — это нервно-сбивчивое с инверсиями, недоговорами, проговорами, с отказом от обязательной пунктуации «эхо полупризнаний», любовная горячка («Молчи о это эхо дара Вам»). В «Молитве святого Франциска» — религиозное и интеллектуальное отчаяние. Поэт называет «мгновение закрытых глаз» лучшим моментом. Это — исходная позиция писателей метареалистов: неприятие жизни, религиозно-духовная «переработка», ее преломление реальности в поле иной энергетики.

Избавь меня

Избавь меня от зрелища пустого

края чаши той, в которой нет

монеты милости Твоей...

О если бы я видел не мига

Славы Твоей цветочную лужу

И пруд, и ручей дорогой

незабудок...

Но Ты — какое серебро сам

положил, чтобы горело

в тесный круг?

Какую рыбу кинул нищим

в это масло ради мук?

Ты это Ты

Но только как Ты отдал нам

побег святой древесный мост

на берег близости твоей?

Здесь был он взят и срезан сухо

Здесь меня избавь.

Драматические интонации в этом стихотворении передают пронзительную напряженность переживания, а обаятельная фактура свидетельствует о зрелости духовного опыта поэта.

Волохонский тяготеет к поэтическому переживанию классических коллизий. Таковы его поэма «Фома», сборник «Йог и суфий», трактат «Сим и Яфет» и т. д.

Реальное переживание стоит также за его песней про рай на музыку Франческо ди Милано. В ее простом интонационном рисунке и стилизованных образах передано чувство гармонии, просветления:

Над небом голубым

Есть город золотой

С прозрачными воротами

И с яркою стеной...

Тебя там встретит огнегривый лев

И синий вол преисполненный
очей
С ними — золотой орел
небесный
Чей так светел взор
незабываемый.

Для поэзии Анри Волохонского характерны широкие культурно-исторические и религиозные параллели при точном слышании самого себя. Плюрализм его поэтического облика сочетается с не изменяющим ему вкусом — холодноватое эстетство парнасца, изощренная грация соседствуют с духовным неистовством Аввакума и алканием Франциска Ассизского. Точность, блеск мысли, драматизм и напряженность переживания характеризуют Волохонского как поэта. Он — поэт интеллектуализирующей духовности и пророческого тема, владеющий секретом гармонического равновесия между трансцендентализмом и конструктивизмом, тшечно топящим в зауми свою метафизическую интуицию.

Мистический энергетизм и метафизическая интуиция — главные проводники эстетического знания метареализма, основной тенденцией которого является возвращение к объемному и разностороннему традиционному видению, объемлющему как манифестированные, так и неявленные грани жизни, ее очевидные и неочевидные реалии, область известного и неизвестного.

Петербургская проза работает с эстетиками сформировавшихся культурных регионов, разрушая преграды между пластами языка и истории. За этим столкновением слоев времени и культур стоит русское религиозно-мистическое вопрошание и испытание жизни. И резкость сведения прежних ответов (мифов, канонов, эстетик) с новой ситуацией, с профаническим сознанием материалистической цивилизации приводит к трансформации художественного объекта и к возможности выхода к новому облику старого мифа.

Так, в «Романе об осле» Волохонского рассказчик на фоне оштинившихся римских манипул раскрывает слушателям из обоза механику и смысл внутренних превращений души. А герой рассказа Григория Капеляна пробует проверить и истолковать пророческий сон, парадокс которого состоит в том, что пророк оказывается без пророчества, и традиционная ситуация оставляет напряжение поисков понимания и возможность (или невозможность) выхода к мифу. Герой романа Бориса Ручкана всю свою жизнь пишет роман, который никогда не был написан, и издает новый вариант истории, которой никогда не было в действительности, — провоцируя творческую ситуацию, расширяя, мультиплицируя и распространяя ее вокруг себя — делая эту ситуацию императивной.

В рассказе Леонида Черткова «Медные трубы Саранска» в его визионерском опыте личные, страдательные отношения с мифом — это слышание и безошибочное ожидание вторжения духовного авторитета в запутанный переплетенный орнамент жизни, это возмездие, трубные звуки которого настигают правого и виноватого.

Московская проза оказывается ситуативно конкретной, может быть, потому, что связана с опытом не столь литературно освоенным. И хотя атмосфера в обеих столицах была в 60—70-х годах одинаково насыщена интеллектуально и метафизически, связь московской литературы с живыми духовными влияниями оказывается более непосредственной. Московская проза сконцентрирована на идее сегодняшнего момента, на поиске главного знака времени и на прямом восприятии формирующих реальность энергий.

Рассказ Мамлеева «Человек с лошадиным бегом» — это изображение анатомии теперешней космической ситуации, ее утробной теплоты и полной коммунальной душевности с перехлестом в разнуданные стихии и бездны.

Трехликий дух времени и места увиден через косой напор азиатского психизма в рассказе Аркадия Ровнера «Розы Щербунчика» — уровень, снятый преодолением временно-го обморока воплощения и подъемом Шивы Щербунчика к утраченной первоначальной ясности и невозмутимости.

А в его рассказе «Квартиранты», изображающем затянувшийся визит неожиданных гостей, в конце концов поселившихся в доме растерянного хозяина, дана ситуация захвата дома — человеческой души, страны, космоса — низкими стихиями. Как это присуще традиционному мышлению, повествование разворачивается в нескольких планах. Вопрос о спасении здесь заострен. Попытка решить ситуацию при помощи только социального инструмента не дает результатов. Разрешение этой коллизии предполагает некое объемное действие, связанное с внутренним возрастом и соответственно с привлечением иного качества энергий.

В «Страдах Омозолелова» Николая Бокова мистерия страстей раскрывается в карнавале макабра, в адском кружении масок, сатанинском кривлянии торжествующего сегодня Укыкова. Христианская жертвенная символика стоит за изображением энергетическим перепадом между обезвоженным страдательным миром Омозолелова и гуттаперчевым балаганом оборотней и лявр.

В «Господине № Я» Виктора Тупицына — своеобразной скептической саморефлексии автора — демонстрируется исчерпанность репертуара психологического искусства, его недостаточность для выхода к «вертикальным» ассоциациям. Это «эпическая поэма», разоблачающая притязания «личности», паразитирующей за счет «сущности», в терминологии «четвертого пути». Если Волохонский, говоря о поэтах и писателях нового направления, поставил под сомнение слово «мы», написав: «для многих из нас слово «мы» вообще неприменимо», — то автор «Г-на № Я», доктор математических наук Виктор Тупицын поставил под сомнение самое «Я», показав тупики и штампы логического и психологического эгоцентризма.

В своем ответе на анкету журнала «Гнозис» Виктор Тупицын пишет о трех видах идолопоклонства в искусстве: естественной ностальгии по заумному состоянию вещей (Хлебников, Волохонский, Аранзон), метафизическом романтизме, тоске по маскам, по вторичным символам и, наконец, назойливой хвале в адрес Божественного, метафизической тематике без внутренней оправданности, литературном контракте с Господом Богом. Он предлагает исчерпать идолопоклонство искусству «еще до заката души» («Гнозис», № 7—8, 1980, стр. 273).

Искусство, отказавшееся от фетишизации мира данности, создало собственные контекст и ситуацию. Применительно к нему надо говорить о его поле идей, главной отличительной чертой которого является центростремительный вектор — движение от периферии к центру, от профанической множественности — к принципам. Оно включает как область найденных форм, идеи «чистого искусства», так и первоначальную встречу со звуком, формой, знаком и смелые приближения к просторному щедрому миру символического знания с его тринитарной логикой, включающей области интуиции, памяти и воображения. Если мир сюрреалистов можно сравнить с зеркалом, которое напряженно ловит отблеск сверхреальности, то искусство метафизического реализма можно уподобить подъему на гору Аналог, где у каждого участника есть карта и план, или направленному лучу, высвечивающему слои внутреннего неба.

Усилиями этого поколения был сделан мощный рывок в сторону трансцендентного, и этот модус вивенди в значительной степени определил творческую жизнь русского интеллектуального подполья в течение двух последующих десятилетий.

Новая литература видит себя в контексте металогических и метапсихологических ассоциаций, которые трансформируют мир трех измерений, давая ему новые оптические глубины и ракурсы. От сюрреалистического разрушения объекта она идет к невидимому порядку, от абсурда — к высшей логике, *realibus ad realiora*. Ее трансцендентализм — разрыв заколдованного кольца трехмерной данности, мифотворческая энергия, духовно сознательный конструктивизм создали новую художественную реальность.

Писатели метареализма делятся на субъективных и объ-

ективных метареалистов, подобно тому, как различали объективных (В. Иванов) и субъективных (А. Белый) символистов.

Так Бурихин идет от слуха и ищет в Слове собственно духовные чистые энергии, пробуя вслушаться в звуковые соотношения космоса, поверяя абсолютным слухом поэта и православную схему мытарств, и рождественские потуги мира, и археологию «третьего центра Руси».

«Некрореалист» Мамлеев видит свою проблематику как инфернальный реализм и «неизбежное описание низших слоев реальности», с одной стороны, и как способ проникновения в области «нечеловеческого сознания с другой».¹¹

Свою эстетическую концепцию он определяет как «описание и познание реальности, которая включает в себя метафизическую сферу»¹². И формулирует для себя задачу изображения как явленной, ограниченной природы человека, так и его скрытой, более широкой метафизической природы. Говоря об изображении метафизического человека, писатель подчеркивает, что его интересуют соотношение между центром (т. е. Божественным Сознанием в нем) и Периферией (т. е. оболочками и формами воплощения), и способы проникновения в области, лежащие по ту сторону трансцендентной природы человека. Его эстетика включает в себя области уродства-юрюдства, гротеска и представляет собой попытку коснуться Абсолюта с нижних этажей бытия, концентрируясь на глубине падения человека.

Ранний Бокштейн и ранний Жигалов, работавшие в рамках шизоидной поэзии, шли от установки на предельную медиумичность. Начав с автоматического письма, Бокштейн позже вышел к элементам структурированного автоматизма и создал обоснованные поэтические структуры. Создатель экстремической поэзии, основывающейся на системе кодов в своей поэтике, он пробует преодолеть антимифологизм сюрреалистов. Его поэтика софиологична. Перед поэтом (или софиартом, в этой терминологии) ставится задача непомерная — создание собственной Библии. Новой поэзии, пишет Бокштейн, необходима философская ситуация, структурирующая миф. Он разрабатывает новую космологию и нумерологию. Особое значение в этой связи придается созданию системы символично-иероглифического языка. Свое творчество он склонен рассматривать как «новый философский скачок сознания».

За четко обоснованными поэтическими структурами поэта просматривается движение от сюрреалистического видения к экстремической поэзии (терминология автора).

Движение от сюрреализма к экстремической поэзии происходит через опыт экспрессионизма на энергиях преодоления инерции материи. Бокштейн — поэт, доходящий до состояния трансовости, — идет через «мистицизацию» и мифологизацию творчества. Крайний субъективизм и самодостаточность в нем сочетаются со стремлением к объективному сознанию. Он — автор «Трактата о метафизике», где в диалогической форме развивается система, зашифрованная в его стихах символично-иероглифическим кодом экстремических ключей.

Метареализм создал мощное альтернативное позитивизму, материализму, скептицизму поле художественного тяготения к трансцендентному. Искусство в этой концепции выводится на «дорогу к Абсолюту», пользуясь словами американского литературоведа Анны Балакян. Новая художественная реальность создается или через преодоление ограничений собственного «эго», или через расширенную область аналогий, включающую в художественный опыт реальный космический порядок, или через восприятие собственного лета как макро-косма («Путь блужданий — позвоночник начинается от звезд»). Связывая вместе внешнее и внутреннее, идя от известного к неизвестному, писатели-метареалисты расширили область поэтического знания, выбрав вслед за сюрреалистами тропу, «ведущую к гнозису» (Андре Бретон). Уподобляя художественное творчество алхимическим поискам философского кам-

ня, они стянули формотворческие энергии в кристалл мифотворчества.

Опыт движения от профанического к сакральному, проделанный этим литературным поколением, замечателен. И более благородное время, конечно, бережно извлечет их имена из литературного небытия и с благодарностью откроет их для себя.

Литературный процесс — явление многоплановое, многоголосое. И многие имена, которые были беспощадно изгнаны из периодических публикаций, издательских планов и литературных энциклопедических публикаций, вопреки усердию литературных зоилов откликнутся эхом в литературной традиции, продолжатся в голосах следующих поколений.

Поколение анонимов — Третья литература — неизбежно обретет свой голос, облик и жест, и читатель узнает и полюбит этих поэтов, писателей, мыслителей. Пора создать более адекватное действительности представление о русской словесности трех последних десятилетий, нежели то, которое бытовало до сих пор в периодических изданиях и публикациях в России и на Западе. «Нужды литературно-политического момента», как пишет Леонид Чертков, ставя проблему «выпрямления русской словесности», не должны заглушать все остальные аргументы.

Анализируя эту вандалическую по отношению к русской культуре ситуацию, Чертков отмечает, что издательскому остракизму в Первой и (добавим) Второй литературах подвергаются вовсе не их идеологические оппоненты, а прежде всего эстетические противники, подчеркивая тем самым, что главными недоброжелателями Третьей литературы с ее эстетической дерзостью, экспериментом, инициативой были и остаются эстетический шаблон и интеллектуальная периферия двух противоборствующих литературных кланов. «Речь идет не об оппозиционной собственно литературе, а о литературе стилистически или тематически не подходившей под шаблоны советской литературной бюрократии», — пишет он в своей статье.

От этой неестественной ситуации страдает прежде всего русская словесность, продолжает свои рассуждения Чертков, сравнивая опыт последнего тридцатилетия на Западе и в России:

«На Западе за это время отшумели и «сердитые молодые люди», и «битники», и «новый роман». А мы, как в заколдованном сне, еще топчемся на месте, не можем что-то довыяснить, поделить места, установить очередь — на десятилетия уходя от призвания то в более доходные жанры, то в политику, то в быт, то в запой. И только благодаря ставшим библиографической редкостью изданиям просачиваются новые имена, идеи, настроения, становятся известными такие авторы, как С. Красовицкий, С. Стратановский, Е. Шварц, М. Ерёмин, Ю. Мамлеев, А. Ровнер, Н. Быков, М. Соковнин, К. Сарнов, Всеволод Некрасов, Г. Худяков и А. Амальрих (как драматурги)», — заключает Чертков.

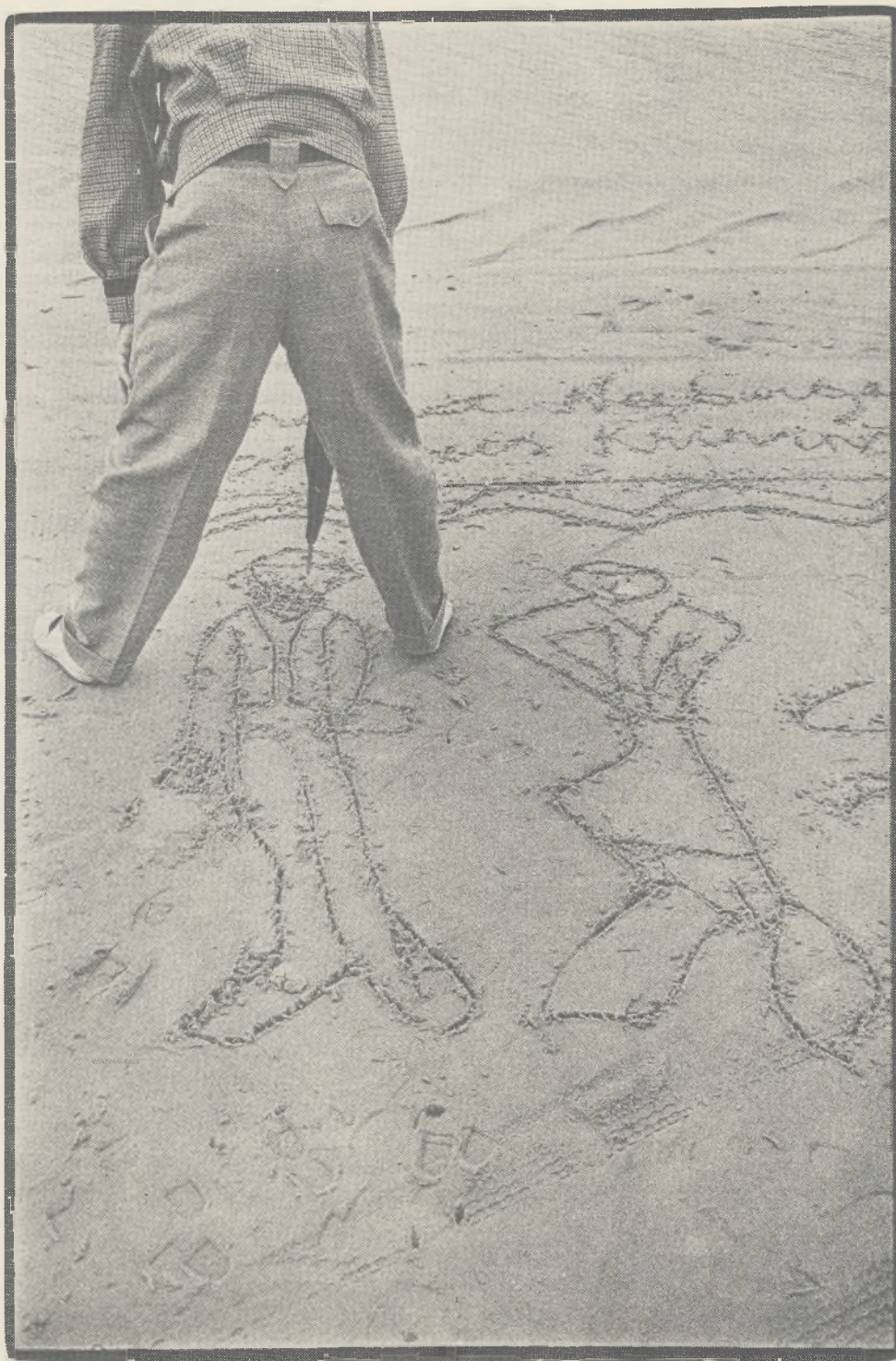
Но критика, литературоведение продолжают быть безучастными к этому важному процессу. Впуская со скрипом отдельные имена в свои статьи, они остаются глухими и непричастными к общему контексту, созданному этим литературным поколением.

«И до сих пор, — резюмирует свою статью Чертков, — чтобы составить сколько-нибудь полное представление о лице этих авторов, читателю нужно провести самостоятельную исследовательскую работу. Что же касается таких писателей, как Андрей Сергеев, Валентин Хромов, Михаил Красильников, Юрий Михайлов, Сергей Куллэ, то они остаются совершенно неизвестными читателю. Все это вместе взятое и мешает составить адекватную картину подлинного состояния русской литературы — как на территории СССР, так и в эмиграции — 50—80-х годов нашего века».

Попыткой исправить это грустное положение и является эта статья о Третьей литературе, сокращенный вариант которой был написан в начале 80-х годов для англоязычного читателя.

¹¹ «Гнозис» № 3—4, 1978, Нью-Йорк, стр. 196.

¹² Ibid, стр. 187.



4.
ИЗ ЦЫКЛА ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ.

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

